В.В. Кунин

БИБЛИОФИЛЫ И БИБЛИОМАНЫ





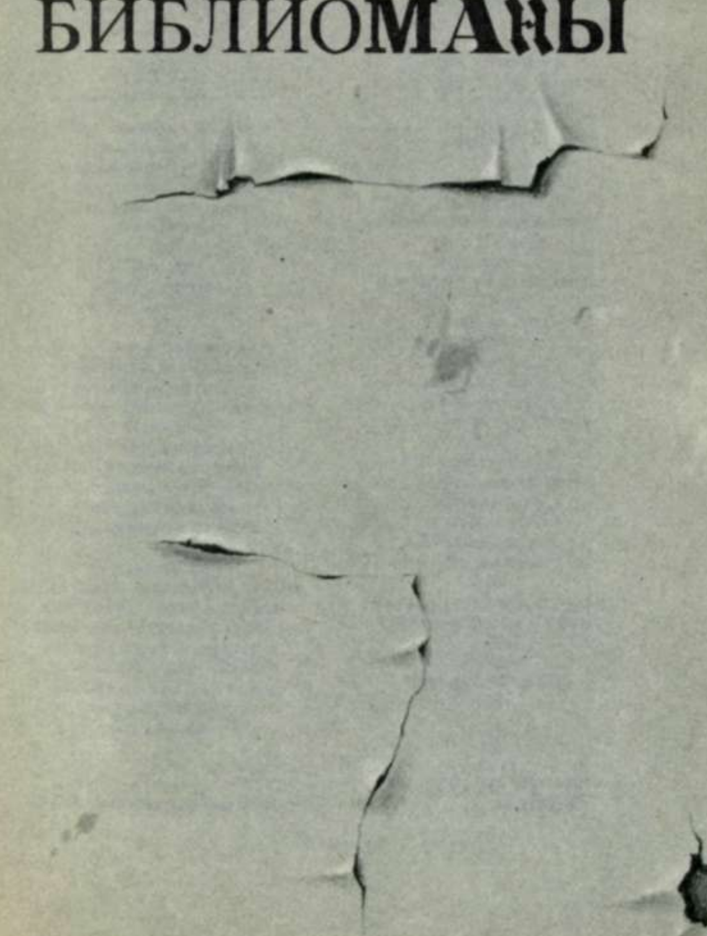
Москва «Книга»
1984

ТОМАС ФИЛЛИПС
ТОМАС УАЙЗ
ГУЛЬЕЛЬМО ЛИБРИ
АЛОИЗИЙ ПИХЛЕР
ДМИТРИЙ БУТУРЛИН
АЛЕКСАНДР ОНЕГИН
РИЧАРД ДЕ БЕРИ
ГАБРИЕЛЬ НОДЕ



В. В. Кунин

БИБЛИОФИЛЫ и БИБЛИОМАНЫ



ББК 84(2)7
К91

Рецензент:
Е. Ю. Гениева,
кандидат филологических наук

Художник *В. А. Корольков*

К $\frac{4702010200-113}{002(01)-84}$ 72-84

ОГЛАВЛЕНИЕ


Ad
bibliothecam
Pihler







Cara captivitas —
милый плен



От старой отцовской, чуть ли не с начала века собиравшейся библиотеки осталось несколько томов. На каждом гравированный экслибрис со словами «Cara captivitas» — «милый плен».

Кто же у кого в плену — библиофилы у книг или, может быть, книги у библиофилов?

Любви к книгам покорны не только все возрасты, но и все народы во все времена. Подобно мольеровскому герою, обнаружившему в одно прекрасное утро, что он говорит прозой, каждый из нас, без исключения, может проснуться библиофилом — если понимать под этим прямую расшифровку: «любящий книгу». И такое толкование вполне возможно. Во всяком случае без любви к книге, любви, лишенной ядовитых примесей в виде корысти, неуемного тщеславия, жадности и эгоизма, понятие «библиофил» теряет свой моральный смысл и приобретает подчас смысл аморальный.

Однако предлагаемое читателю сочинение — не о любящих книгу, каких миллионы. Речь пойдет о библиофилах в ином культурно-историческом значении слова: о коллекционерах, собирателях,

которые за долгие годы неустанных усилий и нередко жесткого самоограничения составили библиотеки, сыгравшие заметную роль в истории культуры. Здесь будет рассказано о людях, попавших в бессрочный книжный плен, где они пережили бурные радости и ужасные трагедии, минуты сладчайших наслаждений и глубокого отчаяния. Одного только не было им дано — освободиться из плена.

Книга называется не просто «Библиофилы», но «Библиофилы и библиоманы», что подразумевает, конечно, противопоставление понятий. Термины всегда условны, и содержание их меняется в разные времена. Еще при Пушкине слово «библиоман» в русском языке полностью заключало в себе то, что теперь мы говорим о библиофилах. Пожалуй, к этому прибавлялся только некоторый оттенок книжного фанатизма, чудачества, отрешенности от мира сего. Определения и понимание библиофилии могут быть самые различные, в чем читатель убедился, возобновив в 1980 г. знакомство с переизданной работой выдающегося книговеда М. Н. Куфаева «Библиофилия и библиомания». Куфаев так определяет библиоманию: «Крайний эгоизм книголюба, его сознание, что книга его *для него* и второе его *я* — вот главное, что отличает библиомана как маньяка, ненормального человека».

Другие полагают, что библиомания (русский перевод XIX века — «книгобесие») — это даже приятная болезнь. Иногда библиоманами называют безобидных старичков-книжников, тех, что трясутся над собранными сокровищами духа, не успевают прочитать и даже перелистать книги, но не доверяют свое богатство никому на свете. В их защиту, наверно, и придуман известный английский библиофильский парадокс: «Хорошая штука — читать книги, возможно, неплохая — писать их, но истинное наслаждение — хранить те, что когда-то

написаны». Стоит напомнить и замечание чеховского доктора Астрова: «Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком». Не лишен логики еще один парадокс, на этот раз американского происхождения: «Библиофил — это тот, кто собирает книги потому, что он сам их любит, а библиоман — это тот, кто собирает книги потому, что их любят другие».

Читателю предоставляется возможность самому определить, где в этой книге библиофилы, где библиоманы, а где типы, так сказать, смешанные, если таковые существуют. Конечно, у автора есть и собственное мнение на сей счет, но лучше приберечь его до эпилога...

Обратим внимание еще на две особенности той темы, которой посвящена книга. Библиофилия бесконечна не только во времени, но и в пространстве. То и дело в нашем повествовании будут сталкиваться книги, авторы и собиратели разных времен и разных народов. Хотелось выявить интернациональный характер собирательства. Книги, добытые в Европе, поедут в Америку; русский книжник отправится в Италию; немецкий богослов обворует петербургскую библиотеку; итальянский математик столь же некрасиво поступит с французскими хранилищами; книги и рукописи Пушкина найдут приют в Париже; английский епископ разошлет «книжных агентов» по всей Европе; часть библиотеки французского кардинала перекочует в Стокгольм, чтобы затем возвратиться в Париж...

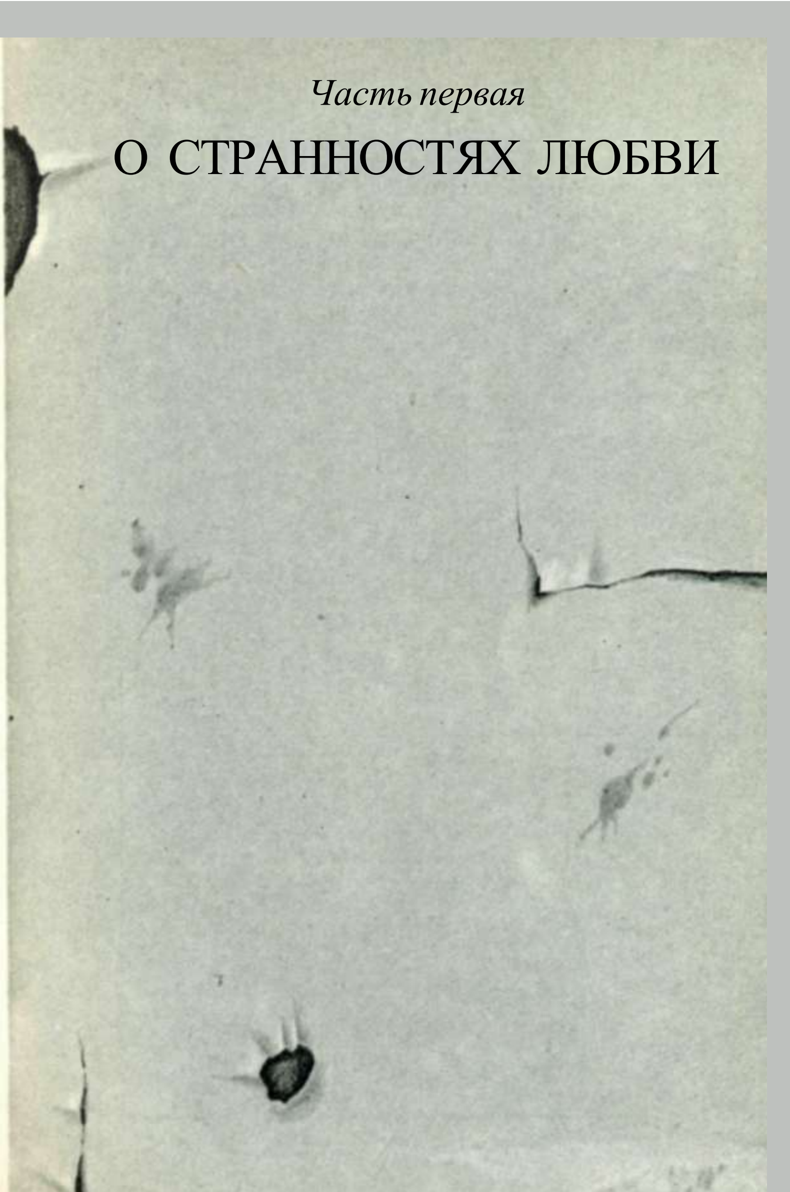
Работа посвящена истории книжного собирательства. Искать в ней параллелей и уроков современным собирателям не нужно — по той простой причине, что такие уроки и параллели очевидны без всяких поисков. При всем различии

социальных, исторических и прочих условий, при всем небывалом размахе собирательства в наши дни, многие, прежде всего этические, проблемы библиофилии остаются актуальными. Они выходят за рамки личной этики и психологии библиофилов и библиоманов, поскольку история книги и чтения есть важная часть истории культуры. Прекрасно сказал современный поэт Б. Слуцкий:

Пока библиотечный институт
Работает,
на полки книги ставят,
Нас никакие бомбы не сметут,
Нас никакие орды не раздавят.

В этом гуманистическое значение книжного собирательства, в этом и смысл работ, ему посвященных.





Часть первая

О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

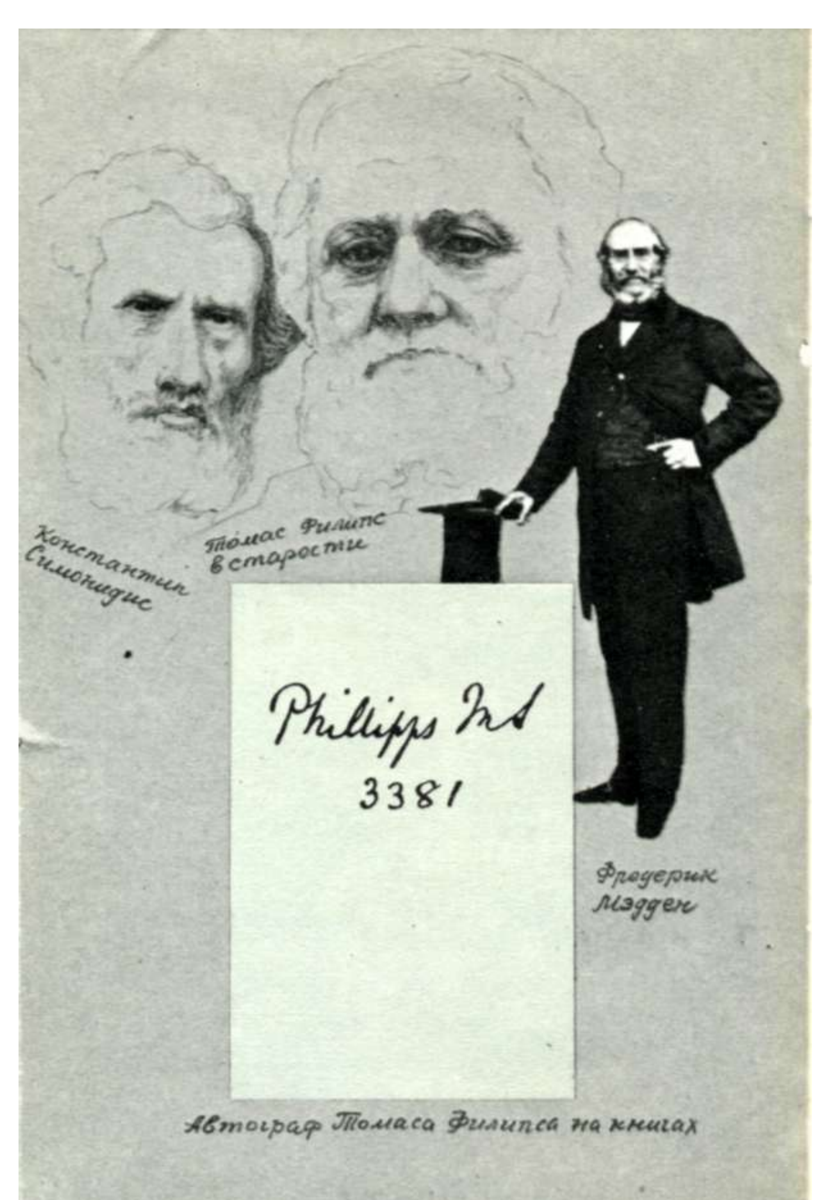


Библиотека Бодлеана в Оксфорде

Поучительная история о сэре ТОМАСЕ ФИЛИППСЕ, И НЕСРАВНЕННОЙ ФИЛИПСИАНЕ

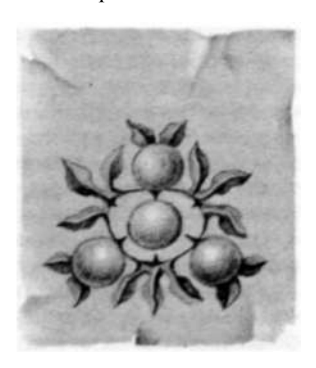
В семи главах,
с прологом,
вставными историями
и эпилогом





Автограф Томаса Филипса на книгах

Пролог
Три встречи, которых не было



Сэр Томас Филипс (1792—1872) собрал самую большую и самую значительную коллекцию рукописей, когда-либо находившуюся у частного лица в Европе. Подчеркиваю — *рукописей:* печатных изданий у Филипса было очень много, и среди них — ценнейшие и редчайшие, но все же в этой области соперников у него хватало. Понятие *самый* вообще рискованно применять к библиофилу — всегда оказывается кто-то чуть-чуть «более самый». Но равных Филипсу коллекционеров рукописей все же нет.

В 50-х годах нашего века Алан Манби, библиотекарь Королевского колледжа в Кембридже, библиофил, обладатель любопытной этнографической коллекции, написал *самое* подробное (тоже вне всякой конкуренции!) исследование о «профессиональном» коллекционере, когда-либо существовавшее в литературе *. Пятитомник Манби, можно сказать, вот-вот обрушится под тяжестью докумен-

*

Munby A.N.L. Phillipps Studies. V. 1—5. Cambridge, 1950—1960.

тов, в него включенных. Этим автор обязан был своему герою: к любому клочку исписанной бумаги Филипс относился, как мусульманин к Корану, — со священным трепетом. В годы молодые он в буквальном смысле не гнушался подбирать за мусорщиками. Сколь невероятным ни покажется это, *все,* что он отыскал и купил, — от неподъемных, закованных в железо, а иной раз и в серебро, фолиантов до счетов переплетчика — сохранилось. Личные документы Филипса в конце концов попали в Оксфорд. Пять томов «Изучения Филипса», изданные Манби, — бездонный кладезь для тех, кто хочет в подробностях знать историю европейской книжности в XIX и первой половине XX века. На широком историческом фоне предстают в книгах Манби события странной и трудной жизни библиофила из библиофилов (по мнению многих авторов — безнадежно больного библиомана), сэра Томаса Филипса и судьба небывалой коллекции после его ухода. Впрочем, как это ни удивительно, библиотека Филипсиана хоть на ладан, а дышит до сих пор, в чем читатель сможет убедиться, если доберется от пролога нашей повести до ее эпилога.

Алан Манби по причинам сугубо хронологическим с Томасом Филипсом *не встречался.* Зато в 1938 г. он побывал у его внука Томаса Фицроя Фенвика, который, как это ни парадоксально, не прибавив к библиотеке ни листка, знал ее гораздо лучше, чем дед, собиравший коллекцию полвека. О свидании биографа Филипса с его внуком будет рассказано в конце повести.

*

Когда задумываешься о жизни и книжных приключениях Томаса Филипса, одержимого фантастическими проектами устройства и переустройства библиотеки, о том, как он вечно нуждался

в деньгах, тратил их, не считая, на книги, сражался с подлинными врагами и библиофилами-соперниками, а еще чаще — с ветряными мельницами, попадал в капканы семейных неурядиц, оказывался жертвой мошенников и прохвостов, но всегда верил в будущее, хочется немедленно снять шляпу перед... *Чарлзом Диккенсом.* Это чудо — до такой степени знать и чувствовать характеры своих современников! В Томасе Филипсе так много от чопорного мистера Домби (а уж в обращении с женами и дочерьми — это просто копия), но нет-нет да и проглянет милая бестолковость мистера Микобера, наивная доверчивость мистера Пиквика или даже забавное тщеславие и вспыльчивая гордость бабушки Дэвида Копперфильда мисс Бетси Тротвуд. Во всяком случае, слепая ярость протестанта Филипса при виде католика, входящего в его двери, сильно смахивает на отношение мисс Тротвуд к животным, появлявшимся на лужайке перед ее домом. Диккенс родился на двадцать лет позже Филипса, а умер на три года раньше. Вся жизнь прошла где-то рядом. Неужели они *не встречались?* Ведь Филипс так часто приезжал в Лондон по книжным делам из своего любимого Мидл-хилла, наследственного владения на самой границе Англии и Уэльса, и бывал в букинистических лавках на Стрэнде, где любил гулять Диккенс, направляясь к площади Трафальгар-сквер. А может быть, репортер Боз (псевдоним молодого. Чарлза Диккенса) посетил Мидл-хилл, когда ездил к бастующим горнякам Кардиффа? Общий язык, думаю, они бы легко нашли: эксцентричность и чудачества (порой на грани безумия) сэра Томаса наверняка заинтересовали бы писателя. А Филипс охотно излил бы ему душу. Недаром Диккенс как-то пошутил: «Есть во мне что-то неотразимо привлекательное для всех сумасшедших: им *непременно* хочется посвя-

тить меня во все свои тайны». Неужели они не встретились в Вестминстерском дворце, куда Томас Филипс заглядывал на заседания парламента? Или в Британском музее? Нет, должно быть, не встретились — иначе Диккенс обязательно выкроил бы время для романа «Тайны Мидл-хилла» о приключениях Томаса Филипса, а уж Алан Манби непременно упомянул бы об их знакомстве в своих пяти томах. Он-то знал о Филипсе больше, чем сам Филипс!

В самом деле, англичанин XIX столетия Томас Филипс словно сошел со страниц романа Чарлза Диккенса. Ибо сей библиофил — «это что-то уродливо, чудовищно прекрасное», как говорил В. Г. Белинский о «Домби и сыне».

Возможно, некоторые читатели, проникшись скептическим отношением к сэру Томасу, сочтут, что место ему не у Диккенса, а среди сатирических персонажей Уильяма Теккерея. Тогда мы напомним, что «Ярмарка тщеславия» не зря имеет подзаголовок «Роман без героя». Филипс же — подлинный герой библиофильских сражений.

*

И еще *об одной встрече,* которая вполне могла состояться. В те же годы, когда собирал небывалую коллекцию рукописей сэр Томас Филипс, комплектовал в Европе единственную в своем роде библиотеку «по географии и библиографии» русский библиофил *Сергей Александрович Соболевский.* Они *могли повстречаться* и в конце 20-х годов — на книжных аукционах в Париже, Лейпциге, Гааге, Брюсселе и позже — в Лондоне, куда дважды приезжал Соболевский, не минуя, конечно, аукционного зала фирмы Сотби, где полжизни провел в неустанных сражениях сэр Томас Филипс. Документально их встреча не засвидетельствована (зато дотошный Манби упоминает о переписке

Филипса с русским собирателем рукописей Федором Толстым), но она вполне могла быть. Во всяком случае, подобно тому, как приключения библиотеки Соболевского отражают историю русского библиофильства XIX в., полуторавековая эпопея Филипсианы позволяет судить об огромном периоде в истории европейских книжных коллекций.

Однако мы заговорили об этом не только для того, чтобы напомнить о неделимости книжного мира и интернациональной сущности библиофилии. Примеры Соболевского и Филипса показывают, до какой степени наивны и однобоки бывают штампованные представления о национальном характере. Русский размах подчас связывают с некоторой безалаберностью, горячностью, с неумением распорядиться средствами и т. п., английскую чопорность — с особой аккуратностью, бережливостью, хладнокровием, точным расчетом. Как же в таком случае объяснить, что русский библиофил XIX в. сумел проявить безукоризненную дисциплину мысли, строгий коммерческий подход, научный библиографический метод, мало кому доступный в то время, а его английский современник, вступивший на библиофильскую дорогу с самыми добрыми намерениями, устроил в Мидлхилле невообразимую книжную путаницу, довел себя и своих близких до самого бедственного положения и создал из величайшей коллекции такой библиографический хаос, в котором до сих пор еще до конца не удается разобраться?



Глава первая, в которой сообщаются некоторые сведения о сэре Томасе Филипсе, баронете, его первых шагах на славном поприще, и делается попытка определить истоки его книжной страсти



«У вас доброе сердце и любовь к старым книгам — два качества, которые я уважаю более всего», — писал Томасу Филипсу один из его современников. «Есть ли сердце у этого человека? — спрашивал другой. — Он снует среди пергаменных гор и проводит там свою бессмысленную жизнь». Мы погрешим против истины, если скажем, что мнения о нашем герое разделились поровну: тех, кто придерживался второй точки зрения, было намного больше. Это при жизни, а после кончины Филипса он безоговорочно был записан историками в *библиоманы,* не заслуживающие снисхождения. Как справедливо замечает А. Манби, XX век суровее относится к чудакам, чем XIX (тут, правда, надо бы добавить: особенно к чудакам с таким тяжелым характером, как у Филипса)...

Томас Филипс появился на свет в 1792 г., когда отцу его, неженатому землевладельцу, было уже за пятьдесят. Мать будущего библиофила, случайно мелькнувшая на семейном горизонте, понадобилась пожилому джентльмену исключительно для того, чтобы дать ему законного наслед-

ника. Эта добрая и милая женщина (ее звали Ханна Уолтон) по суровым английским нравам того времени была полностью отстранена от воспитания сына, в наследственное владение Филипсов не допускалась, но каким-то образом, похоже, все-таки виделась с сыном, а позже переписывалась. Как бы то ни было, наш сэр Томас перед кончиной пошел на невероятное исключение из своих непреложных правил и уничтожил тщательно скрываемую всю жизнь переписку с матерью. Это делает ему честь, доказывая, что патологическая «бумагофилия» баронета имела свои границы. В завещании старый Филипс, скончавшийся в 1818 г., оставил Ханне Уолтон всего лишь 50 фунтов (забегая далеко вперед, скажем, что его сын отказал своей вдове по завещанию вдвое большую сумму, однако, если учесть инфляцию за полвека, щедрость их была примерно одинакова). Кстати — о баронетстве. Семейство Филипсов никакими титулами не обладало, и сэр Томас стал баронетом лишь благодаря своей женитьбе.

Дом Филипсов, знаменитый Мидл-хилл («Срединный холм» в буквальном переводе), существующий и поныне, хотя несколько перестроенный, расположен в самом деле на холме, возвышающемся над городом Бродвеем (графство Уорчестершир), в ста милях от Лондона по направлению к границе Англии с Уэльсом. В описании дома, сделанном при покупке его старым Филипсом, значатся вестибюль, обеденный зал, гостиные, кабинеты, крытые галереи, полдюжины спален и отдельно — библиотека. Дом и вправду был уютным и благоустроенным, пока не превратился стараниями нашего героя в нечто уму непостижимое.

Здание из серого камня в центре большого поместья (6 тыс. акров) при всей своей массивности не лишено некоторой английской элегантности. Дом виден только спереди и сбоку, сзади он

закрыт холмом, поросшим каштанами и пихтами, скрывающими в густой зелени дворовые постройки и кухни. К парадному входу ведет узенькая вьющаяся дорожка, высокие кусты лавра протягивают ароматные ветви к окнам первого этажа, птицы в погожий весенний день не замолкают с утра до вечера. На юго-восток из окон дома открывается бесконечная панорама ухоженных английских долин и низких, будто игрушечных, холмов, окаймленных на горизонте четко прочерченными линиями гор, самые высокие из которых находятся уже в Уэльсе. Словом, райский уголок этот Мидлхилл, и можно себе представить, как горько было сэру Томасу навсегда покидать его в конце 60-х годов, да еще чуть ли не собственными руками разрушать все, что там можно было разрушить без применения бульдозера и динамита.

Но пока что (1811) юный Томас Филипс отправляется из дому ненадолго: в знаменитый Оксфорд, чтобы стать юристом. Однако, кажется, только года через три этот прилежный студент знаменитого университета обнаружил, что в Оксфорде читаются лекции по юриспруденции. Чем же он занимал все свое время? Может быть, вырвавшись из-под родительской опеки, стройный и недурной собой юноша предался естественным для его возраста развлечениям? Отнюдь нет — спиртного сэр Томас всю жизнь терпеть не мог, а женщин сей фанатик-протестант и пуританин воспринимал как третьестепенное приложение к библиофилии. Все свои деньги этот человек тратил с детских лет только на одно: книги, рукописи — груды и пачки, связки и листочки исписанной бумаги. Откуда взялась такая страсть? Боюсь сказать сколько-нибудь определенно. Манби замечает, что решающее влияние оказал на Томаса Филипса отец его университетского товарища, знаменитый собиратель древностей Уильям Бедфорд.

Но вывод основан лишь на том, что Бедфорд рекомендовал молодого библиофила в Общество антикваров в 1819 г.! Кто знает, может быть, странная в своей непреодолимости страсть к книгам иной раз возникает от детского одиночества, от обделенности материнским теплом? Это наблюдение, подтвержденное примерами С. А. Соболевского и Томаса Филипса, разумеется, не может претендовать на всеобщность.

Еще дома, до Оксфорда, у шестнадцатилетнего Томаса была библиотека в 110 томов (не считая школьных учебников и латинских классиков), и он составил первый в своей жизни каталог; вступив на обетованную землю Оксфорда, он вскоре оказался по уши в долгах — за купленные книги. Отправляя сына в учение, почтенный фермер не очень расщедрился на карманные расходы. Велико же было его удивление, когда вместо просьб о «прибавке» он стал получать из Оксфорда... посылки с книгами и рукописями. Занятый хозяйственными делами и не склонный к переписке вообще, Филипс-старший ответил на первую такую посылку письмом: «Я получил книги, которые ты послал, но у меня не было времени прочесть их, и я не могу высказать о них свое мнение — предоставляю это тебе. Но могу сказать другое — ты не имел права покупать их, не заплатив всех своих долгов. Ни один человек в здравом уме не допустит, чтобы его расходы превышали его доходы».

Это вполне английское поучение натолкнулось на вполне английское нежелание с ним считаться. Мы недаром поминали Диккенса в начале рассказа! Всю жизнь сэр Томас Филипс библиофильствовал шире, чем позволяли ему средства, пользуясь своеобразной тогдашней европейской системой кредитования — покупки делались задолго до оплаты счетов. На склоне лет он возмущался: «...книгопродавцы посходили с ума, они требуют оплаты книг

чуть ли не до того, как покупка дошла по почте до покупателя».

Книжные владения оксфордского студента, бакалавра (1815), а потом и магистра искусств (1820) росли с пугающей быстротой. В 1819 г. он уже издал первый печатный каталог книг, в основном по генеалогии и топографии. Этот «Каталог книг Мидл-хилла» любопытен как курьез в масштабах будущей библиотеки Филипсианы — в нем 1326 названий (2894 тома). Только 54 из них — рукописи, только 10 — средневековые; часть книг — беллетристика, которой в дальнейшем сэр Томас почти не интересовался. Одновременно 27-летний библиофил написал и свое первое завещание: все рукописи он оставлял Оксфорду, а печатные книги и нумизматическую коллекцию — Обществу антикваров. Но ему предстояло еще жить (следовательно, собирать!) более полувека, а его последняя воля многократно оказывалась предпоследней. Сэр Томас очень рано понял значение всяких рукописных документов для будущих историков. Он отверг советы ограничить свое собирательство, скажем, каким-нибудь веком английской истории и, более того, решил одной Англией также не ограничиваться.

Кончина отца не слишком прибавила ему богатства, хотя и сделала несколько свободнее в средствах. Дело в том, что старый Филипс, смекнув, что библиофилия и хозяйство — две вещи несовместные, в завещании, основанном на принципе неотчуждаемого майората, лишал своего единственного сына права продавать довольно значительные наследственные земельные владения — тот мог пользоваться лишь доходами, которые они приносят. Но чтобы земли давали прибыль, ими надо активно заниматься, а этого-то Томас Филипс не умел и не желал. Сперва доходы были приличные — примерно 8 тысяч фунтов в год, но потом

они в основном уменьшались, лишь иногда подскакивая благодаря усилиям арендаторов. В отцовском завещании предусмотрено было также, что после сына все имущество перейдет к старшему внуку или, если такового не окажется, к мужу старшей внучки (в этом случае ставилось, правда, категорическое условие: муж внучки должен принять фамилию Филипс). Знай старый Филипс, к каким трагическим, непредвиденным последствиям приведет этот пункт документа (который по английским правовым нормам и обычаям соблюдался неукоснительно — до мелочей), он придумал бы что-нибудь иное. Но, увы, даже предусмотрительность английской юстиции времен незабываемого процесса миссис Бардл против мистера Пиквика, столь блистательно проведенного несравненными специалистами своего дела Додсоном и Фоггом, не способна была предугадать все фокусы и изгибы жизни.

Из двух соображений — желания приобрести более высокое положение в обществе и наследника мужского пола — Томас Филипс вступил в 1820 г. в брак с мисс Молине, дочерью обедневшего баронета. Жена принесла ему отцовскую знатность, свою красоту и трех дочерей — Генриетту, Мэри и Кэтрин — но... не сына и не приданое. Пользуясь семейными связями, сэр Томас попытался баллотироваться в парламент, но неудачно, и навсегда предался собиранию рукописей. В середине августа 1822 г. он, набрав побольше денег в долг, направился с женой в континентальную Европу, где его книжная страсть окончательно затмила все прочие страсти.

Возможности книжных покупок в Европе того времени были заманчивыми как никогда прежде и никогда после. Разворошенные после Великой французской буржуазной революции и наполеоновских войн книжные россыпи манили к себе отно-

сительной дешевизной и абсолютным разнообразием. По подсчетам историков, из 13 миллионов книжных единиц, зарегистрированных в национальных и университетских, а также крупных частных книгохранилищах только одной Франции, 10 миллионов в начале XIX столетия либо погибли, либо переменили владельцев. И хотя значительная часть сокровищ (в частности, из закрытых иезуитских коллежей) попала в национальные и муниципальные библиотеки, книжный рынок был все же переполнен, и лавчонки парижских букинистов грозили лопнуть и затопить книгами улицы. Можно себе представить, что ощущал библиофил-англичанин, оказавшись в Париже — этой Мекке всех книжников по меньшей мере шести веков (см. главу о Ричарде де Бери!) после континентальной блокады, когда книги с континента в Англию почти не проникали. Филипс в первый же приезд в Париж познакомился с книгопродавцами, библиотекарями, частными коллекционерами и выдержал жаркие аукционные сражения — для новичка довольно успешно. О книжных успехах еще расскажем, а здесь приведем письмо его тестя, дающее представление о семейных проблемах: «Вы предприняли попытку, насколько это в ваших силах, разрушить будущее благополучие своих детей, расходуя ваше состояние с такой быстротой, как ни один человек на свете, наверное, не расходовал». В 1823 г. миссис Филипс уговорила его возвратиться в Мидл-хилл (ее пугали предстоящие роды).

Но в 1824 г. наш библиофил уже снова колесил по Европе, оставив дома жену с дочерьми в самом плачевном состоянии. 4 июля он писал жене из Гааги после нашумевшего аукциона коллекции Меерманна: «Любовь моя! Распродажа окончена, и завтра начинается трудоемкая операция упаковки. Рукописи оказались необычно дорогими

из-за конкуренции двух книгопродавцев, прибывших из Англии. (Впоследствии сэр Томас стал хитрее — он поручал покупки книгопродавческим фирмам: там, где отказывали в кредите неаккуратному в платежах библиофилу-любителю, щедро ссужали коллег-книжников. — *В. К.*) Я должен через Брюссель возвратиться в Мец, где оставил экипаж. Из Меца я намерен отправиться в Кале... Я хотел бы, чтобы ты добилась для меня кредита у банкиров на тысячу фунтов с выплатой мне либо в Роттердаме, либо в Гааге. Если они откажут, вышли мне эти деньги немедленно — иначе я окажусь здесь некредитоспособным и попаду в ужасные обстоятельства. Это все надо положительно решить в течение двух недель или быстрее — тем скорее я вернусь домой... Я думаю не везти купленные книги с собой в Англию, а нанять здесь дом для их хранения, ибо я не могу сейчас заплатить таможенную пошлину». Мы привели это послание в основном для ответа на житейский вопрос — легко ли быть женой библиофила?.. В конце концов Филипс фактически совершенно покинул жену и дочерей ради покупок у букинистов, антиквариев и ради аукционных боев. Леди Филипс, отчаявшись залучить мужа домой, отправилась во время его второго длительного путешествия (1827—1829) в Париж, но и там оставалась совершенно одинокой: книжные аукционы пышным цветом расцветали по всей Европе, и баронет просто не замечал супругу. К тому же и уютный Мидл-хилл постепенно превращался в книжный склад. Удивительно ли, что от огорчения миссис Филипс в Париже серьезно заболела, вынудив Филипса вернуться домой. Но теперь и это не помогло: в феврале 1832 г. жена баронета Томаса Филипса, злоупотребив искусственно возбуждающими фармацевтическими средствами, скончалась в возрасте 37 лет.

Что же касается пошлин на ввоз книг в Англию в 20—30-х гг. (о которых он упоминает в письме жене), то сэр Томас с этим и вправду ужасно намучился. Тогда в Гааге он как лев боролся за изумительную коллекцию рукописей Меерманна, которая основывалась на разоренном собрании парижского иезуитского коллежа Клермон, каталогизированном для распродажи еще в 1764 г. Но тогда торги не состоялись, и в 1824 г., получив новый четырехтомный каталог «Bibliotheca Meermanniana», в Гааге собралась вся книжная Европа... чтобы отступить под напором английского баронета.

Коллекция Меерманна — это превосходно сохранившиеся монастырские архивы, отражающие историю Европы и, прежде всего, Франции и Германии. Это рукописи на старофранцузских и старогерманских диалектах, на греческом и арабском языках, а более всего на латыни; это иллюминованные средневековые манускрипты — изумительные образцы искусства книжной миниатюры. Впрочем, теперь имеется шесть научных каталогов разных частей коллекции Меерманна, и ее можно считать полностью освоенной историками и книговедами (уступив 59 важных манускриптов на гаагском аукционе представителям оксфордской Бодлеаны, Филипс впоследствии приобрел еще 50 томов из этой коллекции, став монопольным ее обладателем — в составленном им каталоге библиотеки Мидл-хилла плоды того гаагского аукциона значатся под № 1388—2010).

Многие ящики и коробки «непереплетенных бумаг» скопились в нанятом Филипсом складском помещении в Голландии — но их он как-то еще мог оплатить. Хуже, что в книжном мире уже знали английского энтузиаста и предложения, перед которыми он не мог устоять, сыпались со всех сторон. Особенно заманчивым показалось

письмо пастора и преподавателя теологии из Марбурга Леандера Ван Эсса. Его коллекция включала 367 западных рукописей, 7 восточных, 173 ранние гравюры, 56 миниатюр и иллюминованных листов из разных рукописей (оценивалась в 320 фунтов). Филипс выразил готовность приобрести все это, и доверчивый пастор, в восторге от щедрости англичанина, упаковал свои сокровища в ящики, а пустоты заполнил «премиальными» бесплатными книгами.

Более того, Ван Эсс решил продать Филипсу и свою коллекцию инкунабулов — 900 томов за 550 фунтов. И это предложение было с готовностью принято. Пастор спокойно стал ждать денег. Но не тут-то было — во-первых, Филипс был в очередном кризисе; во-вторых, пошлину он платить решительно не желал. Между тем книги Ван Эсса в издательских переплетах из дерева, обтянутого кожей, обошлись бы особенно дорого (таможенная пошлина-то взималась по весу!). Против обыкновения Филипс даже предложил инкунабулы лорду Спенсеру, богатейшему и знаменитейшему библиофилу, запросив с него «всего» раза в четыре дороже, чем Ван Эсс. Лорд отказался, и книги в конце концов очутились в Мидл-хилле. Но бедняге пастору пришлось пережить немало горьких минут и вступить с английским «богачом» (он был в этом уверен) в длительную переписку, которая любопытна теперь разве только для тех, кто изучает перемены курса флоринов, франков и фунтов в первой трети прошлого столетия. Филипс писал письма на неплохой латыни, но денег не платил, все надеясь на отмену ввозной пошлины.

С просьбой скостить пошлину он не раз обращался в казначейство, напирая на то, что книги когда-нибудь станут национальным достоянием Великобритании. В сердцах он собрался было по-

жертвовать рукописи Меерманна и Ван Эсса в библиотеки Брюсселя и Гааги, раз его отечество проявляло такую косность. Но тут всполошились библиотекари Оксфорда. Один из них жаловался: «Баронет из Уорчестершира сэр Томас Филипс нагромоздил невероятную коллекцию и не жалеет на нее денег, которые ему, впрочем, трудно добыть — я полагаю, что он попросту занимает те деньги, которые тратит на пополнение своих личных складов. И вот из-за его глупого вмешательства я вынужден был отступиться шесть лет назад от многих ценностей коллекции Меерманна, которыми я хотел пополнить нашу публичную библиотеку, но он не дал мне даже приобрести 2—3 рукописи, которые нам были всего желаннее, а ему совершенно бесполезны, потому что он полный невежда».

Так возник первый конфликт Филипса с общественным библиотечным учреждением. Первый из длинной серии, которая — пусть не покажется это странным — еще не завершена и теперь, когда миновало столетие после его смерти. Узнав, что Филипс чуть ли не всерьез собирается оставить свои аукционные трофеи на континенте, если не скостят пошлину, оксфордские руководители сделали еще одну попытку уладить дело. Они предложили ему передать рукописи в Бодлеану, где они будут храниться bona fide *, а он, когда ему будет угодно, получит право воспользоваться любой из них. В этом случае Оксфорд брался получить от правительства льготный пошлинный тариф, заплатить все, что будет необходимо, и обещал почитать сэра Томаса Филипса на вечные времена благодетелем и вкладчиком национального книгохранилища.

*
«По доброй вере» (*лат.*).

Ответ баронета весьма для него характерен:

*Никогда, мой дорогой сэр, не пойду я на условия, Вами предложенные. То, что я дарю, должно быть даром души, а не вынужденным даром обстоятельств. Поверьте мне, университеты, Британский музей и другие общественные заведения больше теряют, чем выигрывают от такой правительственной поддержки. Когда я прошу избавить рукописи от пошлины, я пекусь не о себе, а о литературе, поскольку ввоз в Англию неопубликованных документов пролил бы свет на самые различные стороны жизни в прошедшие века. Чтобы доказать вам, как много мы, англичане, теряем от трудностей в нашем деле хранения книг и документов в университетах и Музее, я сошлюсь на пример знакомого мне джентльмена, который приобрел весьма ценные рукописи и отослал их в дар Королевской библиотеке Парижа. Не доказывает ли это несовершенство нашей системы библиотек? Было ли что-нибудь более оскорбительное в истории, чем обращение правительства с доктором Моррисоном и его китайскими книгами *. Однако я знаю еще более ужасающий пример, показанный самым отвратительным из правительств, управлявших этой страной, — убийство сэра Роберта Коттона **, которое привело к утрате и унич-*

*

Роберт Моррисон (1782—1834) — миссионер в Китае; в 1824 г., возвратившись на родину, он тщетно пытался хотя бы за небольшую сумму продать правительственным учреждениям ценную китаеведческую коллекцию. В конце концов Моррисон пожертвовал ее Королевскому колледжу в Лондоне.

* *

Роберт Коттон (1571—1631) собрал огромную коллекцию рукописей, иногда спасая их непосредственно из рук старьевщиков. Его дом в Вестминстере (на том месте, где теперь Палата лордов) стал культурным центром Лондона. Сторонник парламентской реформы, он был арестован и предстал перед печально известной Звездной палатой. Волею случая он спасся

тожению самых лучших образцов его чудесной библиотеки; похоже, что подобная жадность приведет к подобной же утрате в нашем веке.

В надежде, сэр, что Вы найдете мои мотивы извинительными, остаюсь преданный Вам Т. Ф.

Итак, уже в начале своего пути Томас Филипс замахнулся на прямое сравнение своей особы с гордостью английской культуры — Робертом Коттоном. Был ли он прав — покажут дальнейшие события.

Не следует думать, что Филипс и в самом деле собирался оставить в Голландии или отдать кому-нибудь столь дорого доставшиеся ему книги. Когда он убедился, что пошлина не будет снижена, он раздобыл денег, и 36 огромных контейнеров с книгами и рукописями пересекли пролив.

Оксфордская оценка невежества Филипса, которую потом не раз повторяли, по-видимому, несколько преувеличена. Конечно, не был он ни специалистом-текстологом, ни знатоком-палеографом, но все же это был достаточно широко образованный человек. Вся беда в другом: научного вооружения уорчестерширского баронета никак не могло хватить для того, чтобы удержать бес-

от казни, но библиотека его была конфискована. Это был страшный удар: «Румяный, цветущий человек превратился в бледного согбенного старика, похожего на восковую фигуру или на мертвеца» (воспоминания современника). Коттон дважды обращался к властям с мольбой возвратить библиотеку, но умер от горя прежде, чем этот вопрос успели решить положительно. Только после его смерти рукописи вернули вдове и сыновьям. Несмотря на тяжкое оскорбление и горечь утраты, семья Коттона в конце XVII в. принесла библиотеку в дар нации. Однако в 1731 г. во время ужасного пожара 114 из 958 рукописей сгорели; остальные хранятся и поныне в Британском музее не только как ценнейший источник разнообразных сведений, но и как памятник благородству и самоотверженности собирателя.

конечно длинную линию культурного фронта, которую он по наивности и самонадеянности взялся оборонять в одиночку. Было бы явным упрощением представить дело так, будто сэр Томас переходил с аукциона на аукцион и покупал рукописи не глядя. Отнюдь нет! Он провел много часов в изучении каталогов и фондов публичных и частных библиотек, нередко делая даже открытия (истинные или мнимые), которыми спешил поделиться с ученым миром. 17 ноября 1830 г., например, он выступил с докладом «Обзор некоторых монастырских библиотек во Французской Фландрии», а еще раньше, в 1828 г., выпустил каталог интересной библиотеки рукописей, принадлежащей монастырю Сен-Вааст в Аррасе.

С этой библиотекой в жизни Филипса связан забавный эпизод. Некий переплетчик из Амьена предложил Филипсу приобрести за 900 франков кипу пергаменных листов; как предполагалось, их некогда вырвал из рукописей, принадлежащих монастырю в Аррасе, и похитил бывший библиотекарь, злоупотребивший своим служебным положением. Филипс, не прерывая переговоров с амьенским переплетчиком, обратился к властям Арраса с предложением передать им эти листы за те самые 900 франков, которые ему предстояло заплатить.

Ответ мэрии Арраса был для Филипса неожиданным: прежде чем решиться выделить требуемые средства, городскому капитулу необходимо получить описание каждого листа с указанием рукописи, из которой он украден. Это, как показалось Филипсу, бросает тень на него самого (уж не подозревают ли его в нечестности?), и он разразился следующим любопытным документом, в котором, как делал это нередко, говорит о себе в третьем лице:

Ответ сэра Томаса Филипса, баронета,
мэрии Арраса
относительно листов,
вырванных из рукописей,
принадлежащих монастырю Сен-Вааст
и украденных оттуда преступным библиотекарем
по имени Карон

Сэр Томас обнаружил ряд листов, вырезанных и вырванных из рукописей, принадлежащих монастырю Сен-Вааст, и, будучи убежден, что совершает доброе дело по отношению к городу Аррасу, прежде чем приобрести их для себя, вступил в переписку с мэром Арраса о покупке их для библиотеки. В ответ было сообщено, что только после того, как сэр Филипс представит описание каждого листа и сообщит, из каких именно рукописей они были выдраны, мэрия будет готова вступить в переговоры об их покупке.

В ответ на это сэр Томас Филипс заявляет, что подобное обращение с ним есть нарушение каких бы то ни было коммерческих обычаев. Рукописи, лишившиеся некоторых листов, еще существуют. Купит город Аррас недостающие их части или нет? Факты говорят о том, что библиотека манускриптов монастыря Сен-Вааст, некогда одна из знаменитейших и прекраснейших во Франции, ныне столь сильно разорена и разграблена мерзким негодяем, отвечавшим за ее сохранность, что, как полагает сэр Томас, ни одна рукопись в ней не осталась неприкосновенной. Не исключено, что находка сэра Томаса позволит восстановить часть богатств библиотеки, и его предложение направлено именно на это. Но поскольку указать, из каких именно томов украдены листы, без сличения с этими томами невозможно, довольно будет того факта, что это рукописи из Арраса, — факта, основанного на некоторых данных, имеющихся в распоряжении сэра Томаса. Сколько именно там

листов, совершенно неважно: они стоят много дороже запрашиваемой суммы. Сэр Томас имеет твердое намерение купить их, если этого не сделает город Аррас. При этом листы будут куплены на вес. Сделка еще не совершена и ждет окончательного решения мэра города Арраса.

Руан, 15 дек. 1829 г.

Бюрократизм победил — ответа не последовало. Судя по тому, что этот эпизод рассказан на листке, прикрепленном к «Эпистолам» Св. Жерома (копия XV в.; № 24510 по каталогу Филипсианы), дальнейшая судьба всей коллекции, уворованной некогда из Арраса, сомнения не вызывает.

*

Теперь, когда читатель получил представление о характере Томаса Филипса и о том, чем занимался он на европейском континенте и к каким методам прибегал, предоставим слово самому библиофилу — пусть скажет, зачем ему все это понадобилось. Вообще говоря, собирательские увлечения никаких оправданий не требуют. Едва ли даже правомерен вопрос: зачем вам столько книг, вы же не успеваете их читать? В конце концов, собиратель фарфора не пьет из всех чашек, а собиратель старинной мебели не сидит сразу на всех стульях. Лишь бы собирали на свои средства (а не так, как библиотекарь из Арраса!) и оставались в рамках порядочности. Но все же, когда речь идет о деятельности такого масштаба, как у Томаса Филипса, бывает полезно знать субъективные намерения собирателя. Ведь прикладные цели (для личных нужд, для научной работы) в данном случае исключаются — в самом деле, разве разбирался сэр Томас в средневековых иллюминованных рукописях, разве для себя их берег?

Когда Филипс вышел на библиофильскую арену, коммерческая сторона книгособирательства еще не была сколько-нибудь развита — за баснословно дешевую цену любители *покупали хорошую книгу,* а вовсе не *хорошо вкладывали капитал.* Альтернативой *библиофилу* — особенно собирателю рукописей — были тогда еще старьевщик, переплетчик (набивавший новые переплеты старыми ненужными листами), бакалейщик, который не прочь был употребить рукописи на завертку и т. п. «Формируя свою коллекцию манускриптов, — писал Филипс, — я хотел купить все, что попадало в поле моего зрения и досягаемости, спасти все, к чему я стремился, узнавая из разных отчетов о гибели ценных рукописей; главное же мое стремление было добыть исторические, особенно неопубликованные рукописи, в плохом или хорошем состоянии, и прежде всего на пергамене». Любопытно дополнение к этому, не лишенное определенной логики, на наш взгляд: другие библиофилы, говорил Филипс, ищут книгу и рукопись в идеальном внешнем виде, я же тем скорее покупаю ее, чем ужаснее она выглядит; меня возмущает стремление «добить» раненую рукопись вместо того, чтобы спасти ее от гибели; что же касается чистенькой красавицы, то для нее всегда найдется хозяин. Придерживаясь принципа сохранения каждого клочка бумаги, сравнивая себя с «пчелой, собирающей мед с непривлекательных цветков», Филипс отнимал их у мусорщиков, у золотобойцев, у портных, не стесняясь при этом поднимать цену, ибо, как любил он говорить, «ничто так не способствует сохранению вещи, как высокая цена на нее». «По мере моих успехов, — разъяснял Филипс свою позицию в предисловии к каталогу, — страсть к приобретению возрастала, и в конце концов я стал форменным пергаменоманом (если есть такое слово), я отдавал любую запрашивае-

мую цену. Никогда я не жалел денег, поскольку цель моя состояла не только в том, чтобы добыть замечательные рукописи для себя самого, но поднять общественную их ценность, чтобы их значение стало более известным и больше рукописей сохранилось». Славные мысли и золотые слова! Сэр Томас резонно считал, что каждая рукопись в отличие от тиражированной печатной книги уникальна и беречь ее надо с особым тщанием: потеря невосполнима.

С годами Филипс не то чтобы изменил своим принципам, но скорее — изменил сами принципы, доведя их до абсурда. В старости он говорил: «Я по-прежнему одержим манией покупки, но теперь не столько рукописей, сколько книг... Я хочу иметь по экземпляру всех книг, выпущенных на Земле!» Ни больше ни меньше!

Конечно, подобную гипертрофию «библиофильских стремлений» можно принять за безумие. Но стоит ли спешить объявлять умалишенным человека, который писал: «Значение сохранения документов всех древних благородных родов столь велико, на мой взгляд, что я поражен тем, что они по сей день не объединились в деле спасения единственной памяти о своих предках от полного забвения... В чем причина ничтожности наших знаний об истории Вавилона, Персии, Египта и большей части истории Греции, как не в утрате архивов? И должны ли мы, называющие себя просвещенными людьми, обрекать себя на то, что будущие поколения назовут нас готами и вандалами из-за нашего небрежения к письменным свидетельствам памяти, которые ныне еще существуют и находятся в наших руках?»

Надо сказать, что собирательская всеядность Филипса и даже своеобразная его демократичность («*все* старые рукописи одинаково ценны») претила английским библиофилам-снобам: его так и не до-

пустили в аристократичнейшее из всех библиофильских объединений — Роксберский клуб.

Нет, с Филипсом все не просто. Здесь сплошные «с одной стороны...» и «с другой стороны». Добрые намерения его несомненны, да вот беда: такими намерениями вымощена дорога в ад — в том числе и в библиофильский. Впоследствии мы постараемся собрать вместе все, так сказать, *pro* и *contra* собирательской деятельности этого удивительного человека. А сейчас не будем торопиться с выводами. Отправимся в Мидл-хилл, читатель!



Глава вторая, в которой парламент горит, сэр Томас снова женится, библиотека чудовищно растет, мистер Мэдден гневается, а читатель приглашается в Мидл-хилл с условием, что готов обойтись без кровати



Завязав теснейшие связи с книгопродавцами, аукционными фирмами и библиотеками всей Европы, убедив всех, кто имел дело с книгами, что второго такого покупателя — столь тароватого и столь оптового, хоть и склонного запаздывать с платежами, — не найдешь, сэр Томас поселился в Мидл-хилле почти безвыездно. Книжные агенты, и прежде всего фирма Торп, снабжали его рукописями с доставкой на дом. Типичное письмо его контрагентам выглядело примерно так: «Я видел в каталоге названия первых изданий пьес Шекспира. Я прошу вас купить их для меня все за исключением нескольких у меня имеющихся». Цена его не интересовала, хотя долги росли катастрофически. Расходы на воспитание дочерей были ничтожные — ни о лучших учителях, ни о привилегированных заведениях даже речь не заходила: запись книжных поступлений в инвентарные книги, а потом и составление каталога — вот лучший вид учения, по мнению хозяина Мидл-хилла. «Нет более достойного занятия для джентльмена (и леди!), чем беречь следы прошлого», —

приговаривал сэр Томас, усаживая дочерей за конторки.

В Лондоне он все-таки бывал, чаще всего в аукционных залах Сотби и Кристи, а иногда и в Британском музее. В октябре 1834 г. ночью случился ужасный пожар в Вестминстере — горело здание парламента. Среди всеобщего ужаса и оцепенения странным выглядело поведение двух джентльменов. Подробные сведения об этом появились в письме, которое поместили лондонские газеты 23 октября:

Господин издатель! До меня дошли слухи о том, что какие-то прилично одетые джентльмены собирали, складывали и паковали бумаги и архивы на улице во время пожара в палатах общин и лордов. Я хотел бы представить сведения об этих людях, чтобы публика не оставалась в заблуждении относительно их мотивов и действий.

В 11 часов, в ночь пожара, когда сэр Томас Филипс возвращался с дружеского ужина, он заметил издалека отблески пламени и, узнав от полисмена, в чем дело, подумал о том, что архивы, отражающие работу парламента, могут оказаться в опасности. Благодаря доброжелательству констеблей, сэр Томас был допущен к зданию парламента и увидел нечто более ужасное, чем возможная потеря двух старых дворцов, а именно: груды бумаг заполняют близлежащие улицы, по парламентским документам ступают люди, ездят повозки, их давят омнибусы, топчут копытами лошади. Мистер Филипс тотчас же отправился за мистером Купером, хранителем архивов Вестминстера. Тот уже собирался отойти ко сну, но мистер Филипс поднял его с постели и поспешил с ним к месту пожара. Вот эти-то два джентльмена и пытались сохранить хотя бы часть бумаг Вестминстера, наняв солдат для их сбора вокруг дворцов и собственноручно складывая доку-

менты в пачки с 12 ночи до 4 часов утра. Если об этих прилично одетых джентльменах идет речь в распространившихся слухах, то могу заверить публику, что ни одна из поднятых ими с мостовой бумаг не пропала. Сэр Томас Филипс явился на то же место с рассветом, чтобы собрать те мелкие листки, которые могли остаться незамеченными в ночные часы, поскольку многие из них оказались разорванными, забились между булыжниками на той части улицы, что недавно была замощена. И эти бумаги также были подобраны и сохранены.

Имею честь, господин издатель,
остаться Вашим преданным слугою.
Наблюдатель.

Если читатель не догадался, кто этот Наблюдатель, трогательно, но с достоинством рассказавший о неусыпной библиофильской бдительности сэра Томаса, значит, автору не удалось правдиво обрисовать характер своего героя.

*

Завещание отца и безденежье жгли сердце овдовевшего сэра Томаса. Надо было жениться. Он подошел к этому более чем практически: «Не знаете ли вы леди с капиталом в 50 тысяч фунтов, которая хотела бы мужа?» — спрашивал он в письме (1833). В последующие несколько лет переговоры в таком духе велись с родителями или адвокатами 16 кандидаток. Отцу одной из них он разъяснял: «Все знают, что в моем первом союзе я не получил за женой ни фартинга, не имею и сейчас, после ее кончины; да и не это меня заботило. Те же чувства руководят мною, могу вас заверить, и теперь — во всем, что касается меня самого; если я ищу денег в предстоящем мне втором браке, то не для себя — для жены. (От книг ни гроша отрывать не желал! — *В. К.*)

Я бы и так неплохо прожил, но брак требует огромных расходов, которые для меня невозможны, если леди не примет в них участия. Не подумайте, что я стремлюсь к деньгам только для того, чтобы тут же пустить их на уплату моих долгов. Нет! Сколько бы денег ни принесла мне жена, она, как будет оговорено брачным контрактом, получит компенсацию в виде закрепленных за нею моих поместий». Сэр Томас, как видим, сулил будущей супруге то самое имущество, которое его отец завещал внуку или мужу старшей внучки, минуя сына! Адресат этого письма, дипломат и востоковед Уильям Гор Оусли предложил за дочерью 10 тыс. фунтов единовременно и по 500 фунтов в год, и когда сэр Томас отказался, направил ему ответ совершенно в диккенсовском духе:

Мой дорогой сэр Томас! Жалею, что наш дружеский диалог прерывается из-за невозможности пойти навстречу Вашим пожеланиям ни на шаг далее. Уверяю Вас, что я не предложил бы и шиллинга сверх названных сумм даже первой особе в королевстве.

От души желающий Вам успеха
и преданный Вам

У. Г. Оусли.

Переписка по брачным вопросам в архиве сэра Томаса многотомна. Сообщим лишь, что в конце концов он женился на 27-летней Элизабет Генриетте Анне Мэнсел и получил всего 3 тысячи плюс по 50 фунтов в год на гардероб супруге. Может быть, он устал сражаться за приданое или — странно подумать! — ему понравилась невеста? Лет двадцать они жили дружно, но детей у них не было, и желанного наследника сэр Томас так и не дождался. Только в начале 60-х годов леди Филипс была окончательно выжита, как она писала, «книгами из одного крыла дома,

а крысами из другого». Коллекция заполонила все. У хозяйки Мидл-хилла не осталось не только будуара, но и спальни, а сэр Томас даже при желании не мог бы отыскать свою кровать, заваленную грудами рукописей — в ящиках, коробках, пачках, связках, пакетах и просто так без всякой упаковки. На них он и засыпал, утомившись от библиофильских трудов. Миссис Филипс могла считать в этом доме своими лишь несколько футов захламленного пространства вокруг ее туалетного столика. Как заметил один из посетителей Мидл-хилла, «трудно себе представить, чтобы какая-нибудь женщина могла раздеваться в такой обстановке». Вдобавок супруг то и дело отбирал у миссис Филипс последнюю горничную, отвлекая ее на нужды каталогизации. От всего этого несчастья жена библиофила серьезно заболела, и врачи настойчиво рекомендовали ей морское лечение в Италии. Увы, сэр Томас категорически отказался подписать чек на 250 фунтов — он тогда как раз сражался на аукционах рукописей Либри и Барруа, о которых будет рассказано в третьей части нашей книги. Вместо Италии пришлось миссис Филипс отправиться на более дешевые курорты Турции, откуда она тщетно взывала к супругу об оплате счетов владельцев отелей, портных и дантиста. Домой она не вернулась, и Филипс время от времени раскошеливался на 2—3 фунта. В 1868 г. отчаявшаяся женщина писала ему: «О, если бы вы не отдали ваше сердце целиком и полностью вашим книгам, превратив их в идолов, как бы я была благодарна судьбе!» Крик души не тронул тирана от библиофилии. Он отвечал: «Дорогая Э! Я бы попросил тебя не предъявлять мне претензий. Ты, верно, попала в дурную компанию в Турции, так как раньше я не слышал от тебя ничего подобного... Книги для меня не более идолы, чем для тебя молитвенник. Так что не

пиши мне больше в таком тоне, если хочешь, чтобы я сохранил свою добрую волю и оставался нежно любящим тебя Т. Ф.»

Кто станет после этого оспаривать правоту сэра Томаса, требовавшего сохранения всех, пусть даже малозначительных бумаг, поскольку вместе они образуют историю эпохи, нации, личности?

*

В 1839 г. Филипс составил список рукописей и книг, которые нужно было спасать в первую очередь в случае нападения чартистов на Мидлхилл (он даже запаковал их и приготовил к отправке в Лондон). Этот список позволяет судить о том, что сам он считал ценнейшим в своей коллекции:

1. Диоскорид — греческая рукопись X—XI вв. с превосходными миниатюрами;

2. Два экземпляра Евангелия — рукописи X и XI вв.

3. Два экземпляра Горация — рукопись X в.

4. Ювенал — список X в.

5. Средневековые переплеты, украшенные драгоценными камнями;

6. Монастырские архивы исключительной исторической ценности и безукоризненной сохранности;

7. Евангелие на английском языке — список XIII в.

8. Из рукописей XV в. Филипс отметил французский перевод Ливия и басни Эзопа со 135 несравненными миниатюрами;

9. Экземпляр отчета о странствиях Магеллана с посвятительной надписью;

10. Атлас Никола Волларда (1547), принадлежавший Талейрану;

11. Ранние списки «Илиады» Гомера;

12. Подлинник брачного контракта великого английского поэта Перси Биши Шелли.

К этому добавлялись еще превосходные коллекции материалов по истории Англии, равных которым не было (и по сей день нет!) ни в одной библиотеке мира. Приведенный список не то чтобы случаен, но не полон, даже если говорить о первейших сокровищах Филипсианы. Во-первых, они притекали и после описанных событий, во-вторых, Филипс давно уже путался в дебрях коллекции, сам толком не зная, что у него есть. К 1840 г., как он считал, у него скопилось 11 тыс. рукописей и 5557 названий книг. Первая цифра совершенно произвольна, поскольку за единицу нередко принимался купленный где-нибудь на аукционе, или у букиниста, или по случаю том с документами разного характера и разного времени.

Мидл-хилл трещал по всем швам: в нем не было зала, который мог вместить и четверть библиотеки в ее составе 1840 г. Хранитель рукописного отделения Библиотеки Британского музея Ф. Мэдден, полвека наблюдавший библиофильскую деятельность Филипса, постепенно дойдя от восхищения его самоотверженностью и энергией до ненависти к могильщику рукописей и сопернику национальных библиотек, в своем дневнике оставил много важных свидетельств о Мидл-хилле и его хозяине. В 1832 г. Филипс сказал Мэддену, что его коллекции могут заполнить пространство в 250 футов в длину и 20 футов в ширину. Он намеревался достроить два крыла по обеим сторонам дома, но не осуществил этого плана.

В 1840 г. Мэдден записал в дневнике: «Обеденный зал переполнен книгами и пакетами; сэр Томас держит дверь туда запертой до самого обеда и вновь запирает сразу же после десерта. В галереях трудно разминуться двоим, и в доме осталась единственная относительно пустая комната, где собирается все семейство». Через два года библиотечное хозяйство сэра Томаса столь

разрослось, что он решил закрыть для посещения и столовую, оставив одну маленькую комнатушку экономки для всех нужд семьи.

Удивительно ли, что в библиотеке царил хаос? Филипс не нанимал библиотекаря (он пытался сделать это лишь незадолго до смерти, но тщетно — никто не пошел), а его собственных сил, помощи дочерей и их гувернанток не хватало даже на то, чтобы нумеровать, штамповать, наклеивать ярлык MHC (Middle Hill Catalogue), регистрировать каждую рукопись и книгу, не говоря уж о систематизации материала. Между тем сэр Томас завел ведь в Мидл-хилле еще и типографию, перепечатывая рукописи, которые считал наиболее ценными. Эти издания выходили ничтожным тиражом и с чудовищными ошибками, поскольку ни он сам, ни его наборщики текстологическими навыками и познаниями не отличались. Понадобилось без малого столетие, чтобы издания с маркой Мидл-хилла заинтересовали ученых и были проданы с барышом — но об этом речь впереди. А пока что сэр Томас задолжал и типографам, и переписчикам, и грузчикам, и почтовому ведомству, не говоря уж о книгопродавцах (в 1830 г. фирме Торп, например, 5053 фунта 15 шиллингов, фирме Корпен — 5500 фунтов). Однако время от времени он получал деньги по закладным за имения и очередной раз выкручивался. Многим служащим он отвечал на законные требования в таком духе: целебный воздух Мидл-хилла полезнее для вас всякой оплаты труда.

К внешнему виду и порядку библиотеки Филипс был равнодушен: расположение на полках носило сугубо практический характер — что куда удобнее запихнуть. В страхе перед пожаром хозяин предпочитал ставить ящики с рукописями как гробы в склепе один на другой, чтобы их можно было быстрее вынести. Передней стенки у ящиков не

было — рукопись можно было сравнительно легко вытащить и посмотреть. Черви пожирали деревянные переплеты инкунабулов — специальная паста мало помогала; отсутствие вентиляции довершало дело — как бы хороша ни была погода, окна в доме не открывались. Описывая ужасающий вид «зеленой комнаты», отведенной ему в качестве спальни, Мэдден говорит, что у него возникло странное впечатление, будто дом уже целое столетие необитаем.

*

И это в 1840 году! А что же творилось в 1856, когда Мэдден гостил в Мидл-хилле в последний раз (потом они окончательно поссорились)?

Знакомых и друзей Филипс честно предупреждал, что ночевать в доме больше негде. Теперь по его, мягко говоря, несовершенной статистике в коллекции было 20 тыс. рукописей и 30 тыс. печатных книг. Во время отлучек хозяина в Лондон и Кардифф дочери Филипса — каталогизаторы и приемщицы книг — не были столь усердны, как под его надзором. Прибывающие покупки сбрасывались на пол, и достать их оттуда уже не было возможности, их заваливали новые коробки, ящики, связки книг. Один из корреспондентов Филипса поражается, как удается ему долго сдерживать свое любопытство и не распаковывать, не рассматривать, не изучать книжные приобретения. Потом каждой книге будет отведено определенное место, и можно будет снова разглядывать, читать, изучать, дотрагиваясь нежно до ее страниц. Ведь в этом истинное наслаждение библиофила! Это верно, однако, во-первых, наслаждения все-таки более разнообразны и индивидуальны, а, во-вторых, сэр Томас в какой-то момент утратил власть над библиотекой, хотя ни в коем случае в этом бы не признался.

Комната с темно-зелеными обоями, где ночевал Мэдден два десятилетия назад, мало изменилась, разве что ковер был убран с пола и прикрывал гору бумаг в самой середине комнаты, а по всем четырем углам ее громоздились коробки с новыми рукописями. Рискуя несколько повториться, все же приведем часть дневниковой записи чопорного, сдержанного и безукоризненно аккуратного хранителя национальной рукописной сокровищницы:

16 августа, воскресенье.

Сэр Томас провел меня по дому. Прежняя столовая, комната для приемов рядом с нею, биллиардная над ними, четыре из пяти спален, в том числе его собственная — ничего подобного я в жизни своей не видел! — были напичканы кипами бумаг, рукописей, книг, свертков, посылок и т. п., разбросанных в полном беспорядке под ногами. И кроме того — в каждой комнате пирамида коробок и ящиков, хранящих самые дорогие тома. Больно было смотреть на все это. Я спросил, почему он не велит очистить от бумаг хотя бы узкий проход в каждой комнате, чтобы можно было пробраться к коробкам. Но он только рассмеялся и сказал, что для меня все это непривычно, вот я и задаю подобные вопросы... Воображение мое. слишком убого, чтобы осознать это. В комнатушке, где громоздились друг на друге все рукописи из коллекции Меерманна, мы с мистером Филипсом застряли, и в течение трех часов я занимался экспертизой рукописей, датируя каждую из них, указывая ее сравнительную ценность, и т. д. Наконец, я совсем замучился, и часов в шесть пополудни мы спустились обедать.

Насчет обеда Мэдден намекнул сам, потому что сэр Томас рад был бы разбираться в рукописях и до полуночи, не отрываясь ни на секунду. После короткой трапезы хозяин продолжал уго-

щать гостя греческими и латинскими классиками, переписанными в VIII—XI вв., полными архивами 25 монастырей и многими другими драгоценностями. Очутившись, наконец, один в своем непрезентабельном обиталище, Мэдден продолжал заполнять дневник: «Когда подумаешь, какую цену пришлось заплатить сэру Томасу и какие усилия затратить, чтобы добыть все это и собрать здесь, становится горько на душе... Окна дома по-прежнему никогда не открываются, тяжелый спертый воздух, запах старой бумаги делают пребывание здесь почти невыносимым. Тюрьма литературы! Однако Филипса как-то мало волнует, что говорят о нем... Молю бога, чтобы в доме не начался пожар. Всю ночь эта мысль не дает мне покоя. Между тем сэр Томас мирно читает при свечах. Это так неосторожно с его стороны. Будет чудо, если дом избежит гибели — я нашел в гостиной пачку восковых фитилей, валявшихся около шкафов, полных рукописями. Стоит вспыхнуть искре, как все эти горы бумаг, картонных коробок и деревянных ящиков в одно мгновение запылают ярким пламенем. Да что говорить, если сам дом вот-вот развалится. В комнате, где мы обедали, пол настолько искривился, что один край стола намного возвышается над другим. А сэр Томас и не замечает этого».

*

Когда Филипс задумывал свой гигантский библиофильский план, он вовсе не стремился к «библиотафии» — вечному погребению книг. Напротив, он мечтал превратить Мидл-хилл в культурный очаг, в книжное святилище, куда как паломники стремились бы лучшие умы человечества. Конечно, в этом был и элемент библиофильского тщеславия — для того и отбивал сэр Томас на аукционах рукописи и редчайшие книги у

соперников (в том числе у национальных библиотек), чтобы многие и многие источники сведений о прошедших веках сосредоточились у него дома и нигде более. Для того он и не жалел никаких денег, говоря: «Глупо со стороны книготорговцев бороться против меня на аукционах, ведь все мои деньги попадают к ним в карман. И чем больше я разорюсь на аукционах, тем меньше им достанется». Однако книжники не слушались добрых советов и нередко обдирали его на аукционах как липку. А он, решив купить что-нибудь, не знал удержу. В яростную битву с представителями Британского музея вступил он на аукционе рукописей из библиотеки знаменитого Ричарда Гебера *.

Филипс купил тогда 428 рукописей (в том числе фолиант, содержащий 80 англо-норманских текстов — 45 из них уникальных), потратив в общей сложности 2568 фунтов — сумму для тех времен громадную. От имени Британского музея Мэдден пытался заполучить хотя бы том испанских баллад, но вынужден был отступиться и записал в дневнике: «Филипс задумал купить эту рукопись, и не было силы, способной остановить его, но, должен сказать, давая такие дикие цены (Филипс заплатил 131 фунт. — *В. К.*), он приносит вред, а не пользу нашей литературе. Препятствуя музею, он лишает публику возможности узнать эти рукописи, исходя из эгоистических соображений и нелепых чувств... Ни один честный

*

Ричард Гебер (1773—1833) — знаменитый библиофил, чьи собрания печатных книг сравнимы по масштабу с рукописной коллекцией Филипса. Гебер был другом Вальтера Скотта, писавшего о нем:

И дом его, и все его тома
Всем людям благородного ума
Открыты, как душа его сама!

По воспоминаниям современников, не было такого писателя или ученого в Англии, который не пользовался бы его библиотекой. Пример Гебера во многом вдохновлял Филипса.

покупатель, который хочет видеть нашу древнюю литературу сохраненной для потомков, не должен становиться на пути национальной библиотеки, если только он не собирается сам предпринять какое-либо исследование на основании приобретенных рукописей. Я очень уважаю мистера Филипса, но я весьма сожалею о действиях, с каждым днем все более превращающих его в собаку на сене».

Субсидии, которое получало рукописное отделение, руководимое Мэдденом, были совершенно недостаточны, и этот патриотически настроенный и знающий свое дело человек был вправе гневаться, видя, как ценнейшие и единственные в своем роде реликвии исчезают в бездонной и недостижимой глубине Мидл-хилла. Уж как хотелось Мэддену иметь в Британском музее рукописный экземпляр «Естественной истории Плиния» (рукопись VIII в.), но совет попечителей музея не позволил ему пойти дальше ста фунтов, а Филипс сразу заявил, что готов сражаться до тысячи! И все же Мэдден кое-что купил на аукционе Гебера, а потом с досадой писал о Филипсе: «Он сердится даже теперь, когда лишь ничтожное число достаточно ценных рукописей я вырвал из его алчной пасти. Вот у меня действительно есть основания возмущаться. Что делает он с рукописями после того, как овладеет ими, что сделал он вообще для изучения нашей истории, литературы, языка? Он без разума и без знания напечатал несколько наборов документов, которые изданы с такими ляпсусами, что бесполезны даже для тех, кому предназначены — для топографов и генеалогов. А он все-таки настаивает, чтобы в его библиотеке скапливались сочинения европейских писателей средних веков исключительно из тщеславного удовольствия вписать их в свой каталог. Я безмерно устал от этого».

Боюсь все же, что правдивый, но несколько напуганный и педантичный мистер Мэдден создал у читателя однобокое представление о Мидл-хилле и его хозяине. Объективности ради следует дополнить наши впечатления о Мидл-хилле некоторыми другими свидетельствами — благо документальная публикация Манби предоставляет возможности для этого. Как бы то ни было, после аукциона Гебера скандал получился довольно громкий. Филипс немедленно дал объявление в газете «Морнинг пост» о том, что готов предоставить возможность всем ученым, имеющим соответствующие рекомендации, знакомиться с рукописями в Мидл-хилле. Он и в самом деле оказывал гостеприимство тем исследователям, которые стучались в его дом, а таких становились все больше, потому что росла и сама коллекция Филипса и слава ее.

В 1840 г., узнав, что у Филипса хранится неизданная библиография «Американы» (составленная А. Хомером *), в Мидл-хилл явился американский профессор Джон Спаркс. Впечатления его, как ни странно, прямо противоположны пессимизму Ф. Мэддена. Ему понравился Мидл-хилл и поразил масштаб собирательской деятельности Филипса, даже бытовых неудобств он, кажется, не заметил, очарованный обходительностью хозяина. «Он вложил в мою руку каталог, — пишет Спаркс, — и сказал, что цель его состоит в распространении знаний и что я могу копировать любую принадлежащую ему рукопись. Много лет в его доме существует частная типография, и он уже напечатал несколько томов, в основном об английских древностях... Большую часть дня я провел в изучении рукописи А. Хомера. Первый том — перво-

*
Homer A. (1758—1806). Bibliotheca Americana.

начальный набросок, остальные — работа в таком виде, в каком он ее завершил; всего 1600 листов, убористо исписанных рукою автора. Это список сочинений, относящихся к Америке, какие только автор мог отыскать на разных языках. Тут же справочные данные о библиотеках, в которых эти рукописи находятся, и о книгах, где эти работы упомянуты... Сэр Томас разрешил мне взять рукопись с собой в Лондон, чтобы я мог снять с нее копию... Потом он познакомил меня с мексиканскими материалами». Получается не столь уж мрачная картина — невежественный «пергаменоман», как выясняется, мог быть и благожелательным меценатом; запутавшийся в собственном книжном имуществе безумец вдруг оказывался здравомыслящим библиофилом.

Однако предоставим сцену другому ученому, на этот раз французскому историку Жан-Луи Альфонсу Гюйяр-Бренолю, опубликовавшему в 1848 г. статью «Научная экскурсия в Мидл-хилл». Филипс знакомил посетителя с французским, голландским, швейцарским фондами коллекции (по-видимому, достаточно четко отделенными друг от друга). Переночевав в таких же условиях, как Мэдден, Гюйяр-Бреноль наутро получил от Филипса ряд интереснейших документов по истории Франции, совершенно неведомых парижским специалистам. Затем сэр Томас принес несколько томов, переплетенных с особенным старанием. «Здесь кое-что поважнее», — сказал он. «Я раскрыл их, — пишет Гюйяр-Бреноль, — и увидел письма Наполеона I маршалу Нею времен ужасной кампании 1813—1814 гг., написанные рукой секретаря и собственноручно подписанные императором литерой N. Первые были помечены «Трианон» и «Сен-Клу», последние — «Реймс» и «Арси-сюр-Об» — в них рассуждал он о том, как будет защищать каждый дюйм французской земли от врагов. Думаю, ничто

не могло дать более ясного представления о его военной изворотливости, гибкости его ума и твердости его души, чем эти письма, тогда еще не опубликованные. Письма были пронумерованы, но нескольких не хватало. «Я бы дал любую цену за недостающие, — воскликнул Томас Филипс с энтузиазмом. — Наполеон — зеркало мира. Этим человеком я восхищаюсь». Я встал и протянул ему руку. Такая оценка из уст англичанина вызвала у меня слезы». Французу, как и американцу, и дом показался просторным, и дочери очаровательными, а уж библиотека — райскими кущами.

Наконец, позже многих других, в 1865 г. сэра Томаса (уже в новом его жилище, о котором будет рассказано) посетил немецкий ученый Леопольд фон Ранке. Возвратившись домой, он писал Филипсу: «Вы собрали у себя изумительные рукописи чуть ли не всех народностей и на всех языках. Но вы сделали нечто большее. Когда я назвал вам некоторые важные рукописи, которые до той поры не мог отыскать ни в Британском музее, ни в Управлении государственных бумаг, вы любезно пригласили меня к себе домой. Мы с сыном гостили у вас три недели с необычайной пользой для нашей научной деятельности».

Свидетельства восторженных визитеров можно было бы без труда умножить: Филипс переписывался с французским писателем-библиофилом Проспером Мериме; копировать документы Испанской академии приезжал к нему Паскуале де Гайянгос; античные материалы изучал крупнейший в XIX столетии специалист по истории Рима Теодор Моммзен... И как хотелось бы на этой мажорной ноте завершить хотя бы вторую главу, но вот беда: в последние десятилетия жизни Филипс проявлял яростную религиозную нетерпимость — он ни под каким видом не пускал на порог своего дома приверженцев католической религии. А

это, согласитесь, уже означало, что о действительно свободном доступе к научным богатствам Филипсианы говорить не приходится.

Однако давайте на время расстанемся с сэром Томасом — перед большими неприятностями, которые его ожидают. Тем более, что сейчас он будет занят: к дверям Мидл-хилла решительной походкой направляется какой-то странный человек с кудрявой, черной как смоль шевелюрой, густыми бакенбардами, эспаньолкой и пронзающим взглядом черных красивых глаз. Он пытается объясниться с сэром Томасом на странном «волапюке» — смеси нескольких европейских языков. Не будем мешать их беседе.



Первая
вставная история
«В Греции все есть!»



В феврале 1853 г. этот человек высадил на берегах Альбиона своеобразный десант — длинный ряд сундуков, битком набитых рукописями. На другой день по прибытии, он, не теряя ни часа, отправился в сопровождении переводчика (молодого сотрудника министерства иностранных дел) в Британский музей к Фредерику Мэддену. Незнакомец предложил музею купить у него привезенные из монастырей, что на полуострове Афон, древнейшие из всех известных списки «Илиады» Гомера, «Трудов и дней» Гесиода, несколько листов пергамена, покрытых персидскими письменами, и маленький папирус с египетскими иероглифами и параллельным греческим переводом. После быстрого, но тщательного осмотра Мэдден сделал решительный вывод: все, что ему показано, — подделки...

Однако пора представить новое лицо в череде персонажей библиофильской «человеческой комедии». Константин Симонидис родился в 1824 г. на острове Идра в Эгейском море. Получив первоначальное образование в Эгионе и Афинах, он в 1839 г. посетил своего дядюшку Бенедикта, монаха

в православном монастыре св. Пантелеймона на полуострове Афон и с тех пор приобщился не только «беспримерной святости», но и древней книжности. Константин Симонидис изучал на Афоне теологию, лингвистику, палеографию и копировал старые рукописи, обнаружив не просто способность, а огромный талант (без всяких кавычек) к воспроизведению почерков разных времен и стилей. От доброго дядюшки Бенедикта он, по его словам, получил все те рукописи, которыми четверть века удивлял ученый мир. Но прежде чем прибыть в Англию с сундуками, в которых ждали своего часа 2500 рукописей, Симонидис изрядно побродил по свету. В 1840 г. он впервые прибыл в Константинополь, потом отправился в Одессу, затем в Москву (в этих городах существовали афонские представительства — подворья) ; в Москве, как утверждал Симонидис, ему была присуждена докторская степень за диссертацию о Херсонесе *. Есть сведения, что он побывал и в Петербурге.

Вернувшись из России в Афины, Симонидис некоторое время занимался политикой, а в 1848 г. представил специалистам свои первые рукописные «находки». Среди них были довольно объемистые сочинения (даже кодекс в 740 страниц, например!), и было их так много, что один человек не мог бы подделать такое количество, если бы даже пережил Мафусаила. Сенсация была настолько громкой, что в Афинах министерство просвещения создало специальную комиссию, сделавшую не вполне категорический вывод: «аутентичность подтвердить не удалось». Поскольку в Греции уже в 1851 г. раздались скептические голоса, Симонидис перевез свои сомнительные трофеи в Англию, а потом в Германию, где о нем еще ничего не слышали...

* Документальными данными это не подтверждено (мы пользуемся биографическими материалами о Симонидисе на английском и немецком языках).

Итак, Константин Симонидис в кабинете у Фредерика Мэддена. Он невозмутимо молчит в ответ на заключение эксперта. Впрочем, оказывается, он ни слова не понимает по-английски и говорит только на новогреческом языке. К тому же, он не допускает и мысли о неаутентичности рукописей, так что и после объяснений переводчика остается невозмутимым. Он просит Мэддена предоставить ему право пользоваться читальным залом Британского музея. Однако билет может быть выдан только человеку, имеющему солидные рекомендации. Впрочем, дело можно уладить, если за греческого гостя поручится сотрудник министерства иностранных дел, который его привел. В ответ молодой переводчик с ужасом восклицает (по-английски, разумеется): «Ни в коем случае! Это же отъявленный негодяй!» И тут, как ни странно, Симонидис меняется в лице — может быть он чуть-чуть понимает по-английски? Как бы то ни было, билет не выдается. Чтобы подсластить пилюлю, Мэдден спрашивает, нет ли у него других греческих рукописей вроде Псалтири XI в., что лежит на столе у руководителя рукописного отделения? На этом забавная сцена заканчивается.

Каково же было удивление Мэддена, когда на следующее утро у него появился Симонидис с целой связкой рукописей, подлинность которых ни малейших сомнений не вызывала. Правда, они были в гораздо худшем состоянии, чем отвергнутые Гомер и Гесиод, и не всегда комплектны. Но... не каждый день приносят в Британский музей рукописи IX—X веков. Сторговались за 46 фунтов. Тут же Симонидис исчез из Лондона и появился в оксфордской Бодлеане с уже известными нам предложениями. К счастью, Мэдден вовремя предупредил коллег. И вот, потерпев неудачу в Оксфорде, Симонидис постучался в двери прославленного Мидл-хилла.

Филипс, знавший уже лондонские приключения грека, сперва отверг и Гомера и Гесиода, но двери для дальнейших переговоров не захлопнул, пригласив Симонидиса прибыть в Мидл-хилл еще раз через некоторое время. Филипс пришел в бурный восторг от того, как быстро и красиво копирует Симонидис древнегреческий текст. Отнюдь не убежденный в подлинности свитка Гесиода (того самого, что был разоблачен Мэдденом), Филипс все же купил его. То ли сэра Томаса соблазнил способ письма «бустрофедон» *, то ли воображение его поразили рассказы грека о пяти тысячах рукописей, оставшихся у него в Афинах, а среди них — Фукидид с двумя дополнительными частями, неизвестными человечеству, и таинственная рукопись «Чекремон» — о происхождении египетских иероглифов, с которой он, Симонидис, и за миллион не расстанется. Словом, у сэра Томаса глаза разгорелись, и он не захотел порывать с Симонидисом. Более того, Филипс попросил Симонидиса сделать для него копию рукописи Гесиода. Тот ответил письмом (забавно, что он, как и Филипс, иногда предпочитал писать о себе в третьем лице): «Симонидис согласен принять на себя бремя переписки Гесиода, имея в виду, что сэр Томас проявит большую щедрость, поскольку работа очень тяжела, особенно если копировать с полной аккуратностью... Если бы кто другой сейчас попросил меня об этом, я не согласился бы и за тысячу фунтов; только для вас я предпринимаю этот утомительный и долгий труд всего за 150 фунтов». Хотя сэр Томас увлекся и Симонидисом,

*

От греческих слов «бус» — «бык» и «строфо» — «поворачиваю». Греки уподобляли этот способ письма вспашке поля быком, который, закончив борозду в одном направлении, возвращается назад, а потом начинает снова. Первая строчка пишется справа налево, вторая — слева направо, третья — снова справа налево и т. д.

и Гесиодом, и даже пытался оживить свои познания в древнегреческом языке, но цена все-таки его покоробила. Он отвечал: «Я заплачу вам 25 фунтов за переписку той части Гесиода, которую сам выберу». Примечательно, что зная заключения экспертов, Филипс все-таки не оставлял надежды на подлинность «древней» рукописи: «Я начал читать Гесиода довольно бегло, — сообщал он греку, — и сам переписал 40 строк. Я мечтаю узнать историю этой рукописи. Где вы нашли ее? И при каких обстоятельствах? Как называется это место? Как вы думаете, можно ли отыскать еще что-нибудь подобное? Жду прибытия Фукидида и вашего в Мидл-хилл».

Отыскать подобное можно было бы при раскопках в сундуках Симонидиса. Что касается Фукидида, то он был лишь приманкой, брошенной матерым зверем доверчивому охотнику. Цель Симонидиса была иная: во что бы то ни стало пристроить Гомера — не только для того, чтобы получить круглую сумму, но и для собственной реабилитации, ибо тщеславие снедало душу библиомана из Афин ничуть не менее, чем библиофила из Южной Англии. Поэтому Симонидис и продолжал с Филипсом игру в кошки-мышки. То он внезапно заболевал, заставляя клиента изнемогать от нетерпения: «Увы, теперь Симонидису не до писем, рукописей и соглашений, — писал грек в Мидлхилл, — он занят исключительно своей болезнью». То его вдруг обуревала внезапная любовь к отечеству, и он грозил немедленно оставить Англию, если... у него не купят Гомера: «Объявляю вам, что через несколько дней я уезжаю во Францию, и оттуда без задержки — в Македонию и Афины. Греция — мать света, родина богов, полубогов и героев, зовет своих сынов освобождать ее; между тем вы, которые обязаны ей всем — религией, цивилизацией, самим своим существованием, и

весь неблагодарный западный мир заключаете союз с варварами (т. е. с Турцией. — *В. К.*). Но нас не запугают ваши пушки, равно как нас больше не остановят и не обманут ни обычные английские махинации, ни ветреный характер французов. Высшая сила на стороне Греции, и мы — апостолы этой силы. Таково положение вещей, и я сообщаю вам о моем предстоящем отъезде. Если вы имеете что-нибудь важное сообщить мне, напишите прежде, чем я покину эту страну...» В том, что писал Симонидис, можно отыскать зерно истины, но, увы, он в Афины не собирался. Да и стоит ли причислять спекулянтов рукописями к выразителям национального духа?

Мэдден записал в дневнике: «Сэр Томас сообщил, что приобрел у грека Симонидиса рукописи, предлагавшиеся в прошлом году в музей. Он показал мне: 1. Гесиода; 2. Пифагора; 3. Анакреона. Я, ни секунды не медля, объявил сэру Томасу, что, по моему мнению, это подделки, сделанные одной и той же рукой и в одной и той же манере. Томас Филипс возразил, что, по *его* мнению, это подлинные рукописи и, скорее всего, — реликвии из Александрийской библиотеки!!! Конечно, не высказав этого вслух, я придерживался совершенно иной точки зрения. Когда он советовался со мною, покупать ли, я решительно возражал, но втуне. Тщеславное чувство обладания такими редкостями (он ведь считал их подлинными) победило все доводы скептицизма. И теперь, истратив значительные суммы на покупку этих, не имеющих ни малейшей ценности, подделок современного плута, сэр Томас, конечно, вынужден упрямо отстаивать их аутентичность. Повторяю, я опечален этим, но в характере моего друга из Мидл-хилла есть свои слабости».

Баронет был твердо уверен, что его невозможно обмануть, и, подобно обжегшемуся мотыльку,

летящему все к той же свече, вновь вернулся к общению с Симонидисом. И это несмотря на предостережение Мэддена — крупнейшего палеографа своего времени! Гомер, о котором идет речь, разумеется, был «перлом» коллекции Симонидиса. Этот маленький свиток пергамена ($2^1/_2$ дюйма в длину и $2^1/_4$ шириной) содержал первые три песни «Илиады», написанные стилем «бустрофедон», как с жаром доказывал Симонидис, две тысячи лет назад. На вид свиток был и в самом деле почтенной древности. И если бы его подлинность была доказана, он один составил бы славу любой коллекции. В августе 1854 г. Филипс пригласил Симонидиса в Мидл-хилл для решительного сражения за Гомера и получил согласие грека, написанное на хорошем английском языке. Встречая его, Филипс заметил: «Я рад, что вы выучили английский, а то прежде мы не всегда понимали друг друга».

В Мидл-хилле в это время гостил немецкий путешественник и географ Иоганн Георг Коль (1808—1878), пытавшийся отыскать древние географические карты в хаосе Мидл-хилла. Благодаря этому у нас есть возможность выслушать объективный отчет о генеральном сражении Симонидиса с Филипсом *.

«В гостях у мистера Чарлза, — пишет Коль, — был грек, мне в то время незнакомый, но, как выяснилось, уже известный ученому миру. Это был крупный делец, промышлявший рукописями и диковинами Востока. Он привез с собой различные свитки и кодексы и разложил их, как коробейник свои товары, — на коврах, столах, стульях... Он

* В 1868 г. Коль опубликовал свои записки об английских библиофилах, изменив, правда, их имена. Сэр Томас у него называется «мистером Чарлзом» (Kohl G. Sammlungen und Sammler in England).

утверждал, что обладает самым ранним манускриптом поэмы Гомера, существующим на свете... и просил за этот маленький свиточек большие деньги — 50 фунтов. Целый день разговор вертелся вокруг этой темы, и только поздно вечером грек — неутомимый говорун — отправился спать, оставив нас с мистером Чарлзом. Хозяин дома вытащил гомеровское чудо из футляра, развернул его, осмотрел поврежденные места, коричневые пятна времени; исследовал шрифт, сравнив с имевшимися у него списками Гомера; воспользовался очками и увеличительным стеклом, чтобы рассмотреть в подробностях. Подержал перед лампой и за лампой.

Пергамен явно гипнотизировал его, волновал, как волнуют женщину ювелирные украшения. Он спросил моего совета. Увы, я не мог ему помочь, потому что практически ничего не знал о греческих рукописях такого рода. Мистер Чарлз рассказал мне, что наш недавний собеседник — это знаменитый Симонидис, крупнейший знаток греческих рукописей и в то же время хитрейший подделыватель их. Он способен воспроизвести пергамен, шелк, хлопок и прочий письменный материал любой эпохи с несравненной точностью и покрыть их пятнами и трещинами с большей убедительностью, чем само время».

Немецкому гостю сразу все стало ясно, и он дал категорический совет: Гомера не покупать, чтобы не выбрасывать деньги впустую и не поощрять проходимца. Филипс горячо пожал ему руку, поблагодарил за совет и отправился почивать, поскольку дело было далеко за полночь.

Утром немец проспал завтрак и, когда появился в гостиной (вернее, в библиотеке — в Мидлхилле все было библиотекой), узнал, что Симонидис уже с час как уехал. «Как хорошо, что вы приняли мой добрый совет», — сказал он. В ответ Филипс совершенно изумил гостя: он подошел к

закрытому ящичку, вынул оттуда гомеровский свиточек и голосом триумфатора объявил: «Я купил его у грека за 50 фунтов и вместе с ним другие редкости». Иоганн Коль, человек строгих принципов, не мог понять, как можно истратить деньги на сомнительную вещь. Искренне опечаленный, он выслушал объяснения Филипса: «Всю ночь я мучился вопросом, могу ли я позволить самому раннему Гомеру ускользнуть из моих рук? Конечно, не исключено, что грек очередной раз смошенничал и сбыл мне подделку. Но ведь есть какой-то шанс на то, что манускрипт подлинный. Сегодня утром он пригрозил, что если я немедленно не решусь на покупку, он даром отдаст Гомера в Британский музей. Мог ли я рисковать? Я предпочел рискнуть полусотней фунтов. Ближайшие месяцы придется посвятить выяснению, действительно ли я владелец самого раннего Гомера».

Ни месяцы, ни годы не внесли полной ясности. Гесиод был признан фальсификацией. А Гомер? Какие-то сомнения еще остаются. В каталоге Филипса описаны 22 рукописи, купленные у Симонидиса. Против десяти из них он сделал пометки: «фальшивая». У «Илиады» такой пометки нет.

*

Симонидис, как и предупреждал, вскоре распрощался с Англией (не навсегда) и, после короткого пребывания в Париже, обосновался в Германии — стране, ставшей следующей жертвой его фальсификаторской активности. Греция по-прежнему боролась за свободу без Симонидиса.

В 1855 г. он посетил Берлин и Лейпциг и, встретив известного египтолога профессора Вильгельма Диндорфа, сообщил ему, что владеет греческим палимпсестом *, содержащим три книги

* Пергамент, на котором поверх соскобленного текста написан новый, более поздний.

записей о деяниях египетских царей. Автор — некий Ураний из Александрии, сын Анаксимена, дата рукописи — по-видимому, IV или V век. Симонидис запросил за рукопись 2 тысячи талеров. Проведя химическую проверку и уверовав, что это хоть и палимпсест, но подлинный, Диндорф тайно от Симонидиса вступил в переговоры с прусским правительством о приобретении Урания для Берлинской Академии за 5 тысяч талеров. При этом, чтобы не рисковать, почтенный профессор половину этой суммы выторговал у казны вперед и, расплатившись с Симонидисом, остался с большим барышом и с Уранием.

Неожиданно в январе 1856 г. события приняли совершенно иной оборот. Диндорф, написав предисловие и примечания к Уранию, отправил рукопись для публикации в переводе на латинский язык в Оксфорд. К несчастью, когда тираж уже был готов *, из Берлинской Академии пришло окончательное заключение, сделанное знаменитым А. Гумбольдтом на основе микроскопического, палеографического и более детального химического анализа — рукопись все-таки подложная: «древний» текст написан поверх соскобленного текста XII столетия. Издание было уничтожено (15 экземпляров все-таки сохранились), престиж Диндорфа подорван, а Симонидис в Лейпциге арестован.

При обыске у него были найдены сотни рукописей (подложных и подлинных), оригинал текста Урания, с которого Симонидис столь блистательно изготовил «более ранний» палимпсест и... огромное количество ржавых гвоздей, которые использовались для изготовления желтых чернил. На допросах, проходивших уже в Берлине, Симонидис держался стойко и с достоинством. Его обвиняли

*
Uranii Alexandrini de Regibus Aegiptorum Libri Tres. Oxford, 1856.

еще и в краже рукописей из библиотеки турецкого султана, о чем писали константинопольские газеты. На каждый пункт обвинения у него было десять оправданий и двадцать контробвинений. Если он украл рукописи в Константинополе, то почему его считают фальсификатором? Да к тому же каталоги там в таком беспорядке, что доказать принадлежность какой-нибудь рукописи библиотеке Сераля совершенно невозможно. Ураний, с которого печаталось Оксфордское издание, — всего лишь копия, изготовленная им, Симонидисом, специально для этой цели по просьбе Диндорфа — подлинник остался у него; желтые чернила нужны были исключительно для того, чтобы при палеографических исследованиях обводить те знаки в рукописях, которые совсем почти выцвели; ржавые гвозди он копил для приготовления «железной воды», без которой человек, выросший на островах Эгейского моря, не может существовать. И так далее, и тому подобное. Берлинский магистрат состава преступления в действиях Симонидиса не нашел, из тюрьмы освободил и с миром отпустил в Вену. Оказавшись на свободе, Симонидис принялся публично доказывать свою правоту и безукоризненную порядочность. Он написал письмо в Аугсбургскую «Альгемайне цайтунг», но газета не пожелала иметь с ним дела, и ему пришлось напечатать собственные «Археологические труды», где приводится аргументация в защиту аутентичности Урания. Симонидис намекнул, что у него имеется еще десяток трудов этого автора, что всеми было воспринято как обещание новых подделок.

Подобных историй с участием греческого авантюриста-самородка можно было бы рассказать еще с добрый десяток, но именно эта ведет нас снова в Мидл-хилл.

Узнав из газет об аресте Симонидиса в Германии, Филипс написал два письма. Одно — Мэд-

дену: «Это нисколько не поколебало моей уверенности в подлинности моих Гомера и Гесиода»; второе — Симонидису: «Сколько хотите вы за рукопись Урания, если она еще у вас?» Грек отвечал с подкупающей скромностью: хотя прусское правительство предложило ему за Урания 16 тысяч крон, а русское — 20 тысяч, он, Симонидис, предпочитает оставить рукопись себе «из соображений престижа и чести». В мае 1858 г. Филипс и Симонидис встретились в Лондоне, и баронет выразил готовность приобрести Урания за 50 фунтов, как «курьез, вызвавший споры в ученых кругах». Симонидис отказался даже обсуждать подобную цену, тем более, что намеревался выпустить новое издание Урания взамен уничтоженного в Оксфорде.

Филипс — Симонидису (май 1858).

Сэр!

Мне жаль, что вы не дали мне возможности приобрести Урания. После того, что произошло в Лейпциге и Берлине, я не думаю, что кто-нибудь предложит вам и половину этой суммы. Вы разрушили всякое уважение к вам, пытаясь обмануть столь многих людей; единственный способ для вас вернуть себе доверие общества — рассказать с полной правдивостью историю всех рукописей, которыми вы когда-либо владели. Вас даже не смогут принять в Британском музее, если вы этого не сделаете и не объявите, какие манускрипты, выдаваемые вами за древние, изготовлены вами самим... Если бы вы предложили джентльменам свои услуги в качестве переписчика греческих рукописей, я думаю, у вас было бы много заказов.

Ваш слуга
Томас Филипс.

Симонидис — Филипсу (май 1858).

Если вы испытываете сомнения в аутентичности рукописей, которые вы у меня купили, я готов выкупить их у вас за двойную цену... Ураний печатается, и если вы интересуетесь им, пришлите аванс за подписку, иначе вы не получите экземпляра — число их строго ограничено числом подписчиков.

«Я хотел бросить ему спасательный круг, но он не оценил этого», — жаловался потом Филипс.

Более они не встречались. В 1859 г. Филипс получил письмо от некоей дамы, которая просила дать сведения о Симонидисе, поскольку ее приятельница собирается вступить с ним в брачный союз. Филипс с обычной для него прямотой отвечал, что он лично вообще не рекомендует англичанкам выходить за иностранцев, а что касается Симонидиса, то о нем лучше справиться у доктора Мэддена в Британском музее. Симонидиса, кажется, на время приютил какой-то лондонский библиофил — грек был в подавленном состоянии, ибо не мог выехать из Англии, не заплатив долгов. Вскоре он выпутался и исчез из Лондона.

В 1861 г. имя Константина Симонидиса еще раз появилось в газетах. На этот раз он, видно, в отместку своим гонителям, объявил, что общеизвестный подлинник «Кодекс Синаитикус», подаренный греческим правительством российскому императору Николаю I, на самом деле никакой не подлинник и написан лично им, Симонидисом, в монастыре на Афоне. Ему не поверили. Тогда он сообщил, что на нескольких листах кодекса в свое время нарочно проставил инициалы «К. S.». Попытались проверить эти сведения в Императорской публичной библиотеке в Петербурге, но оказалось, что именно эти листы кодекса в плохом состоянии — углы их оборваны. По-видимому, Симонидис блефовал. Это была его последняя авантюра.

В 1865 г. он прислал Филипсу свою фотографию, которую мы воспроизводим, а в 1867 г. умер в Александрии от проказы. Получив известие об этом от одного из греческих знакомых, Филипс задал ему вопрос: каково все же происхождение гомеровского свитка? Ответ был: рукопись, скорее всего, подлинная.

Таков был Симонидис — странный человек, обладавший редким каллиграфическим даром, невиданной амбицией, способностью к довольно тонким мистификациям и, по-видимому, чуждый самого понятия «совесть». До сих пор его считают загадкой, и вправду многое в его судьбе по сей день окутано туманом. Как бы то ни было, факт остается фактом: Симонидис обманывал многих людей и старался заработать на этом. Другое дело, что по сравнению с некоторыми «умельцами» XX века его можно считать невинным агнцем. Но об этом речь впереди.



Глава третья,
в которой рассказывается о том, как дочь библиофила вышла замуж за книжного вора и к каким непредвиденным последствиям это привело



Кто только не побывал в Мидл-хилле — биографы английских королей и королев, ученые из Уэльса (Филипс их особенно привечал, так как питал слабость к валлийской культуре и истории), специалисты по мексиканской археологии, знатоки живописи и архитектуры, библиографы из Кембриджа и Оксфорда...

В 1839 г. среди всего этого разнообразного общества мелькнули стройная фигура и красивое лицо юного шекспироведа, выпускника аристократического Тринити-колледжа в Оксфорде, начинающего библиофила и будущего крупного знатока рукописей Джеймса Орчарда Холливела. Несмотря на свой нежный возраст (ему было всего 18 лет), Холливел уже приобрел известность в литературных кругах и даже удостоился чести быть принятым в Общество антикваров и в Королевское общество. Филипс был до глубины души растроган, когда молодой коллега предложил помочь ему в библиографических занятиях. Он поручил Холливелу составить описание монастырских и церковных архивов в Кембридже по следующей

формуле: название монастыря или церкви; формат; материал, на котором сделаны записи (пергамен, бумага); число листов исписанных и пустых; степень сохранности; место хранения архива. Возможно, Филипс рассчитывал кое-что из этого приобрести, но, вернее всего, он преследовал иную цель: путем сравнения с Кембриджем доказать несравненное богатство Филипсианы, в которой монастырских архивов было больше и лучшей сохранности, чем в любом национальном архивохранилище. С первым заданием Холливел справился отлично. Тут, между прочим, выяснилось, что юный литературовед коллекционирует рукописи и добился уже на этом поприще кое-каких успехов. В его собрании были математические и астрономические трактаты XV в., переписанные для папы Римского, любопытные документы по археологии Уэльса и т. д. По его просьбе Филипс отпечатал в типографии Мидд-хилла «Каталог рукописей, принадлежащих Джеймсу Холливелу». Ах, если бы знал увлекающийся баронет, что всего через год с небольшим он будет в бессильной ярости рвать в клочки и топтать ногами экземпляры этого самого каталога, выпущенного в его собственной типографии! Но пока он полон сочувствия к новому другу, тем более что получил от него следующее послание:

Дорогой сэр!

После той доброты, которую вы ко мне проявили, я не могу не обратиться к вам первому с моим предложением. Ужасное несчастье, неожиданное и достаточно сильное, чтобы сокрушить человека, вынуждает меня расстаться со 150 собранными мною манускриптами — а именно с теми, которые я купил сам. Остающаяся часть подарена мне отцом, и с нею я никогда не расстанусь. Я прошу за них меньше того, что истратил, — 250 фунтов. Если вы готовы купить, умоляю ответить

с ближайшей почтой. Единственное мое условие — сделка должна быть секретной.

Филипс рукописи не купил, потому что был в долгах, даже для него невиданных. И как не быть! Перед этим Мидл-хилл пополнили, например, 48 томов французских государственных бумаг; 220 томов переписки и генеалогических таблиц знатных итальянских родов; собрание документов из коллекций итальянского арабиста Мариано Пицци; свод исторических бумаг о покорении Неаполя и Сицилии испанцами в первой половине XVIII в. Вы скажете: что стоило заплатить еще 250 фунтов? Инстинкт уберег!

Но главную беду сэру Томасу отвести не удалось. Юный красавец Холливел был приглашен погостить, и в него, как и следовало ожидать, страстно влюбилась затворница Мидл-хилла, старшая дочь нашего героя — Генриетта Филипс. Шекспировед и библиофил в ответ воспылал нежным чувством к... Филипсиане. Через три дня после знакомства Холливел сделал предложение. В ответ, как записала в своем дневнике * Генриетта, «папа вступил в переписку с отцом Джеймса, требуя от него 800 фунтов ежегодно» (на содержание молодой семьи, конечно). При этом Филипс не желал дать за дочерью ни гроша и лишь обещал две тысячи фунтов после своей смерти. Старший Холливел отказал, помолвка не состоялась. Но Джеймс продолжал посещать Мидл-хилл, норовя теперь попасть туда в отсутствие хозяина. И хотя, как пишет Генриетта, «папа запер все мои платья», она все-таки во что-то оделась и об руку с Джеймсом Холливелом добралась до ближайшей сельской церкви, чтобы никогда более не вернуться в родительский дом.

*
Когда Генриетта сбежала из дому, Филипс приобщил ее дневник к коллекции Мидл-хилла, да так и не отдал.

Филипс отозвался на это так: «Генриетта, которая, я полагал, станет опорой моей старости, отдала себя человеку, которого я никогда не захочу видеть и который, не сомневаюсь, сделает ее несчастной».

Печально, но старый ворчун оказался прав. Уже через несколько дней после свадьбы Генриетты он получил анонимное письмо: «Сэр Томас! Вы даже де подозреваете, за кого вы отдали свою старшую дочь (он подозревал! — *В. К.*). За молодого человека, рожденного вне закона (по понятным причинам, не это для Филипса было главным! — *В. К.*) и обладающего сквернейшим характером... Он, несомненно, обманул вас, как надул и многих других, несмотря на свой юный возраст». Далее шли выразительные подробности об ужасающих долгах Холливела, о суммах, выманенных им у приятелей и не возвращенных, о том, что рукописи, которые он продал на аукционе у Сотби (те самые, что предлагал Филипсу), — украдены из Тринити-колледжа. «Это предупреждение, — резонно замечал анонимный доброжелатель, — получено вами слишком поздно, чтобы спасти вашу бедную дочь, но да поможет оно вам противостоять его дальнейшим аферам».

Вскоре слухи об ограблении Тринити-колледжа стали громогласными, и Холливел оказался в центре газетного скандала. Он даже был лишен права посещать читальный зал Британского музея — символ полной утраты репутации для британского книжника. Но Холливел упорно отрицал свою вину, и Генриетта свято верила в его непричастность к краже. Филипс в числе других уважаемых людей вместе с сопроводительным письмом дочери получил в августе 1845 г. написанную Холливелом брошюру, где мошенник представлен честным малым. Он отвечал Генриетте:

Благодарю тебя за поздравления по случаю моего дня рождения. Я прочитал брошюру, кото-

рая, боюсь, неубедительна. Целое учреждение, такое, как колледж, никогда не решилось бы возводить на джентльмена обвинение, уничтожающее его репутацию, если бы не было совершенно убеждено в своей правоте. Я понимаю, что показания против него ужасающи, но единственный путь оправдаться — это пройти судебное разбирательство. Могу только считать, что тебя постигло возмездие за нарушение заповеди, за непослушание, за то, что ты вышла замуж против воли отца.

Холливел как-то выкрутился — во всяком случае, официальный процесс против него был прекращен, и даже в Британский музей его допустили. Что касается истины, то — право, английская юстиция несколько медлительна! — она вскрылась лишь в 1948 (sic!) году, когда журнал «Лайбрери» опубликовал итоги расследования *. Заключение автора о краже таково: «Сделав все, чтобы подвергнуть этот факт сомнению, я вынужден подтвердить, что он крал рукописи из колледжа». Да, через столетие все как-то становится виднее. Но 28 августа 1845 г. Холливел «в ответ на ответ» Филипса Генриетте разразился «антифилиппикой»: «Сэр! Письмо, полученное моей женой сегодня утром, столь грубо и противоестественно, что я вынужден сообщить вам, что не допущу в дальнейшем подобного с нею обращения... Я не потерплю какой-либо связи между вами и Генриеттой, и все последующие ваши письма мы будем возвращать нераспечатанными».

Дальнейшие взаимоотношения Филипса с Холливелами — сами по себе весьма любопытные, на мой взгляд, заслуживают внимания бытописателя Англии XIX века, даже такого грандиозного масш-

*

См.: Winstanley D. A. Halliwell Phillipps and Trinity College Library. — Library, 5 ser., vol. 2, № 4, 1948, March, p. 250—282.

таба, как Диккенс или Теккерей, но не историка библиофилии *. Мы же перейдем к самому главному.

*

Внимательный читатель уже догадался, почему Филипс с таким волнением и ужасом относился ко всему, что связано с его зятем. Ведь по завещанию старого Филипса все имущество переходило к мужу старшей внучки — сыновей-то у библиофила не было. Это значило, что Мидл-хилл со всем его содержимым перейдет к человеку, который оказался книжным вором, мошенником и подлецом. Можете себе представить душевное состояние нашего героя! Его жгучая, затмевающая разум ненависть к Холливелу может сравниться по силе чувства только с его же страстью к рукописной книжности и... с его неприязнью к католикам. В 50-х годах сэру Томасу предложили вступить в Филологическое общество Великобритании; прежде чем согласиться, он обратился к руководителям этой организации с вопросом: сколько у них католиков? И получил следующий ответ от председателя общества: «Мой дорогой сэр!.. Могу пожелать только, чтобы тысяча папистов, турок, евреев, атеистов и еретиков вступила в наше общество, и каждый внес бы вступитель-

*

Не удержусь еще только от одного добавления. В книге Lucas E. V. Reading, Writing and Remembering (Lnd., 1932) автор вспоминает свой визит к Холливелу, когда тому было уже за 60, и он давно назывался Холливел-Филипс: «Он показал нам много редких книг и документов, но больше всего я запомнил его заявление: если ему приходилось видеть в чьем-нибудь доме или музее книгу, которой он считал полезным владеть, поскольку она надежнее сохранится у него, чем у владельца, он не испытывал ни малейших колебаний. Может быть, это была шутка или розыгрыш, но так он сказал». Едва ли Холливел шутил: из Мидл-хилла будущий зять похитил «Сонеты» Шекспира 1609 г. издания и «Гамлета» 1603 — один из двух экземпляров, еще существующих на земле. Выдрав из «Гамлета» титульный лист со штампом «Мидл-хилл», он продал его в Британский музей в 1859 г.

ный взнос. Это помогло бы нам издать отличную серию филологических памятников. Я в самом деле понятия не имею, сколько у нас католиков, и не думаю, чтобы кто-нибудь еще из членов Филологического общества заботился об этом хоть на фартинг или даже интересовался этим вопросом».

Но с католиками было все-таки проще: Филипс при жизни мог закрыть перед ними двери Мидлхилла, а в завещании предусмотреть, чтобы их не допускали к его имуществу (что он и сделал). Хуже обстояло дело с Холливелом. Конечно, строго говоря, он не обязан был оставлять ему библиотеку — ведь о движимом имуществе в завещании старого Филипса ничего не было сказано. Но сэр Томас отлично представлял себе, кому достанется библиотека, если к моменту его ухода из жизни она будет еще в Мидл-хилле. Нет, не таков был наш библиофил, чтобы покоряться слепой судьбе!

Для начала он попытался побороться с завещанием собственного родителя. Но чтобы оно потеряло силу, нужен был специальный парламентский акт. Как увидим дальше, такой акт был принят, но лишь... по отношению к завещанию самого Филипса. В данном случае он потерпел неудачу; тогда он потребовал от Холливелов письменного обязательства ...выдать дочь (у них тоже не было сыновей) за человека, которого выберет он — Филипс. Это обеспечило бы переход библиотеки и Мидлхилла в надежные руки хотя бы в третьем поколении. На это никто, естественно, не согласился. Филипс пытался опорочить зятя во что бы то ни стало. 2 июля 1858 г. он обратился в Королевское общество со следующим письмом:

Дорогой сэр,
просматривая список Королевского общества, я был несказанно поражен, когда обнаружил в нем имя Джеймса Орчарда Холливела в качестве почетного!!

члена. Поскольку этот человек никогда не мог очистить свое имя от подозрений в краже рукописей из Тринити-колледжа, я даже представить себе не могу, как решилось Королевское общество вообще его принять, а тем более объявить почетным!! членом... Если все же имя его останется в списках общества, я прошу исключить из них мое имя...

Ответ был любопытен: он сводился к тому, что Холливела и в самом деле следовало исключить, но процедура, с этим связанная, настолько сложна, что на нее никто не решится.

В следующей главе мы расскажем еще об одном нападении сэра Томаса на своего врага, а сейчас посмотрим, какие он провел оборонительные мероприятия. Оставался единственный способ спасти Филипсиану от Холливела: заблаговременно, при жизни Филипса, перевести ее в другое место. Вам случалось, читатель, перевозить свою скромную коллекцию, скажем, в две тысячи томов? Если случалось, вы знаете, какая это работа. А тут, по самым грубым подсчетам, больше 100 тысяч томов! И все же престарелый баронет на это решился. Был найден просторный, казалось бы вполне подходящий дом в Челтенхэме (неподалеку от Бродвея) под названием Серлистэйн-хаус — чудесный образец английской архитектуры, сохранившийся до сих пор. После бесконечных переговоров с наследниками умершего владельца, в 1863 г. соглашение было подписано, и началась подготовка к великому переселению Филипсианы. Только опасения, что «вор войдет в Мидд-хилл», вынудили Филипса отважиться на такой шаг. «Необходимость покупки этого дома, — писал сэр Томас одному из книготорговцев, умоляя об отсрочке платежей, — полностью выросла из сучьего неподчинения моей дочери».

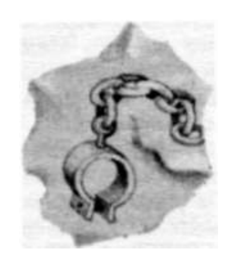
С 10 июля 1863 г. по 18 марта 1864 г. при помощи 230 лошадей и 160 возниц и носильщиков из Мидд-хилла в Серлистэйн-хаус были перевезены

103 громадные платформы с книгами и рукописями. Потомки младшей дочери баронета Кэтрин до сих пор передают от поколения к поколению легенды об этой великой эпопее: о павших лошадях, отскочивших колесах, раздавленных фермерских повозках. «Я работаю один, без помощников, — жаловался Филипс, — уже заполнены четыре зала, а у меня еще 200 ящиков, за которыми последуют 50—60 шкафов и 3 огромных стеллажа с книгами». Просторный дом (349 футов в длину) оказался безнадежно мал для Филипсианы — небывалого в истории книжного «сборища». В ответ на поздравления Филипс огрызнулся: «Нужно ли поздравлять человека, купившего плохо устроенный, неудобный дом, у которого все службы и кухни находятся через дорогу от главного здания. Обед остывает прежде, чем его ставят на стол, слуги не слышат колокольчика...» Но все это мелочи по сравнению с той колоссальной работой по переустройству и перераспределению коллекции, которую сэр Томас предпринял, полагаясь только на собственные силы. А ведь он перешагнул уже 70-летний рубеж! «В ответ на идиотский шаг моей непокорной дочери, — заявлял он, — я создам огромную, прекрасную библиотеку, в которой мои дорогие друзья смогут работать с комфортом».

Только к лету 1865 г. окончательно опустел бедняга Мидл-хилл. Но мы плохо знаем Филипса, если думаем, что он ограничился «тихой эвакуацией». О нет, он должен был, как истинный полководец, оставить врагу руины и выжженную землю. И вот, по его поручению, банда молодчиков разрушает этот «приют покоя», этот «литературный рай», как любили называть Мидл-хилл иностранные визитеры: с корнем вырывают лавровые кусты; спиливают вековые деревья; перекапывают очаровательные тропинки в саду, по которым так любили гулять дочери Филипса в свободное от каталогизации вре-

мя; выбивают цветные стекла, украшавшие башенки дома; разрушают внутренние перегородки, лестницы, галереи... Неверно будет сказать, что не оставляют камня на камне: оставляют именно камни на камнях. Первой заботой Холливела, когда через семь лет после описываемых событий он станет Холливелом-Филипсом (помните этот пункт завещания старика?), будет продать Мидл-хилл. Жить там семья Генриетты не сможет.

Когда знакомишься с этими реальными фактами библиофильской и бытовой, нравственной истории Англии прошлого века, хочется сказать только одно: фанатизм — в любой его форме, будь то слепая любовь или слепая ненависть — к добру не приводит и доброй памяти не заслуживает.



Глава четвертая, в которой Томас Филипс продолжает борьбу, подводит итоги и завершает путь



В новом доме, покупка которого едва ли не разорила Филипса, постепенно возрождались памятные нам порядки старого доброго Мидл-хилла. Все прибывали покупки; все меньше оставалось места; все чаще старику приходилось трудиться круглосуточно, чтобы заполнять если не каталог, то хоть инвентарную опись. Книги годами не расставлялись на полках, и подчас разные тома одного и того же сочинения томились в долгой разлуке. У сэра Томаса слабели глаза; рукописи он теперь скорее узнавал наощупь, чем по заглавиям; его терзали приступы подагры. Вслед за старшей дочерью его покинула младшая — Кэтрин вышла замуж за мистера Фенвика, священнослужителя англиканской церкви. Средняя дочь Мэри отдала руку и сердце некоему мистеру Олкотту, человеку, наверное, необычайно кроткого нрава, поскольку Мэри, единственная из дочерей, помогала отцу в библиофильских трудах и после свадьбы. Что касается миссис Филипс, то, обнаружив во время одного из своих редких наездов домой на туалетном столике записку: «Элиза! В моих пожилых годах я вынужден экономить

каждую минуту, и поэтому я решил полностью занять Матильду (горничную миссис Ф и л и п с. — *В. К.*) делами библиотеки», она покинула Серлистэйн-хаус окончательно.

В последние годы Филипс, надо отдать ему должное, пытался найти библиотекаря, назначая за это 200, потом даже 300 фунтов в год. Он искренне думал, что более почетного, выгодного и развивающего умственные (и физические!) силы занятия отыскать невозможно. Старый приятель Мэдден советуется с ним в письме, куда бы определить сына — во флот или, может быть, в колониальную службу? Филипс отвечает с подкупающей непосредственностью: только библиотекарем в Серлистэйн-хаус! Уставший от жизни, интригами молодых карьеристов отстраненный от службы, потерявший любимую жену, Мэдден жалуется старому сопернику, ища сочувствия. Филипс предлагает Мэддену единственный выход: определиться библиотекарем в Филипсиану! Таков уж был этот человек.

Никто не мог бы ответить с точностью на вопрос о том, каковы же были реальные размеры коллекции к концу жизни собирателя. Каталог, который напечатал сам Филипс (только фонда рукописей!), доведен до № 23837 *; инвентарная опись, которую он вел с помощью дочерей, охватывает № 1—36 000. Но вот аккуратности сэру Томасу не хватало (равно как и времени): вначале под одним номером записывались сотни документов — лишь бы корешок у них был общий; и, наоборот, коллекция документов общего происхождения нередко разбросана по разным номерам

*

Неказистая внешне, редкая теперь книга «Catalogus Librorum Manuscriptorum in Bibliotheca D. Thomas Phillipps. Bart», in-folio, 436 p. — представляет первостатейный интерес для историка культуры. На нее есть ссылки во многих публикациях.

(кое-что при этом записано дважды). Современные эксперты количественно оценивают Филипсиану так: 60 тысяч рукописей и 50 тысяч печатных книг. И уж совсем невозможно определить ее цену материальную. Филипс хранил все чеки, все счета книгопродавцев, но многое покупалось без всякого оформления; вместе с тем порой включенные в счета названия возвращались назад, потому что Филипс браковал, как говорят англичане, «эдишн энд кондишн», т. е. издание и сохранность экземпляра. Всякая цифра тут выглядит догадкой — не более. И все же приведем наиболее распространенный вариант: Филипс затратил на библиотеку 250 тыс. фунтов, или по 5 тыс. в год на протяжении 50 лет. Он делал не менее 40 покупок в неделю. Что касается изменений масштаба цен и стоимости коллекций в последующие десятилетия, то эти цифры баснословны. О них мы еще будем иметь случай поговорить.

*

История библиофильских завещаний свидетельствует о том, что щедрость библиофила нередко странным образом изменяется обратно пропорционально времени. Если в молодости и даже в зрелых годах собиратель готов все безвозмездно завещать общественности или государственным учреждениям («нации», как говорят английские библиофилы), то в старости эти планы как-то затухают, тускнеют и подчас кончаются либо документом о «последней воле», оставляющим имущество в семье, либо распродажей библиотеки. Проектов расставания с библиотекой у сэра Томаса Филипса в разное время было множество.

Если упоминавшееся завещание 1819 г. всерьез принимать не стоит, то уже в 1827 г. Филипс, прижатый обстоятельствами и кредиторами, вступил с оксфордской Бодлеаной в переговоры, пред-

ставляющие определенный интерес. Верный своему обычаю, он обратился к руководству Оксфорда с письмом-меморандумом:

Сэр Томас Филипс, стремясь обеспечить для своего собрания манускриптов еще при жизни своей (он умер через 45 лет! — *В. К.*) надежное хранилище и предпочитая Бодлеану, которой, по его мнению, менее всех других библиотек грозит пожар, равно как и руководствуясь желанием увеличить богатства родного университета, предлагает кураторам библиотеки Бодлеана приобрести его рукописи.

Вся коллекция стоила сэру Т. Ф. около 50 тыс. фунтов, но он готов расстаться с нею во имя процветания родного университета за 30 тыс. фунтов при условиях:

1. что означенному сэру Т. Ф. будет поручено неограниченное управление библиотекой Филипсиана на протяжении всей его жизни;

2. что в четырехугольнике Бодлеаны * будет выделен для хранения этой коллекции особый зал и что она не будет ни в коей мере связана или перемешана с другими коллекциями;

3. что любую рукопись или книгу, которую сэр Т. Ф. найдет нужным перепечатать или показать кому-либо, он получит право взять из хранилища Бодлеаны в Мидл-хилл, или в Лондон, или туда, где будет находиться сам (исключая поездки на континент); при этом он должен будет оставить записку, что такая-то рукопись или книга взята им;

4. что сэр Т. Ф. может быть допущен к своей (так своей или Оксфорда? — *В. К.*) библиотеке в любую минуту и для этой цели ему будут

*

Библиотека в Оксфорде представляет собой прямоугольник зданий с внутренним двором.

вручены ключи от всех помещений, ведущих к хранилищу Филипсианы, равно как и ключ от самой библиотеки, но при этом ему не разрешается являться туда с лампой или со свечой;

5. что собрание это сохранится вечно как единое целое под названием «Библиотека Филипсиана»;

6. что никакому лицу или группе лиц не будет разрешено вмешиваться в управление коллекцией и ее устройство за исключением периодической (раз в три года) инспекции кураторов Бодлеаны с единственной целью — убедиться, что книги на месте;

7. что лишь после кончины сэра Т. Ф. библиотека может быть перемещена в другой зал, где ею удобнее будет пользоваться, но и в этом случае она будет сохранена как единое целое;

8. что кураторы дадут разрешение на устройство в помещении Филипсианы автономной обогревательной системы;

9. что кураторы разрешат присоединить ту часть коллекции Меерманна, которая находится в общем фонде Бодлеаны, к той главной ее части, которая собрана сэром Т. Ф., и что в дальнейшем путем покупок будет сделана попытка восстановить это собрание в его первоначальном виде.

Легко представить себе, какое впечатление произвела в Оксфорде эта единственная в своем роде и неповторимая декларация! Частное лицо лихо распоряжалось университетским учреждением и требовало за это 30 тыс. фунтов! Однако не возникло ли у вас ощущения, что сэр Томас затеял все это с единственной целью — библиотеку не продавать? Нужно было обладать необычайной наивностью и небывалым напором, чтобы воспринимать собственные предложения всерьез. Кстати, и коллекция в 1827 г. составляла примерно пятую часть того, чем она стала впоследствии, и не была

еще столь поразительным библиофильским явлением, как в начале 70-х гг. Видно, даже сэр Томас понимал нереальность предложения и старался придумать пункты позаковыристее, чтобы спровоцировать отказ. Соответствующий ответ не замедлил последовать. Руководство Оксфорда в безукоризненно вежливом тоне разъяснило «дорогому сэру Томасу», что университет доселе свободно распоряжался покупаемыми коллекциями; другое дело — коллекции, приносимые в дар, в этих случаях воля дарителя выполняется пунктуально; к тому же и просимой суммы у Оксфорда не имеется.

Получив этот легкий щелчок, сэр Томас вовсе не отчаялся. Он вскорости (1833) вступил в переписку с Британским музеем, сообщив, что его собрание насчитывает примерно 8 тыс. томов и 20 тыс. документов. «Вы выразили мысль, — писал сэр Томас, — что я должен быть доволен, если моя библиотека окажется в Британском музее. Едва ли кто-нибудь ожидает, что я отдам ее бесплатно после того, как затратил на нее огромные суммы. Но я готов передать коллекцию в музей, если нация заплатит мои долги...» Дело было именно в долгах — Филипсу временами казалось, что он безнадежно увяз, но каждый раз провидение оказывалось на его стороне и о передаче Филипсианы можно было временно позабыть. Даже предложенные музеем 60 тыс. фунтов его уже не соблазнили.

Вскоре Филипс стал включать в свои открытые письменные предложения и в тайные до времени завещания пункты о Холливеле и католиках: он предлагал или завещал рукописи Уэльской библиотеке, снова Оксфорду и т. д. с условиями, что в течение ста лет (пока будет жив Холливел — Филипс, видно, считал его потенциальным долгожителем) они останутся за семью замками, но и после этого к ним не прикоснется ни один като-

лик. Однако завещания переделывались, а предложения отвергались.

Так шло до начала 60-х годов, когда молва о библиотеке в Мидл-хилле стала всеобщей, и в Британском музее поняли, что со строптивым баронетом надо бы как-то поладить, чтобы Англия не потеряла истинно великое культурное достояние. Собственно, первым понял это глава Отделения печатных книг Антонио Паницци. А поняв, решил для начала польстить тщеславию уорчестерширского баронета и ввести его в совет попечителей Британского музея. Первое извещение о своем плане Паницци послал Филипсу строго конфиденциально, стараясь обставить все возможно торжественнее и таинственнее. Ответ Филипса его удивил. Сэр Томас выражал недоумение: почему Британский музей давно не привлек его к руководству — это была бы прямая выгода для музея, но и теперь он, сэр Томас, не отказывается от этой чести.

Паницци серьезно ошибался, если предполагал, что Филипс будет тихим и послушным членом совета, станет подписывать бумаги и в благодарность за оказанное доверие завещает свою грандиозную Филипсиану нации. Как бы не так — чуть ли не на другой день после избрания он направил совету попечителей разнообразные предложения и замечания.

Одно из них заслуживает особого внимания, не потеряло своей актуальности и поныне, и мы намеренно выделяем его крупным шрифтом: сэр Филипс рекомендовал музею обратиться к правительству с призывом заключить между европейскими странами ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ НА БИБЛИОТЕКИ. Эта гуманистическая идея по тому времени была просто отличной и, при всей ее утопичности, должна быть поставлена ему в заслугу.

Остальные его проекты более частные, но отнюдь не бесполезные: в 1862 г. он предложил оборудовать читальный зал Британского музея и книгохранилище телеграфной связью для ускорения доставки книг (осуществлено в 1930 г.); ввести должность лекторов-гидов для экскурсантов (осуществлено в 1911 г.) и т. п. На заседания он демонстративно не являлся, все дела вел по почте из Мидл-хилла, а когда совет попечителей без объяснения причин отверг его требование переплести все книги, выдаваемые в читальный зал, в матерчатые переплеты вместо сафьяновых, направил жалобу премьер-министру (8 июня 1862 г.). Из канцелярии премьера пришел уклончивый ответ, и сэр Томас впал в совершенное неистовство, обвинив Антонио Паницци во всех смертных грехах. К тому же ведь Паницци был католик, и Филипс вскоре публично заявил, что этот отвратительный тип специально проник в национальное книгохранилище Великобритании, чтобы отыскать там документы, компрометирующие Ватикан, и тайно эти бумаги уничтожить. Однако, мол, подлые замыслы агента католицизма обречены на провал, поскольку важнейшие документы, изобличающие папский двор в фальсификации выборов пап, хранятся не в Лондоне, а — вы догадались — ...в Мидлхилле.

В том же 1862 г., как на грех, произошел эпизод, навсегда положивший конец отношениям Филипса с музеем. Ненавистный Джеймс Холливел продал музею за 400 фунтов 68 ранних английских иллюстрированных брошюр с народными сказками и стихами. Филипс отозвался, не мешкая, письмом на имя председателя совета: «Дорогой сэр! Неужели вы приобрели для музея эти бесполезные книги у Джеймса Орчарда Холливела? Не верю ни единому его слову! Не может быть, чтобы он израсходовал на каждую из них

по 8 фунтов. Как член попечительского совета, я требую исчерпывающих объяснений по этому поводу». Ему сообщили, что вопрос о покупке давно согласован и пересмотру не подлежит, «музей не хотел бы также входить в обсуждение черт характера мистера Холливела». При таком транжирстве, возразил Филипс, музей уже давно обязан был предложить по меньшей мере полмиллиона фунтов за Филипсиану! Он грозил обратиться к парламенту, но, передумав, написал в казначейство жалобу на то, что Британский музей купил у ничтожного человека ничтожные книжонки по 8 фунтов за каждую, хотя любая из них не стоит и двух шиллингов. Казначейство вмешиваться не пожелало. Тогда Филипс нанес последний удар: «Джентльмены! Когда вы оказали мне честь, избрав меня сопопечителем музея, у меня была мысль со временем передать мои коллекции этому учреждению безвозмездно. Но пораженный полной неразберихой, царящей в библиотеке Британского музея, я заколебался в этом своем решении. У меня создалось впечатление, что музей задыхается от обилия выделяемых ему субсидий. В таком случае почему бы и мне не запросить подороже, как делают другие почтенные ученые мужи?»

На этом переписка обрывается. Тонкая дипломатия и диалектический ум Антонио Паницци, натолкнувшись на полное отсутствие таковых у сэра Томаса Филипса, потерпели жестокое поражение.

*

Итак, Британский музей как возможное место вечного хранения Филипсианы полностью себя скомпрометировал в глазах ее владельца. Филипс попытался было снова связаться с Оксфордом. Вроде бы обо всем договорились, осталось согласовать конкретные детали. И тут сэр Томас выд-

винул неожиданное требование: его, Филипса, должны назначить главным хранителем всей Бодлеаны, а нынешнего (и многолетнего) хранителя — мистера Х. Кокса его первым помощником. Кокс, хотя и принял это за шутку, с грустью писал: «35 лет мы пытаемся удовлетворить ваши требования, но тщетно». Однако сэр Томас и не думал шутить: «Если вы в самом деле надеялись видеть мои рукописи в Оксфорде, вы бы подпрыгнули от восторга, когда я предложил стать первым библиотекарем Бодлеаны с тем, чтобы вы оставались вторым». Кокс не подпрыгнул, и дело расстроилось.

Шел уже 1867 год. Нужно было искать какой-то принципиально иной выход. Филипс задумал новый гигантский план: превратить Серлистэйн-хаус в национальное учреждение, где вечно хранились бы памятники культуры, к которым имели бы доступ ученые разных стран и народов. С таким предложением сэр Томас обратился к только что вступившему в должность премьер-министру Великобритании Бенджамену Дизраэли, с отцом которого, известным писателем и библиофилом, он некогда был дружен. Тот проявил интерес к необычной идее: «Вы правы, говоря, что мой отец высоко уважал Вас и ваши приобретения, я часто слышал его слова о том, что в конце концов Ваше имя и Ваши коллекции встанут в один ряд с Томасом Бодли. Я унаследовал это отношение к Вам и имею честь заверить от имени правительства Ее Величества, что в любом случае мы будем способствовать исполнению Ваших благородных намерений. Если необходим парламентский акт, я попытаюсь лично провести его через палату общин».

Филипс было приободрился и возгордился. Но трудности оказались неисчислимыми. Королевские юристы, естественно, пожелали познакомиться с правилами пользования будущей национальной со-

кровищницей рукописей, а также подсчитать суммы, которые понадобятся на ее содержание. Но баронет не захотел даже принять их. «Я не вижу необходимости, — писал он Дизраэли, — консультироваться со знатоками права, поскольку, я полагаю, парламент издаст закон специально по данному конкретному случаю. Я предлагаю сделать мою библиотеку навсегда доступной для публики (с некоторыми исключениями и по истечении определенного времени). Я выработал конкретные правила и думаю, что акт мог бы быть сформулирован примерно так:

«Поскольку сэр Томас Филипс желает, чтобы его коллекция рукописей и печатных книг оставалась неразрозненной в течение пятисот лет, настоящим актом устанавливается, что библиотека будет действовать на основании правил и инструкций, которые будут определены сэром Т. Ф. в его завещании; упомянутая библиотека будет поддерживаться на фонды и средства, которые назначит сэр Т. Ф. и которые решением парламента не подпадут под действие налога на «мертвую руку» *, равно как и любого другого законодательного акта (в настоящем или в будущем), лимитирующего имущественные взаимоотношения. Сим актом устанавливается также, что в знак поощрения благородного поступка основателя занимаемые библиотекой помещения и земельный участок также освобождаются от налога на имущество, от подоходного налога и от местных обложений всех видов...»

«Я надеюсь, что это встретит ваше искреннее одобрение», — без малейшего чувства юмора писал Филипс премьер-министру. В ответе, выдержанном в парламентском тоне, Дизраэли дал понять, что

*

«Мертвая рука» (mortmain) — неотчуждаемое право собственности на недвижимость, облагаемую, однако, большим налогом.

парламентский акт не может быть основан на подобных условиях:

Конфиденциально

Даунинг-стрит 1867
декабря, 17.

Дорогой сэр Томас!

Я тщательно обдумал ваше благородное предложение, касающееся вашей библиотеки и коллекций, и, хотя я с особой симпатией отношусь к вашим намерениям, я не могу, в рамках моих полномочий, предложить парламенту сотрудничать с вами в осуществлении плана, который вы ныне предложили.

Палата общин, я убежден, никогда не признает и не утвердит акта о доверительной собственности *, *получаемой по завещанию, которое либо не составлено, либо может быть изменено в любую минуту до вашей кончины. Парламентарии никогда не санкционируют — я заранее знаю это — создание учреждения, все основное имущество которого, условия дара, земля и расходы по поддержанию помещений будут изъяты из-под «мертвой руки». Подобный прецедент неизвестен парламенту.*

Мне жаль, что я вынужден чинить препятствия на пути осуществления проекта столь глубокого и столь достойного одобрения, как ваш; вы сделали мне честь, проконсультировавшись со мною, но я бы никогда не решился обманывать вас и создавать ложные иллюзии.

Если я могу быть еще чем-нибудь полезен, я всегда к вашим услугам. В надежде, что вы выздоравливаете от ваших недугов,

остаюсь преданный вам
Б. Дизраэли.

*
Специальное законодательное распоряжение, предусматривающее уплату долгов, обременяющих какое-либо имущество, завещанное государству.

Филипс не любил, чтобы последнее слово — даже в разговоре с премьер-министром — оставалось не за ним. Он отправил на Даунинг-стрит длинное разъяснение о «мертвой руке», утверждая, что этот акт был принят когда-то исключительно в пику монастырям, чтобы имущество не скапливалось в руках людей, «собирающихся вместе для необузданной и бесполезной жизни». В данном случае, как полагал Филипс, консерватизм законодательства приведет к потере Англией огромного культурного достояния. Премьер-министр на этот раз деликатно промолчал.

До последнего биения сердца сэр Томас Филипс не прекращал борьбы. Он искал европейское правительство, не связанное столь «мелочными» законами или готовое пренебречь ими. Первым адресом был Берлин, но там испугались, едва взглянув на бесконечный список условий и оговорок. Уже совсем незадолго перед смертью у него возникла мысль передать коллекцию для устройства библиотеки в Норвегии; там, как писал Филипс, «библиотека должна быть расположена в 10—15 милях от столицы или торговых городов в здании из камня, железа или цинка без единого куска дерева, чтобы избежать малейшего риска пожара...»

Не сомневайтесь — варианты множились бы и множились, но ведь естественной силой вещей какой-то из них должен был стать последним. Такой текст завещания (после 50 лет раздумий, колебаний и перемены замыслов!) был подписан 1 февраля 1872 г. со всеми формальностями, в присутствии юристов, будущих опекунов и т. д. Собралась, разумеется, и вся семья (кроме Холливелов). Генриетта умоляла отца разрешить ей прибыть за последним прощением — он отказал. Муж младшей дочери Кэт, преподобный Фенвик предложил Филипсу помолиться вместе с ним у

врат иного мира. «Я сам за себя помолюсь», — был ответ.

7 февраля Филипс умер. 20 февраля Холливелы обратились к королеве с петицией о перемене фамилии (вспомним завещание Филипса-деда) — указ последовал в марте.

Старый Мэдден записал в дневнике 8 февраля: «В «Таймс» прочитал я сегодня утром объявление о кончине сэра Томаса Филипса в Серлистэйнхаусе — на 80-м году жизни. Я не поражен и, по правде говоря, не убит горем — очень уж недружелюбным было отношение его ко мне в последние годы. Из любопытства мне хотелось бы знать, как распорядился он насчет своих рукописей и нашел ли способ предотвратить их распыление. Не удивлюсь, если его завещание будет юридически оспорено».

10 февраля 1872 г. журнал «Атенеум» поместил некролог, написанный в восторженных тонах: покойный был назван не только достойным ученым, но и «одним из образованнейших людей своей эпохи». Автором некролога был известный знаток Шекспира, член всевозможных научных обществ, знаменитый коллекционер Джеймс Орчард Холливел.



Глава пятая, в которой вскрывают завещание сэра Томаса и раздается всеобщий тяжкий вздох



«Гамлету» без принца датского уподобил Алан Манби 5-й том своего документального свода «Изучение Филипса». В самом деле, драма (трагедия?) продолжалась, страсти достигали подчас не меньшего накала, чем в первых актах, но главный герой растворился в небытии и присутствовал разве только (уж доведем уподобление до конца!) в виде бесплотной тени. Зато на просцениуме оказалась теперь прекрасная принцесса Филипсиана и ее главный телохранитель Томас Фицрой Фенвик, который скоро подойдет к рампе, и мы сможем разглядеть его внимательно.

Завещание Филипса на общую сумму примерно 120 тыс. фунтов (сюда не включена стоимость коллекции и всего имущества, доставшегося Филипсу по наследству и теперь отходившего к Холливелам), безусловно, было документом единственным в своем роде и неповторимым. Леди Филипс в благодарность за долготерпение он оставлял «поощрительные» 100 фунтов (sic!), оговаривая, правда, что она имеет право забрать назад три тысячи фунтов своего приданого и, таким образом, будет удовлетворена. Не-

большие фермы и дома, приобретенные им лично, были завещаны разным людям — не только родственникам, — носившим фамилию Филипс. Должен же был сэр Томас показать себя достойным отпрыском давно усопшего родителя! Наконец, то, что нас больше всего интересует, — Серлистэйн-хаус со всем его содержимым становился собственностью младшей дочери завещателя Кэтрин Фенвик, с тем, чтобы после ее смерти библиотека перешла к третьему сыну Фенвиков — Томасу Фицрою, деловые способности которого и интерес к книгам дедушка вовремя приметил.

Казалось бы, для особенно тяжких вздохов нет оснований, но, увы, тишь да гладь была совершенно кажущейся. Завещание обставлено таким частоколом из невыполнимых, абсурдных и в лучшем случае неудобных условий, что впору в отчаяние прийти. Начать с того, что по воле завещателя все рукописи и все книги должны всегда оставаться в том самом помещении (зал, шкаф, полка), в котором они находились в час смерти Филипса; никакая редкая книга, а тем более рукопись, не может быть вынесена из библиотеки даже на самое кратчайшее время; никто посторонний, в том числе книгопродавцы и эксперты (за исключением членов специального опекунского совета, учрежденного Филипсом), не может быть допущен в библиотеку в отсутствие Кэтрин Фенвик или ее мужа. Но им самим, равно как и внуку — будущему владельцу, Филипс не разрешал что-либо трогать или изменять в библиотеке. Ни у кого уже не вызовут удивления еще два категорических условия: ни одно лицо, принадлежащее к римско-католической церкви, не должно появляться на пороге дома, где находится Филипсиана; этот же запрет распространяется на мистера и миссис Холливел и на их потомков в любом поколении. Филипс не забыл оговорить, что в помещении библиотеки запреща-

ется устанавливать воздушное отопление и газовые горелки. И все же не это было наиболее обременительным для Фенвиков — Филипс оставил совершенно ничтожные средства на ремонт, приобретение мебели и другие расходы по содержанию библиотеки (их и на пять лет не хватило бы!) и при этом потребовал, чтобы ученые всей земли за перечисленными исключениями не только принимались, но, при наличии у них надежных рекомендаций, активно побуждались к использованию богатств Филипсианы. И при этом Фенвики не имели права продать ни единого листка! А поместья, доставлявшие приличный доход (7/8 всего капитала Филипса), достались Холливелам! Вот уж подлинно «мертвая рука».

Филипс поручал одному из своих друзей (С. Гелу) подготовить и издать полный научный каталог документов, хранящихся в его библиотеке. Этот пункт Мэдден назвал самым «наглым» из всех, поскольку за каталог, который должен был охватить примерно 50 тысяч номеров, никакого вознаграждения составителю не предусматривалось. Покойный баронет требовал также, чтобы печатные станки Серлистэйн-хауса были использованы для публикации собранных им материалов по истории различных стран и его собственных неизданных работ, «частично уникальных». По этому поводу Мэдден писал в раздражении: «Что до завершения его работ и печатания его рукописей, то, предай наследник все это огню, потери не было бы никакой!»

Преподобный Джон Фенвик, на которого свалился этот «неотчуждаемый» культурный багаж, библиофильских эмоций не испытывал и вообще был человеком порядочным, но несколько ограниченным. Он выразился вполне определенно: «Сэр Т. никого не любил при жизни и, я полагаю, доказал, что не желает никому добра после смерти». Сказав это, он замолчал. Зато расшумелись газеты. «Морнинг эдвертайзер» 20 февраля 1872 г. писала:

«Среди самых жестоких мучений, какие испытывают англичане в имущественных делах, остается право мертвых контролировать поступки и намерения живых. Сколько жизней погублено указующим перстом из могилы, когда условия завещаний диктуются не чувством, а капризом. Жизненные обстоятельства постоянно меняются, вступая во все новые и новые сочетания, а имущество, завещанное предками, и условия, с этим связанные, превращаются в подлинную тиранию и тяжкое бремя. Яркий пример такого рода — завещание покойного сэра Томаса Филипса. Этот человек был тестем известного комментатора-шекспироведа мистера Холливела, который, в соответствии с законом, унаследовал его недвижимое имущество. Однако сэр Томас пронес через всю жизнь две страсти: ненависть к всемирно известному шекспироведу и к римской католической церкви».

Поистине лучше быть живым жуликом, чем мертвым порядочным человеком с дурным характером: можно и лицемерный некролог напечатать и всеобщего сочувствия удостоиться. Кажется, только один человек не встал тогда на сторону «обиженного шекспироведа» — его собственная жена. Ей было жаль утраты Мидл-хилла, который с прохудившейся крышей и залитыми водой полами, треснувшими колоннами, выбитыми оконными стеклами за бесценок достался чужим людям; и еще ей было горько, что память о ее эксцентричном (мягко говоря) и нелепом в глазах окружающих отце осталась однобокая и несправедливая. Не выдержав всего этого, Генриетта Холливел-Филипс тяжело заболела и последние семь лет жизни провела в постели.

Но завещание-то и в самом деле было практически неисполнимым. Ну, допустим, Холливел не станет вмешиваться в дела библиотеки и не поедет в Серлистэйн-хаус. Но как добиться, чтобы

там не появлялись католики? На человеке вероисповедание не написано. Анкету заполнять? Или специальное объявление вывесить? Если же оспорить хотя бы один пункт завещания, придется получить на это санкцию лорда-канцлера — не ниже. Да, в трудное положение поставил сэр Томас семью своей младшей дочери. Здесь уже проглядывает не столько добрая улыбка Диккенса, сколько едкая ирония Свифта.

Чего только не предпринимали Фенвики! Обращались к Британскому музею с просьбой найти юридическую формулу, которая позволила бы передать коллекцию этому государственному учреждению, скажем, за 150 тыс. фунтов. Деньги у музея были, формулы не нашлось. Пытались объявить подписку среди частных лиц, которая позволила бы содержать библиотеку в относительном порядке, — ничего не вышло. Затем додумались брать с каждого посетителя библиотеки по 1 фунту за день занятий. Поместили объявление в газетах: выписки из книг можно было делать бесплатно, а копирование документов требовало доплаты. Последняя идея оказалась достаточно плодотворной, и Фенвики какое-то время продержались. Но вскоре выяснилось, что лишь немногие люди науки способны выдержать хоть несколько дней занятий по такому тарифу — ведь за научные публикации фактически ничего не платили, и ручеек посетителей Филипсианы мелел на глазах. Фенвики стали допускать к занятиям бесплатно наименее обеспеченных молодых исследователей, но это вызвало раздоры. Нашлись люди, обвинявшие наследников Филипса в том, что они «торгуют литературой». Ссылались на пример истинного бескорыстия, какой являл собою усопший основатель библиотеки. «Благодарная филантропия не может сочетаться с материальными мотивами» — утверждали оскорбленные посетители Филипсианы. «Я инстинктивно протестую, когда приходится пла-

тить за приобщение к слову божьему», — возмущался некий исследователь библейских текстов. Недоразумения случались и с рекомендациями — заокеанские гости, прослышавшие о Филипсиане, говорили, что им неведомо само понятие «рекомендация», и гордо показывали паспорта граждан США, которые, мол, лучше всяких рекомендаций.

Этот кошмар в доме Фенвиков казался совершенно непреодолимым до тех пор, пока, окончив Оксфорд, домой не возвратился будущий законный владелец коллекции, внук баронета — Томас Фицрой Фенвик.



Глава шестая,
в которой
внук оказывается непохожим на деда,
а Филипсиана выходит из заточения



Пятьдесят лет библиофильских трудов понадобилось сэру Томасу Филипсу, чтобы собрать крупнейшую в Европе коллекцию рукописей и книг; чтобы запутать ее до такой небывалой степени, когда найти нужный документ, а иногда и редчайший том совершенно невозможно; чтобы поссориться с книжным и ученым миром и восстановить против себя всех, с кем соприкасался.

Пятьдесят лет (специально этому посвященных!) понадобилось Томасу Фицрою Фенвику, чтобы всесторонне изучить дедовскую коллекцию; чтобы распутать, хотя не до конца, ее узлы и нити; чтобы восстановить или наладить деловые отношения с книжной Европой и Америкой; чтобы вместо вечных долгов, безденежья и безалаберности, от которых буквально задыхался его дед, принести в Серлистэйн-хаус не просто благополучие — богатство и процветание. Разумеется, Фенвик был человеком иной эпохи и иного склада — занимаясь всю жизнь «библиофилией навыворот» (только продавал ведь, не покупая!), он преследовал прежде всего коммерческие, а не культурные цели. Но объек-

тивность требует признать, что без систематических, пусть и не лишенных корысти, усилий внука, эффект хаотической деятельности деда был бы куда менее заметным — при всем его бескорыстии и благородных целях.

Итак, в 1879 г. выпускник Оксфорда прибыл в отеческие (дедовские) пенаты. Первое, что он сделал, — взял на себя всю корреспонденцию, связанную с Филипсианой, а вскоре и всю ответственность за библиотеку. Убедившись, что парламентский акт об освобождении от налогов — дело неосуществимое, Фенвик-младший решился начать кампанию, если не беспрецедентную, то крайне редкую в условиях тогдашней Англии — он обратился в верховный суд (суд лорда-канцлера — так его еще называли) с иском об отмене некоторых пунктов завещания сэра Томаса Филипса-баронета. Главный из этих пунктов — полный запрет продажи каких бы то ни было книг и рукописей. В исковом заявлении Фенвик доказывал, что: 1) рукописи хранятся в ужасных условиях; завещатель фактически запретил к ним прикасаться и не оставил средств на переоборудование хранилища; 2) библиотека заполонила дом и лишает семейство Фенвиков нормальных условий жизни; 3) коллекция может в любой день погибнуть от огня или иных стихийных бедствий; между тем она даже не застрахована, поскольку на оплату страхового полиса нет денег; 4) даже в том случае, если будет дано разрешение на продажу только дублетов Филипсианы, этого хватит, чтобы содержать дом, сад, слуг.

Волокита заняла «всего» несколько лет. 23 ноября 1885 г. было принято знаменательное для европейской библиофилии решение (известно, какое огромное значение в британской юстиции имеет прецедент): наследники и душеприказчики Томаса Филипса получили право по своему усмотрению распоряжаться собранной им коллекцией. Проследив

за медленным, но неуклонным процессом «расползания» Филипсианы, мы не только обнаружим резкий контраст в «библиофильском поведении» деда и внука, но и получим более полное представление о составе коллекции.

Фенвик был склонен к максимальной оперативности: уже летом 1886 г. фирма Сотби начала первую распродажу печатных книг — дублетов Филипсианы. Но это был только начальный робкий шаг. Фенвик справедливо рассудил, что многие рукописи или целые собрания рукописей ему будет выгоднее продать по частным соглашениям, чем через аукционеров, которым надо платить комиссионные. Это касалось прежде всего документов, когда-то купленных его дедом в странах континентальной Европы; теперь настали иные времена, и правительства, а также крупные библиотеки этих стран непрочь будут заплатить высокую цену, чтобы вернуть национальное достояние. Начал Фенвик с самой цельной, а может быть и самой ценной части коллекции — документов из собрания Меерманна. На основе прежнего дедовского (неаккуратного и неполного) каталога он подготовил и выпустил в 1886 г. грамотный и научно точный каталог собрания Меерманна *. 29 июля 1886 г. Томас Фицрой Фенвик писал в Берлин историку Теодору Моммзену: «Вероятно, вы видели в некоторых газетах объявления о том, что часть наших печатных книг будет продаваться в течение семи дней, начиная с 3 августа. Мы также предполагаем расстаться с некоторыми нашими рукописями, а именно с собранием Меерманна... Я вспоминаю, что, будучи здесь в прошлом году, вы особенно просили меня известить вас о возможной продаже этих рукопи-

*

Bibliotheca Phillippica: a Catalogue of the Phillipps Manuscripts numbers 1388—2010. Cheltenham, 1886.

сей, поскольку, как вы полагали, ваше правительство обрадуется возможности приобрести их». Фенвик, настаивая на строгой секретности переговоров, просил Моммзена связаться с Берлинской библиотекой и назначал конкретную сумму за все документы из собрания Меерманна, хранившиеся у Филипса, — 14 тыс. фунтов. Началась довольно длительная и мелочная переписка, в ходе которой покупающие доказывали, что то, что они хотят купить, — в общем-то, не столь уже ценно, а продающий убеждал их, что он готов отдать дешево то, что стоит гораздо дороже. Вступил в действие живучий закон всяких торговых операций, включая и сделки о продаже материализованной мысли человечества — книг и рукописей!

Фенвик блестяще изучил свой товар! Он соглашался с тем, что в коллекции Меерманна наряду с бумагами исключительной исторической ценности собрано много чепухи, но в ином случае, по его мнению, она стоила бы не 14, а 40 тысяч. Манби считает, что в сопоставимых ценах стоимость рукописей Меерманна с момента покупки их Филипсом увеличилась в десять раз. Не вдаваясь в валютную сторону дела, все же приведем несколько цифр. В 1764 г. Меерманн заплатил 120 тыс. франков за 850 рукописей из монастыря Клермон; в 1824 г. Филипс (за всю коллекцию минус рукописи, ушедшие в Оксфорд) — 1503 фунта; в 1886 г. Фенвик продал ее в Германию за 14 тыс. фунтов. В 1946 г. только одна ранняя рукопись Светония «Жизнь двенадцати Цезарей» (№ 1940 по каталогу Филипса — Фенвика), оказавшаяся волею судеб снова на аукционе у Сотби, стоила больше, чем все вместе взятое в 1886 г.! В целом же коллекция Меерманна ныне оценивается во всяком случае шестизначной цифрой.

Продажа бумаг Меерманна имела для Фенвика значение не только как первая удача — хотя по-

лученная сумма составляла примерно два годовых дохода его дедушки — но и как важный прецедент. Практичный внук непрактичного деда рассчитал точно: уже через несколько дней после сделки с Берлином он получил письмо от властей голландской провинции Утрехт.

Дело в том, что Филипс приобрел на аукционе в Лейдене в 1826 г., где распродавалась ценная частная библиотека, подбор документов, некогда без какого-либо разрешения «заимствованных» из голландских архивов неким Питером Бондамом. Теперь голландцы в письме к Фенвику выражали опасения, как бы эти уникальные для истории их страны материалы не оказались предметом случайных распродаж и не разлетелись прежде, чем правительство Голландии выделит для их приобретения необходимые ассигнования. Фенвик внутренне ликовал: наживка под названием «Меерманн» сработала безотказно. Теперь надо было только с максимальной осторожностью тащить леску, чтобы рыба не сорвалась. Голландские архивисты прислали депутацию в Серлистэйн, и после длительных споров и взаимных уступок 76 манускриптов особого значения, а также 14 ящиков неразобранных (вот она, особенность Филипсианы!) голландских бумаг, купленных Филипсом в 1826 г., вернулись в Амстердам — за 2 тыс. фунтов.

Бельгийцы последовали примеру соседей: 211 рукописей и несколько сот первопечатных книг на пергамене, некогда принадлежавших бельгийским монастырям и церквям, были отправлены в Брюссель. Не будем каждый раз подсчитывать приращение капиталов внука сэра Томаса (интересующиеся найдут цифры в пятитомнике Манби). Подчеркнем только, что с каждым месяцем бедняки Фенвики, еще недавно обремененные бесполезным, раздражающим, громоздким бумажным хламом, превращались в респектабельное семейство, обеспеченное на-

дежным дедовским наследством, приносящим материальное процветание и духовное удовлетворение.

С этого (1886) года и буквально по сей день волшебная пружина, завещанная Томасом Филипсом, распрямляется, выбрасывая в мир науки и литературы новые и новые чудеса; заколдованный книжный источник не иссякает, вызывая радостное удивление ученых, библиографов, книгопродавцев, библиофилов. Даже малую малость перечислить невозможно — по ходу дальнейшего рассказа ограничимся лишь некоторыми примерами и одной вставной историей...

Уэльские библиотекари предприняли шаги для спасения национального валлийского наследия. 700 рукописей (или групп рукописей), купленных ими, сразу же превратили Кардифф в основной центр по изучению истории Уэльса, каковым ему и надлежит быть.

Огромны были франкоязычные (и посвященные Франции — латиноязычные) богатства Филипсианы. В 1904—1908 гг. Фенвик вел затяжную (по 110 писем с каждой стороны) и трудную переписку с Национальной библиотекой в Париже. Не обладая большими капиталами, французы просили рассрочку на ряд лет (по 1000 фунтов в год) или хотя бы заблаговременную информацию об аукционных распродажах французских бумаг. Надо заметить, что если вначале Фенвик проявлял жесткость по отношению к любым покупателям и не шел на компромиссы, то с годами, разбогатев и став знаменитым в книжном мире, он готов был со вниманием отнестись к рукописям не только как к валютному эквиваленту, но и как к национальному достоянию. Однако, получив от французов список 150 важнейших манускриптов, которые они просили немедленно продать в розницу, он наотрез отказал. Это был бы явный убыток для коммерсанта, а Фенвик вполне вписался в XX век, более

четко отделивший словесность от коммерции, чем мягкотелый XIX. После «упорных боев», в 1908 г., Национальная библиотека получила 272 манускрипта, в том числе: 30 монастырских архивов (начиная с XI в.), два подлинных ранних устава французских университетов; превосходную коллекцию актов, грамот, указов и других средневековых французских документов (с X в.). В Париже был издан каталог всех купленных материалов с приложением — списком касающихся Франции документов Филипсианы, попавших в другие руки *.

С англичанами Фенвик был суров. И, может быть, не совсем без оснований? Конечно, задним числом говорить легче, но все же: почему бы не смягчить ввозные пошлины на документы в 1820-х годах? Почему бы не помочь Филипсу избавиться от притязаний Холливела? Почему бы не увидеть за эксцентричностью баронета его фанатичную душу библиофила? Почему бы не сделать попытку разобраться, что именно хранится в Мидл-хилле? Словом, с англичанами внук сэра Томаса был нелюбезен. Британский музей хотел было купить документов и редких книг на 20 тыс. фунтов, но правительство выделило... по 2 тысячи в год сроком на три года. Фенвик с порога отвергал подобные предложения. Оксфорд и Кембридж присоединили свои скромные финансы к фондам национального книгохранилища, образовав своего рода синдикат «объединенные библиотеки» (в архивах имеются протоколы заседаний). Фенвик до поры до времени позволял им на основании каталогов и справочных списков составлять всевозможные desiderata и проекты закупок. Более всего их соблазняли иллюми-

*

Этот каталог — научное описание важной части Филипсианы: Catalogue des manuscrits latins et français de la Collection Phillipps aquis en 1908 pour la Bibliothèque Nationale. Paris, 1908.

нованные средневековые рукописи, но владелец отказывался расстаться с этой частью собрания; внимательно были изучены латинские классики: в основном это оказались итальянские копии XV в., общая оценка которых, предложенная «объединенными библиотеками», составляла 2800 фунтов; 221 раннепечатная и 346 рукописных библий и молитвенников, по мнению «объединенных библиотек», стоили 4700 фунтов; греческие рукописи разного рода (278 номеров) — 1300 фунтов. Фенвик рассмеялся в лицо представителям «библиотечного консорциума», когда они явились к нему со своими выкладками. Никаких патриотических сантиментов он не испытывал: Филипсиана есть его наследственное имущество, которое должно быть реализовано по максимальной цене. Все пойдет на аукцион!

*

Однако на аукцион пошло не все. В разные годы были совершены некоторые крупные сделки без посредников. И здесь мы должны несколько отвлечься, чтобы упомянуть о наметившемся с конца прошлого века важном явлении в мировой культурной истории. Подобно тому, как после наполеоновских войн Франция постепенно уступила свое место первой библиофильской державы Англии и западноевропейские книжные и рукописные богатства поплыли через проливы; подобно этому — но в несравненно бо́льших масштабах — уже с середины прошлого века началась «перекачка» европейских культурных ценностей за океан. Сначала едва заметным ручейком, потом окрепшей рекой, потом бурным потоком европейские сокровища духа (не только книги и рукописи!) понеслись в разбогатевшую, не знавшую войн, потянувшуюся к духовной пище Америку. Первая гутенберговская Библия (ныне она в Нью-Йоркской публичной биб-

лиотеке) была куплена на аукционе в Лондоне в 1847 г. за 500 фунтов. Цена показалась тогда чудовищной даже покупателю-миллионеру Джеймсу Леноксу. Он едва не уволил своего агента Генри Стивенса, который оправдывался тем, что «дальше будет дороже». Посылая другому магнату в США экземпляр той же книги, Стивенс писал: «Умоляю задуматься на мгновение и оценить всю редкость и значение этой изумительной посылки из Старого света в Новый. Это не просто первая Библия, но превосходный экземпляр первой книги, когда-либо вообще отпечатанной. Ее читали в Европе почти за полвека до того, как была открыта Америка. Принимая во внимание все это, прошу вас рекомендовать вашему представителю в таможне снять шляпу в присутствии этой первой книги и ни на мгновение не поворачиваться к ней спиной, пока ящик будет открыт. Не допускайте, чтобы безбожные и вороватые политические интриганы прикасались к ней взором или руками. Лицезрение и осязание сейчас не доставит им никакой радости, а Библия может пострадать».

О том, насколько дальновиден оказался Генри Стивене (кстати, кажется, первый человек, нажившийся на продаже европейских книг в США!), читателю напоминать не приходится. Постепенно в США возникли несколько, я бы сказал, денежных центров притяжения европейской книжной культуры. И первыми среди них следует назвать библиотеки миллиардеров Пирпонта Моргана и Генри Хантингтона. Их агенты (которым Генри Стивене показался бы нищим авантюристом) скупали оптом книжные сокровища всего мира, скопившиеся в Европе. В XX веке уже не мелочились: покупали, не глядя, библиотеки, загородные дома — вместе с картинами, фарфором, мебелью, слугами и библиотекарями. Но рассказ об этом увел бы далеко. Невеселая тема американского «законного» ограбления

книжной Европы на конкретных примерах еще возникнет по ходу событий. А сейчас вернемся в Серлистэйн-хаус.

Библиотекарь Морганов Белль да Коста Грин (в 1924—1948 гг. она была директором публичной библиотеки, основанной Морганом-младшим) в 1916 г. прибыла в Серлистэйн-хаус. Фенвик скромно положил перед нею Ветхий завет — всего 43 пергаменные страницы с 86 превосходными миниатюрами, выполненными парижским художником XIII в. В 1604 г. польский кардинал Бернард Мацейовский, владевший этим экземпляром, отослал его в дар национальному герою Персии Шаху-Аббасу, который приказал на полях книги сделать описание каждой миниатюры на персидском языке. Так что рукопись получилась совершенно необычайная *. Мисс Грин обставила свой визит весьма таинственно и после обмена шифрованными телеграммами с патроном купила сокровище персидского шаха за 10 тыс. фунтов. Как тут не вспомнить «баснословную» цену в 500 фунтов, заплаченную Стивенсом в 1847 г.! Но это была не первая покупка Морганов у Фенвика. Еще в 1905—1906 гг. Пирпонт Морган-старший через своих агентов приобрел в Серлистэйн-хаусе пять громоздких средневековых переплетов, украшенных серебром, эмалью, драгоценными камнями и янтарем. Под массивными крышками скрывались совершенно ничтожные рукописи; но Морган мог считать себя еще начинающим библиофилом-миллионером и охотно заплатил за камни. Эти переплеты, кстати, были украдены когда-то графом Либри (см. часть третью) во Франции и куплены Филипсом на распродаже его библиотеки в 1862 г.

*

В Филипсиане не хватало двух листов из нее — один был в Национальной парижской библиотеке, второй у американского библиофила Коккерела. В 1927 г. Роксберский клуб выпустил научное описание рукописи.

Вместе с «ювелирными» переплетами Моргану-старшему досталось Евангелие, которое герцогиня Тосканская Матильда подарила бенедиктинскому монастырю близ Мантуи в 1097 г. Уже в 1907 г. Морган заплатил за эту великолепную рукопись 8 тысяч фунтов. Мисс Грин купила помимо Ветхого завета еще Диоскорида (рукопись X в., но подлинную, а не «прошедшую через Симонидиса»), а также Евангелие, писанное в Кельне в XI в. Обе эти рукописи пыталось выторговать у Фенвика германское правительство, но Морган оказался «покрепче».

Из длинной серии визитов к Фенвику посланцев американских магнатов от библиофилии остановимся еще только на одном, для Фенвика весьма знаменательном и для истории книгособирательства немаловажном. В 1923 г. после мисс Грин, после главы знаменитой книжной фирмы Бернарда Кворича, после правительственных и частных распродаж, после 20 аукционов (1876—1922) в Челтенхэм пожаловал сам Эбрахэм Розенбах («доктор», как почтительно именовала его вся книжная Европа и Америка; Рози, как называли многочисленные друзья). Розенбах, если правдиво и коротко, без преувеличения, сформулировать его роль в книжном мире, был крупнейший перекупщик-спекулянт. Он комплектовал библиотеки американских толстосумов, не чураясь и поручений государственных книгохранилищ и, надо сказать, делал это с тонким знанием книги, колебаний книжного рынка, психологии своих клиентов по обе стороны океана. Розенбах, конечно, и сам обладал превосходной коллекцией книг и рукописей, которая при его жизни постоянно меняла состав, поскольку обычно всякая книга обретала у него лишь временное, иногда долгое, пристанище в ожидании богатого покупателя. Розенбах был человеком талантливым, но, как признают даже его восторженные американские биогра-

фы, — с таким же успехом мог торговать «книжными коллекциями, как и железными дорогами». К началу 20-х гг. Розенбах ясно обозначил свою цель: прибрать к рукам весь мировой букинистический рынок, чтобы первоклассные книжные ценности проходили только через него. Американские книговеды считают, что он почти достиг этого, с царственным видом швыряя колоссальные суммы на аукционах (но перепродавая все-таки еще дороже!). При этом он выдавал себя в Европе вовсе не за комиссионера, а за «известного американского собирателя книг».

Вот этот человек в 1923 г., в зените своей славы, явился под гостеприимный кров Томаса Фицроя Фенвика (так хотелось бы описать встречу его с Томасом Филипсом!).

Розенбах купил у Фенвика переписку первых канадских военачальников в шести томах и с выгодой перепродал ее государственным архивам Канады. Индульгенция на пергамене, отпечатанная Гутенбергом в Майнце в 1455 г., отправилась через Розенбаха к Моргану. Любопытная история произошла с образчиком ранней Американы — книгой Брэдфорда «Законы и постановления Генеральной ассамблеи провинции Ее Величества, называемой Нью-Йорк» (1693—1694). Книга эта, разысканная Розенбахом у Фенвика, и сама по себе считается редкой и ценной. К тому же обе крышки переплета были набиты старой бумагой, оказавшейся листами, отпечатанными в самой первой типографии Соединенных Штатов. Продав эти листы Нью-Йоркской публичной библиотеке, Розенбах, конечно, не заплатил за них Фенвику ни копейки.

«Да будет Вам известно, — писал Розенбах одному из своих богатейших клиентов Генри Хантингтону, — что я единственный книготорговец, которому удалось до сих пор обозреть библиотеку Филипса. Я был гостем мистера Фенвика в Чел-

тенхэме три дня и внимательно познакомился с коллекцией». Помимо названного, Розенбах купил рукописи Чосера; средневековые портолано (карты) и атласы; большое собрание документов, относящихся к американским колониям Англии (в двух томах); средневековые испанские рукописи; три ранних издания путешествий Колумба и четыре — Веспуччи. Наконец, он, не торгуясь, за 20 тыс. фунтов увез в США все оставшиеся в Филипсиане инкунабулы. Их было 774! На то, что попало к Розенбаху, Филипс некогда истратил 500—600 фунтов, американский гость — 50—60 тыс. фунтов. Теперь это стоит миллион.

Что и говорить — деловым человеком оказался Томас Фицрой Фенвик, но куда более хитрым и искушенным был Эбрахэм Розенбах. Он с полнейшей искренностью восхищался средневековыми переплетами и миниатюрами, столь прекрасно сохранившимися, будто они созданы только вчера; он называл то, что происходит с ним в Серлистэйне, «сном книжника», и в то же время исподволь вовлекал Фенвика в орбиту своих спекуляций, убеждая доверить ему, Розенбаху, реализацию всего, что осталось от сокровищ сэра Томаса. Фенвик не совсем поддался, но все же важному принципу всегда оставаться собственным «книжным агентом» изменил: Розенбах нажил на трехдневном визите 32 тысячи долларов! После этого «доктор Рози» побывал у Фенвика еще дважды; главный трофей его последней атаки — французская рукопись Фуа «Книга охоты» с 88 миниатюрами, написанная и иллюминованная в 1387 г. для герцога Бургундского.

Надо с грустью заметить, что небогатых ученых Фенвик встречал вовсе не так приветливо, как богатых и подчас совсем неученых библиофилов. Славная традиция предоставления рукописей для работы то и дело нарушалась: Фенвик много путешествовал, а в свое отсутствие никого к Филипсиане

не допускал. Правда, плата (1 фунт за день занятий) больше не взималась, но и сами занятия становились нечастыми. Фотографировать в библиотеке было категорически запрещено — Фенвик был убежден, что фотография даже небольшого фрагмента удешевит рукописи.

*

Наш рассказ остался бы неполным, если бы мы не дали хотя бы короткого обзора аукционных распродаж Филипсианы. С 1886 по 1914 г. было проведено 16 аукционов в зале Сотби, давших Фенвику более 70 тыс. фунтов. При этом собрания документов, прежде единые, продавались в розницу; подчас разделялись даже средневековые рукописи, переписанные в одном и том же монастыре. Владелец библиотеки в принципе нес на этом потери, но он уже не мелочился. Первые три аукциона были полностью отданы дублетам Филипсианы. Затем пошли вещи посерьезнее. На четвертом аукционе в центре внимания были Цицерон (издание 1465 г.) и «Естественная история» Плиния (венецианское издание 1469 г.). Одновременно продавались письма частных лиц, в том числе Дефо, Ливингстона, Ньютона, Свифта, Бенджамина Франклина и даже Джорджа Вашингтона. У сэра Томаса хранилась также переписка Томаса Бодли — основателя знаменитой Оксфордской библиотеки, которая и приобрела документы на аукционе.

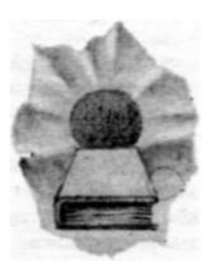
19 июня 1893 г. на шестом аукционе началось самое интересное — распродажа рукописей. Дороже всего в этот день стоила рукопись Вальтера Скотта «Жизнь декана Свифта» — за 230 фунтов ее «отбил» глава английской торговой фирмы Б. Кворич по поручению американского библиофила-миллионера Роберта Хое (в 1912 г. при грандиозной распродаже коллекции Хое рукопись эту с боем вырвал Розенбах почти за 2 тыс. долларов).

На седьмом аукционе (1895) продавались документы английских королей, а также ранние пергаменные рукописи сочинений античных авторов (Вергилий, Катулл). Знаменитый английский поэт, художник и общественный деятель Уильям Моррис 23 марта 1895 г. писал приятелю: «Если вас интересуют дела аукционные, расскажу о распродаже Филипса, идущей вот уже третий день. За коекакие книжечки я даже пытался побороться. За сочинения Аристотеля (рукопись XIII в.) с тремя очаровательными инициалами, но слегка подпорченным началом и концом я с большими колебаниями предложил 15 фунтов, предупредив, что это мой максимум. Ха! Она дошла до 50 фунтов!!. Порадуйтесь со мною: я все же купил 82 манускрипта, но, клянусь, впредь никогда не куплю ни одного!» Последнее восклицание типично для библиофила, потратившего больше, чем позволяют средства и диктует разум, но подобные клятвы редко исполняются. Уже в 1896 г. Уильям Моррис приобрел еще две рукописи из Филипсианы...

И все же буря, возникшая вокруг сокровищ сэра Томаса, об истинных масштабах которых долгие годы никто не подозревал, понемножку стихала. Открытия становились реже. Вот, например, всего за два с небольшим фунта был куплен Гарвардским университетом том Валерия Максима (рукопись XIV в.), а потом выяснилось, что это личный экземпляр Петрарки с его пометами! Утомленный, как видно, Фенвик порой допускал ошибки. Аукционы 1920—1930-х гг. не могли соперничать с довоенными. Мировой экономический кризис сбил цены. Два томика Данте (XV в.) стоили теперь 29 и 16 фунтов, первое печатное издание Аристофана (инкунабул) — 58 фунтов. Всего с 1919 по 1938 г. были проведены шесть аукционов на общую сумму 25 тыс. фунтов.

Томас Фицрой Фенвик сделал огромное дело,

которое, несмотря на свою коммерческую подоплеку, имеет и важное культурное значение: он раскрыл человечеству богатства Филипсианы, выпустил из темницы бесценные рукописи и книги, которые долгие годы оставались под спудом. Но в сложном и подчас странном явлении, которое называется книжным собирательством, существуют не только общие, но и личные психологические мотивы. И тут пристрастия потомков могут разойтись: за домашним тиранством, скверным характером и чудачеством деда для кого-то мелькнет вдруг благородная душа идеалиста-книжника; а за научным подходом и рационалистичностью внука — холодное сердце торговца книжным имуществом.



Глава седьмая, в которой завершается «век внука» и происходит последний поворот в судьбе Филипсианы



Читатель помнит, что наша история начиналась с несостоявшейся встречи Алана Манби с Томасом Филипсом. Между тем в его доме будущий исследователь Филипсианы все же побывал и с 82-летним мистером Томасом Фицроем Фенвиком побеседовал. Это произошло в 1938 г. Манби и не подозревал тогда, что пройдут годы и в хранилище Оксфордского университета он станет изучать необъятный документальный архив Томаса Филипса. Цель его визита к Фенвику была совсем иная — молодой библиофил и библиограф хотел познакомиться с остатками знаменитой коллекции и послушать рассказ о ней. Это был тот самый случай, когда историк, отправившись в дорогу за прошлым, вдруг с изумлением обнаруживает, что оно еще остается настоящим — живет, пульсирует, страдает и радуется.

Серлистэйн-хаус производил впечатление изысканного дворца — осколка старой Англии, сохранившегося после первой мировой войны и дожившего до начала второй. Бесконечные анфилады комнат, огромные зеркальные залы, галереи со стек-

лянными потолками-крышами; массивная мебель времен королевы Виктории; персидские ковры, портреты предков и другие работы мастеров на стенах. У посетителя могла возникнуть естественная мысль: как любовно и бережно сохранил мистер Фенвик дом точно в таком виде, в каком он был при баронете Филипсе. Поистине безграничны парадоксы времени, характеров и обстоятельств!

Чопорные слуги подали изысканный обед, который прибыл прямо из кухни на электротранспортере, проложенном в подземной галерее. Засим юный книжник робко попросил показать ему библиотеку. Но его ждало разочарование. Старый Фенвик сокрушенно покачал головой и сообщил, что «библиотека закрыта для посетителей». Это было довольно неожиданно, и наступила некоторая неловкость. «Не огорчайтесь, — улыбнулся радушный хозяин, — несколько самых интересных рукописей принесут нам в гостиную». Видимо, ритуал демонстрации сокровищ Филипсианы был продуман до мелочей. Фенвик позвонил в колокольчик, и дворецкий тотчас ввез в зал две тележки с кодексами и свитками от IX до XVI века. Фенвик показывал одну рукопись за другой и, обнаруживая безукоризненное знание дела, говорил об их содержании и оформлении. Спустя много лет Манби писал: «У него была редкая способность поучать без покровительственного тона и дать собеседнику почувствовать, что он может вставить в беседу нечто существенное. Два часа прошли для меня незаметно в осмотре самой прекрасной коллекции рукописей, которую я когда-либо видел в частных руках. Я даже впал в оцепенение, пораженный блеском старины, и с тех пор часто вспоминаю обаяние и бескорыстную доброту мистера Фенвика, который пожертвовал целым вечером, чтобы доставить удовольствие совершенно невежественному юноше, к тому же совсем ему чужому».

*

Томас Фицрой Фенвик скончался 1 сентября 1938 г. Частная его жизнь сложилась не слишком гладко. Он был женат дважды; похоронил обеих жен, оставаясь бездетным. Второй брак его встретил неожиданное сопротивление матери — миссис Кэтрин Фенвик; дело в том, что Томас Фицрой женился на вдове-католичке; миссис Кэтрин Фенвик, видно, позабыла те трудные времена, когда она была Кэт Филипс, или, может быть, взыграла в ней кровь сэра Томаса, но вторую жену сына она в Серлистэйн-хаус не допустила. Вот и пришлось Томасу Фицрою сооружать домашний очаг заново (правда, Филипсиану он уже с прежнего места не трогал). После Томаса Фицроя Фенвика остались значительные средства, об источнике их мы уже рассказали. Все это, вместе с Серлистэйн-хаусом и Филипсианой, наследовал один из его племянников — Алан Джордж Фенвик. Сей последний в книгах и рукописях толка не знал. К тому же началась вторая мировая война.

В сентябре 1939 г. британское правительство решило реквизировать Серлистэйн-хаус для нужд министерства авиационной промышленности. Все, что находилось в «библиотечном крыле», было без разбора свалено в подвалы. Никогда больше Филипсиане не суждено было вернуться в зал манускриптов, в большой библиотечный зал и другие помещения, заботливо оберегавшиеся Томасом Фицроем Фенвиком. Полвека посвятил коллекции ее основатель, полвека — его внук, третьего библиофила такого масштаба в роду Филипсов не оказалось. Возникла задача неимоверной трудности: заново разобрать пергаменный и бумажный хаос. Создавалось впечатление, что эта пещера Али-бабы никогда не оскудеет! Уже в 1944 г. стало ясно, что восстановить Серлистэйн-хаус в прежнем виде и предо-

ставить библиотеку в распоряжение ученых Фенвикам не удастся.

Оставался единственный выход — отыскать книжную фирму, которая отважилась бы купить оставшуюся часть Филипсианы полностью и взяться за ее разборку. На такой шаг решились братья Робинсоны, владельцы старой английской букинистической фирмы, основанной в Ньюкасле в 1871 г. и имевшей филиал в Лондоне. Во время войны книжный магазин Робинсонов не прекращал торговли, хотя соседние здания были разрушены прямыми попаданиями бомб, а в окнах магазина не осталось ни одного стекла. Прежде чем вступить в контакт с владельцами коллекции, Робинсоны побывали в США и выяснили, что там, с легкой руки Розенбаха, среди книжников ходят о Филипсиане совершенно фантастические слухи, которые пригодятся для рекламы. Возвратившись, Робинсоны предложили Фенвикам, не глядя, 100 тыс. фунтов за содержимое подвалов Серлистэйн-хауса, и соглашение было достигнуто 3 сентября 1945 г. При этом Робинсоны с большим трудом получили банковский кредит (под рукописи, да еще точно неизвестно какие, банки не столь охотно дают деньги, как под бриллианты или картины известных художников).

90% оставшихся рукописей и книг к тому времени не были каталогизированы — так что солидные книгопродавцы шли на серьезный риск. Тут же они едва не совершили непоправимую ошибку (но, к счастью для них, дело расстроилось), предложив Гарвардскому университету (США) все рукописи за 110 тыс. фунтов, Робинсоны рассчитывали получить таким образом гарантированную небольшую прибыль, а потом с выгодой продать печатные книги. Но ни Гарвардский университет, ни Британский музей денег от своих попечителей на приобретение рукописного «кота в мешке» не получили.

Представитель Гарвардского университета профессор И. Джексон все же побывал у Робинсонов. Любопытна его оценка культурной роли Филипсианы: «Я был потрясен огромностью сосредоточенного там материала, но также несколько озадачен, когда мне попадалась рукопись за рукописью, уже где-то напечатанная. Ибо на протяжении всего XIX столетия Филипс и Фенвики позволяли ученым переписывать рукописи. Это относилось и к французским романам, и ко многим классическим текстам, хотя встречались, конечно, и важные исключения... Это привело меня к выводу, что я не должен рекомендовать Гарварду купить коллекцию в целом — меня ведь спрашивали о том, насколько большое научное значение имеет эта библиотека, а не о том, есть ли в ней прекрасные и ценные рукописи». Профессор Джексон предсказал братьям Робинсонам, что скоро они благословят день, когда решились на свою «авантюру».

Первые контейнеры из подвала Фенвиков достигли Лондона в сентябре 1945 г. и были помещены в нанятом Робинсонами доме на Гордон-сквер. Однако 25 заведомо ценных рукописей были предварительно изъяты по указанию казначейства для обеспечения банковского кредита на случай финансового краха фирмы. 1 июля 1946 г. новые владельцы Филипсианы выставили на аукцион у Сотби 34 лучших манускрипта. Между научными учреждениями, библиотеками и библиофилами, стосковавшимися по редким книгам и по аукционам, разгорелась яростная битва. Один только первый аукцион принес пораженным Робинсонам половину уплаченных ими денег (казначейство тут же возвратило задержанные рукописи!). На аукционе, как и прежде, хозяйничал Розенбах. Ему достались «Провансальские песни», иллюстрированные миниатюрными портретами трубадуров (XIV в.). Библиофилы-миллионеры вырывали друг у друга средне-

вековую рукопись Вергилия с 12 миниатюрами (каждая размером в полстраницы); «Басни» Эзопа с 35 миниатюрами, переписанные в Италии примерно в 1480 г., и т. д.

11 ноября 1946 г., на следующем аукционе, в центре внимания оказались документы бывшей английской колонии Джорджия, ставшей одним из американских штатов. По поручению тогдашнего египетского самодержца короля Фарука были приобретены для его библиотеки 8 томов бумаг Наполеона I (многие из них касались похода в Египет). Один из английских банкиров завоевал на аукционе переписку знаменитого герцога Мальборо и тут же преподнес дорогую покупку (около 2 тыс. фунтов) здравствующему потомку герцога — премьер-министру Уинстону Черчиллю. Словом, книжная вакханалия бушевала вовсю! Несколько раскрытых тайн Филипсианы поразили книжный мир: на аукцион была представлена брошюра 1754 г. «Дневник майора Джорджа Вашингтона». Это сочинение первого американского президента, написанное, когда он еще не рассчитывал на президентство, не появлялось на книжном рынке с 1880 г. И вообще в мире существуют лишь семь экземпляров брошюры. 10 мая 1955 г. она была продана в Нью-Йорке на специальном аукционе за 25 тыс. фунтов. Второе «потрясение» — «История Трои», первая книга, изданная англичанином (Брюгге, 1475 г.). В свое время Филипс сетовал на то, что «куда-то задевал» эту важную книгу и никак не может ее найти. Историки книги и библиофилы не упускали с тех пор случая, чтобы объявить сэра Томаса «типичным библиотафом», зарывшим среди хлама первую книгу, отпечатанную английским типографом У. Кекстоном. По инерции это обвинение и это определение кочуют из работы в работу и по сей день. Увы, подобных грехов на совести сэра Томаса немало, но велика и его заслуга в

сохранении от гибели всего, о чем мы рассказываем!

Упомянем еще несколько перлов, принесших славу и доход фирме «Братья Робинсон»: знаменитое раннее армянское Евангелие, с которым сфотографирован сэр Томас; Ювенал и Гораций X века; ранняя греческая рукопись «Одиссеи»; книга Дж. Боккаччо «Дома благородных мужчин и женщин», переписанная в Туре в 1475 г. (с иллюстрациями), и многое другое.

С наследниками владельцам Филипсианы, прямо скажем, не везло; у обоих братьев Робинсонов детей не было. Убедившись, что источник, оставленный когда-то уорчестерширским баронетом, не оскудевает, уставшие от бесконечной переписки и распродаж, Робинсоны решили в 1956 г. закрыть дело и, уйдя на покой, без помех разобраться с помощью специалистов в том, чем они владеют.

Первый их шаг после этого был разумен и не лишен благородства — они безвозмездно отдали Бодлеане весь личный архив сэра Томаса, что и позволило Алану Манби создать свой небывалый в библиофильской литературе документальный свод, а нам сделав из него выборки, подготовить эту повесть.

Теперь, утомив читателя-библиофила перечислением многих великолепных рукописей и изданий которых он не только не имеет, но и не видит мы завершим рассказ о Филипсиане. Еще только одна вставная история и короткий эпилог.



Вторая вставная история «Метаморфозы» Овидия



Если быть точным, история, которая будет рассказана, началась две тысячи лет тому назад, когда римлянин Овидий создал ряд поэм, объединенных названием «Метаморфозы», а закончилась в 1968 г., когда вышло издание, о котором речь впереди. Но все же события первых 14 веков мы опустим. В XV веке английский первопечатник У. Кекстон самолично перевел с латыни «Метаморфозы» Овидия, о чем упомянул в напечатанной им книге «Золотая легенда». Однако это упоминание долгое время оставалось единственным свидетельством о переводе, который так и не вышел в свет. Утраченной считалась и сама рукопись перевода. Между тем первый английский перевод «Метаморфоз» представил бы немалый интерес как явление литературное и лингвистическое, а также как неожиданное дополнение к характеристике «великого Кекстона», как называют своего первопечатника англичане.

В 1688 г. случилось первое чудо. Путешественник, автор известных «Дневников» и библиофил Сэмюэл Пейпс купил по случаю и приобщил к своей коллекции второй том кекстоновского перевода Овидия

(начиная с книги 10-й). В колофоне рукописи сказано, что перевод выполнен именно Кекстоном. Библиотека Пейпса — единственная столь ранняя коллекция книг и рукописей, которая, по тщательно разработанному завещанию собирателя, хранится в первозданном виде. В колледже св. Магдалины в Кембридже осталась обстановка дома Пейпса, воссоздан интерьер и т. д. Среди первейших по значению материалов библиотеки Пейпса, которая стала своего рода музеем книги XVII—XVIII вв., хранился второй том первого перевода Овидия.

Читатель может представить себе, какой сенсацией прозвучало в 1966 г. известие: братья Робинсоны обнаружили среди бумажного хлама, который сэр Томас когда-то купил у старьевщика, первый том рукописи Кекстона. В груде битого кирпича блеснул бриллиант! Робинсоны удивились, проконсультировались с учеными и включили первый том «Метаморфоз» в очередную аукционную распродажу Филипсианы, которую по их доверенности проводила фирма Сотби 27—28 июня 1966 г.

Интерес к аукциону был огромный. Ведь часть рукописи, хранящаяся в Кембридже, никогда не публиковалась, и обе они вместе представляли единственный образец почерка и стиля отца английского книгопечатания. Можно было представить себе, какую цифру отстучит молоток аукционера! Конечно, всего естественней было бы, если бы первый том «Метаморфоз» присоединился ко второму в Кембридже. Но университет в целом, а колледж св. Магдалины в особенности — учреждения бедные. Куда уж спорить Кембриджу на книжном аукционе с богатыми американцами! Манускрипт Кекстона был куплен американцем Л. Фельдманом за 90 тысяч фунтов стерлингов. Покупка была, как положено, оформлена — оставалось перевести деньги в банк на счет фирмы Сотби и отправить рукопись в Нью-Йорк.

Дальнейшие события напоминают смесь святочного рассказа с авантюрным романом. Чуть ли не впервые за всю историю наступления американских капиталов на английскую культуру официальные инстанции отказались выдать лицензию на вывоз рукописи. Вернее, оттянули решение до конца 1966 г. — если найдется английское учреждение, которое рукопись перекупит, победа американца на аукционе будет аннулирована; если не найдется — он увезет рукопись Кекстона за океан. Из учреждений наиболее платежеспособным оказался все-таки Британский музей, но и он готов был выделить из своих средств лишь треть суммы — остальное, как надеялись, даст британское правительство, а также подписка среди частных лиц. Однако правительство было занято очередным замораживанием заработной платы и не хотело ссориться с американцами из-за какой-то рукописи. Поколебавшись, власти не дали ни копейки. Об этом было объявлено лишь в середине ноября, когда отсрочка уже истекала. Энтузиасты из Кембриджа не сдавались, но призыв к общественности дал всего 20 тыс. фунтов. Поиски богатого и способного на патриотический шаг англичанина также ни к чему не привели. 24 ноября в «Таймс» появилась отчаянная статья — вопль о спасении рукописи Кекстона. Статью прочитал в самолете американский издатель Джордж Брэзиллер, летевший из Нью-Йорка в Лондон. Его заинтересовала вся эта история, и он нашел время съездить в Кембридж. Сначала мистер Брэзиллер предложил пополнить фонд комитета, выпустив факсимильное издание хотя бы кембриджской части рукописи. Ему объяснили, что это невозможно, поскольку время вот-вот истечет. Тогда вмешались несколько членов парламента и выхлопотали новую отсрочку — еще на месяц.

Между тем в Лондон явился ничего не подо-

зревавший владелец рукописи. Он уже оплатил счет за «Метаморфозы» и прибыл за своим имуществом. Возникла тяжба между двумя американцами. Последним «выбил мяч» у противника мистер Джордж Брэзиллер. Он дал комитету по спасению «Метаморфоз» беспроцентный заем на 71 тыс. фунтов с условием, что бесплатно получит право на издание обеих частей первого перевода на английский бессмертного творения римского поэта.

Рукопись осталась в Англии (теперь обе ее части как национальное достояние хранятся в Британском музее); книга «Метаморфозы» в переводе Уильяма Кекстона с факсимильным воспроизведением рукописного текста, предисловием и примечаниями вышла в США в 1968 г.; а рассказанный сюжет служит не только любопытным примером сложных и многообразных взаимоотношений книги и общества, но и достойным, на наш взгляд, завершением долгой эпопеи коллекции рукописей и редких изданий, собранной Томасом Филипсом.



Эпилог
Синдром Филипса



Кто же был он, сэр Томас Филипс — безумец со всеми признаками библиомании, замучивший себя и окружающих и не принесший пользы человечеству, оставив свое имя лишь в летописи глупых нелепиц и вредных чудачеств, которых не счесть в истории? Или энтузиаст и бессребреник-собиратель, ничего не желающий для себя лично и пекущийся исключительно о пользе общей?

Попробуем, разделив бумажный лист пополам, сопоставить некоторые pro и contra в делах и характере человека, о котором вы прочитали.

1. Томас Филипс собрал огромное, невиданное в истории количество книг и рукописей, будучи убежден, что человечество не должно дать погибнуть плодам своей духовной деятельности. Создание исторического архива такого масштаба — несомненная его заслуга перед человечеством.	Он не «собрал» все эти рукописи и книги, а нагромоздил их без всякого плана и смысла. Многие важнейшие документы, которые могли быть давно изучены и опубликованы, чуть ли не полтора века скрывались в недрах Филипсианы (а кое-что не найдено и по сей день).

2. Томас Филипс был совершенно бескорыстен, он не преследовал никаких денежных целей; он не эксплуатировал чьего-либо труда, работая без устали над формированием коллекции больше пяти десятилетий.	Он поднимал цены, что не столько спасало рукописи, сколько делало их недоступными национальным библиотекам. Если бы то, что сосредоточилось у Филипса, своевременно попало в публичные библиотеки, специалисты разобрались бы с этим без излишнего «надрыва».
3. Томас Филипс страстно любил книгу. Намного опередив свое время, он понимал огромное значение сохранения архивов. Полезную роль сыграла «всеядность» Филипса: «пустяковые бумажки», которые он свято берег, оказывались подчас важнейшими документами эпохи.	Он был не другом, а самым настоящим врагом книги, поскольку изымал ее из обращения, не позволяя книге *работать*. Всякая коллекция требует дисциплины в обращении с нею. Иначе она превращается в хаос, ничего не дающий уму и сердцу.
4. Томас Филипс был альтруистом, готовым предоставлять рукописи и книги в пользование ученых. Он мог сутками, забывая о сне и отдыхе, обсуждать то или иное приобретение. Ему ничего не нужно было для себя и для своей семьи — все он ставил на службу будущим поколениям.	Он был тщеславен и заносчив. Он не желал понять, что его знаний и сил никогда не хватит на то, чтобы распорядиться такой библиотекой. Это был домашний тиран, замучивший и обездоливший ни в чем не повинных родственников.

Как легко догадаться, подобную дискуссию можно продолжать еще долго. Проще всего, конечно, признать, что Томас Филипс — явление противоречивое и неоднозначное. Но еще вернее, на наш взгляд, будет назвать его фигурой типической в истории библиофилии, ибо в его характере (разумеется, в утрированном и донельзя гипертрофиро-

ванном виде) просматриваются те черты, которые свойственны многим и многим библиофилам разных времен и народов. Просветительские стимулы, радость чтения, эстетическое наслаждение творением переписчика или типографа, наконец, «охотничий инстинкт» собирателя трагикомически соединились в их душе с малопочтенным чувством собственности. Но если так, то, может быть, «синдром Филипса» — это синдром самой библиофилии?

Однако во всей этой повести есть ведь не только морально-психологический, но и книговедческий аспект. В ней два главных героя — Филипс и Филипсиана. Миграция книг, история формирования книжных собраний, взаимоотношения между библиофилами и библиотеками — все это вопросы, изучаемые книговедением. Более полутора веков длится уже история библиотеки Филипса. Не было такой страны в Европе, откуда не стекались бы книги и рукописи в это хранилище. И в то же время нет, кажется, и такого уголка, где не оказались богатства Филипсианы после ее расформирования. Кто знает, может быть найдется когда-нибудь историк, который изучит дальнейший путь тех материализованных плодов духовного развития человечества, которые — в тесноте, да не в обиде! — побывав в обществе друг друга в уютном пристанище на границе Англии и Уэльса, разбрелись потом вновь по белу свету. Ведь только когда личное соединяется с общезначимым, возникает общественный интерес к явлению, как это случилось с библиотекой Томаса Филипса.

В заключение еще одна цитата: «Вот уже многие годы мой муж увлекается собиранием книг. Наша небольшая квартира превратилась в филиал научной библиотеки. Книги повсюду: на шкафах, на тумбочках, на столах и даже на кровати... Естественно, ни он, ни я, ни сын не в состоянии все их прочитать... Книги приобретаются, записываются в спе-

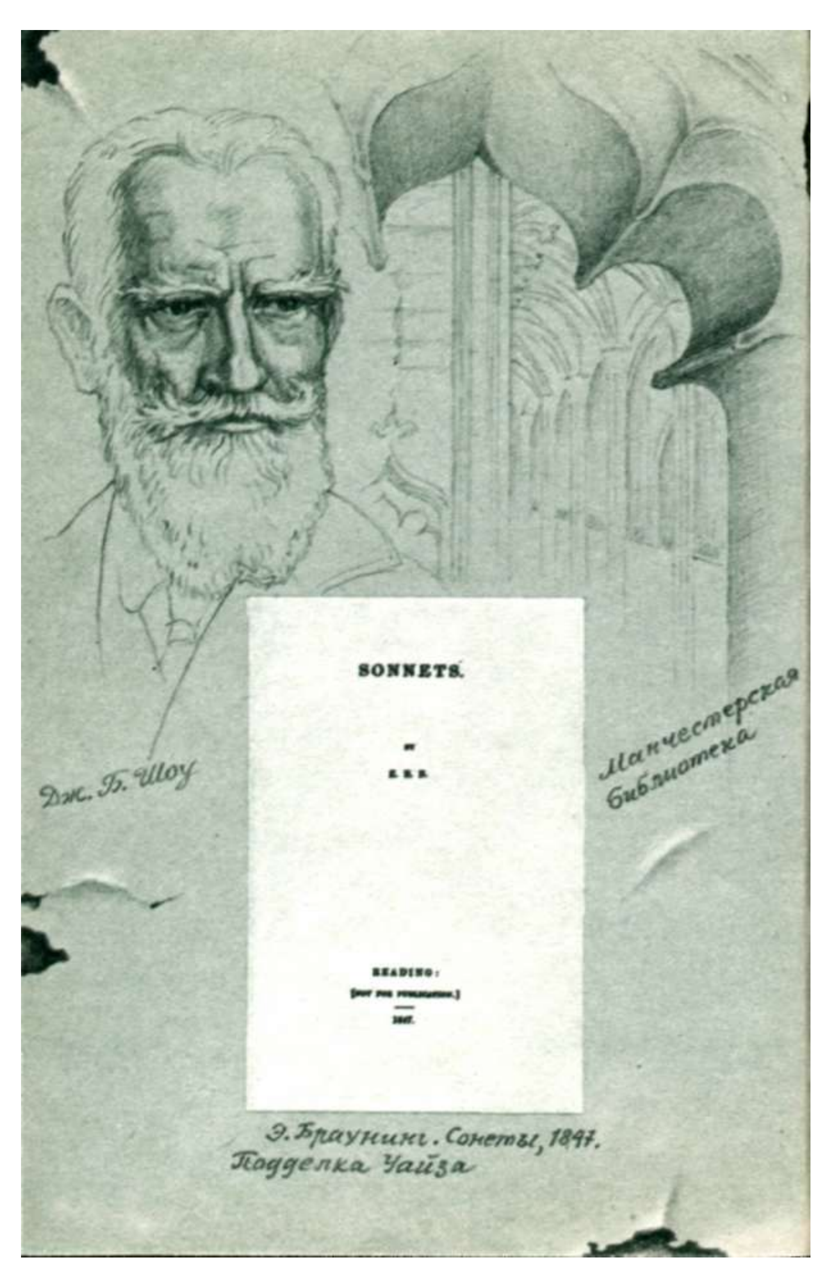
циальную тетрадь и ставятся на полки. Встает вопрос: что важнее? Книги, которые никто не читает и никогда, возможно, не прочтет, или питание, одежда, театр? А ведь эти книги кому-то очень нужны!»

Письмо это написала не Элизабет Филипс и не Кэтрин Фенвик. Оно принадлежит нашей соотечественнице и современнице и напечатано в «Литературной газете» 9 июня 1982 г.



Часть вторая

КНИГИ И ДЕНЬГИ


SONNETS.
READING:
Дж. Б. Шоу
Манчестерская библиотека
Э. Браунинг. Сонеты, 1847.
Подделка Уайза

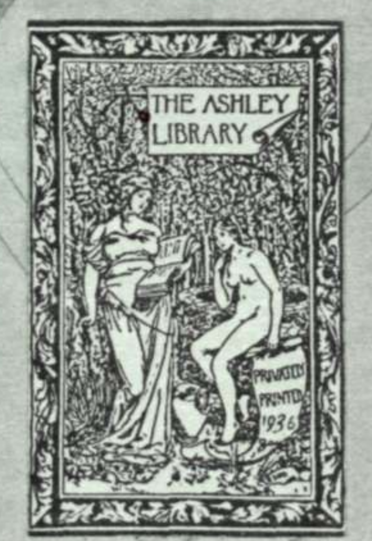
АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ИЛИ ПОВЕСТЬ



искуснейшем мошеннике
среди библиоманов
и образованнейшем библиофиле
среди мошенников



Библиотека Британского музея



Экслибрис библиотеки Эшли, 1936



Возможно, название повести ввело читателя в некоторое заблуждение. Вы полагаете, речь пойдет о всеми презираемом отъявленном проходимце и циничном спекулянте, бесстыдно надувающем честную библиофильскую публику? Ни в коем случае! Мы расскажем о респектабельном джентльмене, чьи библиофильские (и еще более — библиографические) труды на протяжении полувека были гордостью книжной Англии; о почетном магистре искусств Оксфордского университета; о председателе (в 1922—1924 гг.) английского Библиографического общества, члене правления Уорчестер-колледжа в Оксфорде; о желанном участнике разнообразных литературных и библиографических обществ, вплоть до аристократического Роксберского клуба, куда допускались либо персоны высокого происхождения, либо уж такой несокрушимой репутации, подкрепленной особыми заслугами, как наш герой; об авторитетном знатоке английской литературы и книгоиздательского дела во всех его технических деталях, составителе ценнейших персональных библиографий, которые, несмотря на кое-какие странные

свои особенности, факсимильным способом переизданы совсем недавно — в 70-х годах нашего века; о добром знакомом или даже приятеле многих знаменитых писателей — от Роберта Браунинга до Бернарда Шоу; наконец, о собирателе несравненной по богатству, полноте и сохранности книг библиотеки английской литературы.

Сенсация при разоблачении этого человека в кругах книжников и литераторов была такая, как если бы выяснилось, например, что Английский банк выпускает фальшивые банкноты. Ему удался коварно задуманный, искусно выполненный, десятилетиями скрываемый, небывалый по масштабам обман в истории книжного собирательства. Но стоит внимательно разобраться — злонамеренное ли преступление перед нами или, может быть, остроумная мистификация.

Томасу Уайзу было 13 лет, когда ушел из жизни, оставив свое причудливое завещание, сэр Томас Филипс. Уайз оказался свидетелем, а нередко и участником драматических аукционных распродаж Филипсианы. Так что между нашими героями существует историческая преемственность. Однако различие в общественной психологии между эпохой викторианской «незыблемости», когда жил Филипс, и эпохой острейших кризисов буржуазного строя и сознания, когда жил Уайз, столь велико, и характеры этих джентльменов настолько непохожи, даже противоположны, что всякая преемственность отсутствует. Сюжет об Уайзе пригодился бы не Чарлзу Диккенсу, а скорее — Джону Голсуорси: определяющую роль во всех делах Томаса Уайза, как нам кажется, играло чувство собственности, соединенное со стремлением к наживе — любыми средствами и без моральных преград. Повесть об Уайзе так и следовало бы назвать: «Собственник», если бы это не было прямым заимствованием из «Саги о Фор-

сайтах». Однако в такой оценке Томаса Уайза у автора есть не только союзники и предшественники (прежде всего биограф Уайза — У. Партингтон), но и сильные оппоненты — например Джордж Бернард Шоу. Впрочем, все это предстанет перед читателем по ходу нашего «судебного разбирательства».



Личность обвиняемого, или Чем пахнут эфирные масла



Томас Уайз предпочитал не распространяться о себе. Его любимый ответ на все просьбы об интервью и автобиографических сведениях: «Тысяча фунтов аванса прежде, чем я обмакну перо в чернила!» Но это подавалось как шутка, а если серьезно: «Все, что нужно вам знать обо мне, — в библиографиях, которые я составил, и в книгах, которые я собрал. Остальное ни для кого не представляет интереса».

До известной степени Уайз был прав, но чтобы понять некоторые неповторимые особенности его библиографических трудов и непревзойденных книжных коллекций, неизбежно приходится обратиться к его личности. При этом доверять его собственным показаниям, которые разбросаны в основном в переписке, появившейся в печати посмертно, следует с большой осторожностью. Своему постоянному корреспонденту и книжному клиенту чикагскому миллионеру Дж. Ренну, например, Уайз поведал, что принадлежит к родовитой ирландской семье, которая прежде писала свою фамилию с буквой «у» вместо «i». Дедушка

нашего героя якобы упростил написание, отец закрепил ошибку, — и знатные «Wyse» стали ординарными «Wise». Брат Томаса Уайза, Герберт, отставной флотский старшина, не знавший об этой переписке, решительно утверждал, что, по крайней мере, за последние сто лет в документах семейства Уайз никаких орфографических изменений не наблюдалось. Однако зачем понадобилась эта мистификация — микроскопическая среди прочих уайзовских мистификаций? В 1812 году некий знатный вельможа сэр Томас Уайз (Wyse, разумеется!) оказал немалые услуги великому поэту Перси Биши Шелли и вошел как эпизодическое, но важное лицо в его биографию. Вот наш Уайз и объявил покровителя Шелли двоюродным братом своего дедушки и этим объяснил свой рано проявившийся интерес к собиранию прижизненных изданий великого романтика. Вы плохо знаете американских миллионеров, избравших в виде хобби библиофилию, если думаете, что подобная деталька для них безразлична! Уайз знал их лучше. Подобные мистификации оборачивались немалым барышом, и шутка о «тысяче фунтов аванса» приобретала вполне серьезный смысл. Но американский миллионер еще появится на страницах этой повести, а сейчас обратимся к реальной биографии Томаса Уайза, которую он, несмотря на провозглашенные принципы, долгие годы тщательно запутывал.

Родился Томас Уайз 7 октября 1859 г. в Грэйвсэнде в семье «торгующего путешественника» или «странствующего торговца», как называл себя его отец, или просто «джентльмена», как (для краткости, разумеется) именовал его сын. Получается буквально по Роберту Бернсу: «Кто честной бедности своей стыдится и все прочее...» Матери Томас Уайз лишился, едва успев перейти от детских лет к отроческим, отец его еще дважды

женился и все имущество завещал третьей жене — так что Томас Уайз вышел в мир ни с чем и сам стал кузнецом своей странной судьбы. Едва ли не единственное его детское воспоминание: он читает умирающей матери бессмертные стихи Шелли — сцена необычная для баптистского семейства. Больше он о матери не вспоминал (публично, по крайней мере), а в 1938 г., после кончины Томаса Уайза, фамильный склеп Уайзов оказался полуразрушенным. По-видимому, никто не посещал его много десятилетий.

В 1866—1878 гг. Уайзы жили в северной части Лондона. Томас Уайз обычно говорил, что сперва получил «частное образование», а затем до 16 лет обучался в городской школе. Когда имя его уже гремело в газетах, репортеры попытались уточнить подробности у младшего брата знаменитости. Тот сообщил, что Томас был хрупкого здоровья и потому воспитывался дома. Подростком его определили учеником в фирму некоего Германа Рабека, торговца эфирными маслами. С этой фирмой многие годы была связана его деловая карьера — никогда прежде и никогда после запах старых книг не смешивался до такой степени с запахом ароматических масел. Между тем в первые дни Томас Уайз показался хозяевам настолько туповатым и неповоротливым, что его даже уволили. Лишь по настоятельным просьбам «торгующего путешественника» сын был восстановлен в звании ученика маслоторговца. Едва ли потом Рабеки благословляли тот день и час, когда они вняли этим просьбам.

Примерно с 16 лет Уайз начал понемножку собирать книги — с тем же рвением, с каким миллионы его сверстников собирают марки или бабочек. Однажды в очередном «вынужденном» интервью с секретарем Британского музея Уайз предался воспоминаниям о том, как, отказывая

себе в завтраках и обедах, откладывал он карманные деньги, выдаваемые отцом, чтобы купить любимую книгу и ночью в одиночестве насладиться ею и т. п. Увы, это была очередная «сладкая» автобиографическая легенда, основанная на доскональном знании психологии библиофилов. Томас Уайз на самом деле словно родился коммерсантом, и нажива была главенствующим стимулом на всех этапах его долгого библиофильского (или библиоманического?) пути. Первой ареной его деятельности были книжные прилавки и витрины улицы Фаррингтон-роуд, где и по сей день роются лондонские книжники, не принадлежащие к «сливкам» общества. И хотя времена «дешевых чудес», столь поражавших прежние поколения библиофилов (сэр Томас Филипс!), постепенно уходили, хитрый малый — маслоторговец не упускал случая по дешевке купить на севере Лондона те книги, которые куда дороже стоили в западных районах столицы. Постепенно он перебрался в несравненно более престижные антикварные лавки — книги там стоили дороже, но и выглядели они привлекательнее, чем те, что удавалось ему отыскать в грязных ящиках и битком набитых бочках торговцев бумажным хламом.

Надо отдать должное нашему герою — он обладал цепкой памятью, отличной сметкой и сжигающим душу и разум стремлением к богатству и славе. Идеи — одна другой хитроумнее — переполняли его с юных лет. Он поставлял антикварам свои находки, сделанные в развалах и бумажных кучах, и неизменно оставался с некоторой прибылью. Но при этом он умел учиться, используя постепенно расширявшиеся знакомства с букинистами. Он задавал вопросы о книгах, а ответы тщательно анализировал. Ему было всего 18 лет, когда, собрав в кулак всю наличность и все мужество (как бы не просчитаться!), он решился

приобрести два великолепных первоиздания «Эпикуреец» Томаса Мора и «Ченчи» Шелли.

В этот день было положено начало непостижимо прекрасной «Эшли-лайбрери» («Библиотеке Эшли» — по названию одной из улиц, где позднее обитал Томас Уайз). Состав этого книжного собрания отражен в одиннадцати томах превосходно изданного, завлекательного каталога. По утверждению солиднейшего «Национального биографического словаря», библиотека Уайза в том виде, в каком она предстала к концу жизненного пути владельца, «достаточно полна изданиями английских классиков XVI и начала XVII века, весьма богата изданиями конца XVII и XVIII века, а изданиями конца XVIII и всего XIX века укомплектована с абсолютной полнотой», недоступной ни Британскому музею, ни Оксфордскому университету. Теперь, после событий драматических и обескураживающих, Эшли-лайбрери навеки пребывает в отдельном помещении Британского музея. И хотя книги, как и деньги, по расхожему представлению, «не пахнут», все же в данном случае они основательно пропахли — не только эфирными маслами...

Однако вернемся к молодому энтузиасту-книгособирателю. Антиквары наметанным глазом быстро распознали, что этот молодой человек в скромном черном сюртуке и шляпе-котелке «далеко пойдет», и охотно заключали с ним сделки. Уайз, в свою очередь, понял, что книга — растущий в цене товар, который, если с умом подойти к делу, иной раз выгодно и попридержать, и перепродать, и похитрее разрекламировать. Любопытно, что в 1919 г., когда редактор журнала «Букмен» («Книжник»), давний знакомый Уайза и будущий его биограф У. Партингтон спросил, не собирается ли он продать какие-то книги, Уайз прямо-таки впал в неистовство. «Продать?! — в

ярости кричал он, — ни разу в жизни я не продал ни одной книги! Библиофилы не торгуют книгами!» Он бывал забывчив... когда считал это целесообразным.

Будем справедливы к Томасу Уайзу — он вовсе не с пеленок был лишен романтики и поэтической непрактичности. В 1882 г. он выпустил первый и единственный сборник собственных стихов — так называемым частным изданием тиражом 35 экземпляров (пять на пергамене, шесть на бумаге с красным обрезом и большими полями; на этих шести вдобавок расхождение в выходных данных — указан 1883 год выпуска). Стихи ни малейшего следа в литературе не оставили, но редкость книжечки чрезвычайная! Автор не афишировал свой поэтический опыт — даже не включил издание в каталог Эшли. Но впоследствии это не помешало Томасу Уайзу через подставное лицо продавать экземпляры «Стихов» Томаса Уайза за вполне приличную сумму! Полиграфический опыт «частного» малотиражного издания ему очень пригодился; тогда же он решился на еще один подобный эксперимент: перепечатал на пергамене «Оду к соловью» Джона Китса тиражом 29 экземпляров. Все же с точки зрения типографской оба издания оказались довольно топорными, и Уайз остался недоволен.

Однако лирические отступления от жизненных целей в принципе были для него нехарактерны. «Океан состоит из капель» *, — любил он повторять, извлекая прибыль, пусть и совсем ничтожную, кажется, чуть ли не из воздуха. Никаких моральных устоев, не позволяющих обирать ближнего, этот человек не знал, но такая жизненная позиция (тщательно скрываемая, разумеется) не мешала ему проявлять общительность и любезность,

*
По-английски это звучит: «a pickle makes a mickle».

а не только деловую хватку и коммерческое предвидение. Не обладавший изначально ни капиталом, ни знатностью, он, избрав библиофилию и библиографию областью своего жизненного преуспеяния, достиг небывалых результатов. Едва ли не первым в Англии Уайз понял, как много сулит собирание прижизненных изданий английских авторов начала XIX века — Байрона, Шелли, Скотта, Китса, Вордсворта, Роберта и Элизабет Браунингов и других. Издательские плоды золотого века английской литературы можно было вплоть до 80-х, даже 90-х годов прошлого столетия приобрести за гроши. Уайз дожил до тех дней, когда каждая такая книжечка стоила на библиофильском рынке несколько сот фунтов! Но мало того, что Уайз вовремя оценил выгоднейший книжный товар — ему принадлежит несомненный приоритет и в методологии собирательства. В те годы, когда он делал свои первые шаги, были еще живы и Трелоуни, эксцентричный приятель Байрона и Шелли, шагавший в возрасте 86 лет по лондонским мостовым босиком, с непокрытой головой в зимнюю стужу, и вдова Шелли, и сельский священник — вдовец Шарлотты Бронте, не говоря уже о прямых потомках великих поэтов и их второразрядных последователей. Да что говорить, если здравствовали еще и Роберт Браунинг и живой классик Чарлз Суинберн. Так вот: Уайз первым понял, как много может принести библиофилу общение с людьми, близкими к творцам литературы, — это и экземпляры книг с авторскими дарительными надписями, и остатки тиражей их собственных изданий, и рукописи, и переписка, и живые воспоминания.

Чтобы оценить все значение этого открытия Томаса Уайза, которое теперь и открытием-то ни в коей мере не представляется, нужно мысленно перенестись в ту эпоху, когда даже Байрон и

Шелли, не говоря уж о Браунинге и сестрах Бронте, не почитались «классиками» — «большое видится на расстоянье»! Например, какой ценностью в глазах старушки — дочери публициста и журналиста Ли Ханта — обладали письма к ее отцу, написанные едва ли не всеми корифеями английской литературы первой половины прошлого века, или экземпляр книги Шелли с дарственной надписью Ханту? Совершенно незначительной. Но вот является обходительнейший Томас Уайз и покупает за небольшую сумму груду старой бумаги, которую давно собирались выбросить, да все как-то не успевали. Его еще униженно благодарят за это. Путь, на который решительно вступил наш герой, сулил ему великие открытия и барыши.

Но что тут дурного, — спросит читатель, — разумно ли с первых страниц повести бросать тень на библиофила, который богатеет благодаря собственной изобретательности и энергии? Быть может, и в самом деле неразумно?

*

Повесть о преступлениях не началась еще — она впереди. Пока что расскажем характерную для Уайза библиофильскую историю, которая, однако, под действие уголовного кодекса также не подпадает.

Знатоки книжного рынка говорят, что едва ли не самое сложное для библиофила — подобрать первые издания знаменитых авторов. Будущая слава, как правило, угадывалась не сразу, книги выпускались совершенно неизвестными издателями или даже бродячими типографами и печатались ничтожными тиражами. В продажу поступало иногда лишь несколько экземпляров, а то и весь тираж оставался сувениром автора и его друзей. Впрочем, сувениры обычно берегут, а этих опусов

приятели автора, как правило, не ценили. Столь же неимущие и легкомысленные, как сам автор, друзья забывали такую книжечку, скрываясь от очередной квартирной хозяйки, а та в справедливом гневе на неуплатившего жильца забрасывала его скарб на чердак или даже сжигала вместе с пустячными книжонками. Довольно типичная картина для многих литератур! Все это относится и к первому сборнику великого английского поэта Перси Биши Шелли, написанному им вместе с сестрой и озаглавленному «Оригинальные стихи Виктора и Казиры» (1810). Шелли нанял издателя по имени Стокдэйл (оказавшегося потом незаурядным пройдохой!), но в срок расплатиться с ним не сумел. Сперва весь тираж был оставлен у Стокдэйла как слабое утешение и жалкая награда за понесенные убытки. Однако затем произошло нечто более ужасное — выяснилось, что сестра Шелли без его ведома включила в книжку стихотворение М. Г. Льюиса «Монах» — так что авторов «Оригинальных стихов» без труда можно было уличить в плагиате. Тут уж Шелли нашел чем заплатить издателю за... уничтожение всего тиража.

Тем весь эпизод мог бы и завершиться, если бы Стокдэйл, дожив до преклонных лет, не сообразил, провалившись в очередной раз с какой-то издательской аферой, что может заработать на воспоминаниях о великом поэте. Тут-то, в конце 1850-х годов, и выплыла на свет история со сборником «Виктора и Казиры». Однако самого сборника никто никогда еще не видел. Вскоре выяснилось, как всегда в таких случаях бывает, что в бумажную массу был обращен все-таки не совсем весь тираж. Оказалось, что 17 сентября 1810 г. Шелли подарил экземпляр сборника своей кузине Гарриет Гроу. Эта девушка была его близким другом, и одно из стихотворений сборника

было написано после прогулки с нею *. Только в 1898 г. дальний потомок кузины Шелли нашел в своей библиотеке уникальный, как считали тогда, экземпляр первой книги поэта. Находка вызвала библиофильскую сенсацию — сборник тотчас воспроизвели факсимильно, а оригинальное издание выторговал у владельца за 155 фунтов стерлингов известный библиофил и знаток литературы Томас Уайз. Не приходится удивляться, что вся эта история поощрила дальнейшие поиски, и в 1903 г. в Лондоне был обнаружен еще один экземпляр «Оригинальных стихов Виктора и Казиры» — особенно ценный, поскольку в нем были восполнены многие пропуски, имевшиеся в известной уже книжке. В давние годы эту реликвию где-то купил за шестипенсовик старичок, ведать не ведавший, кто такие означенные на титуле Виктор и Казира. Умирая, он завещал все имущество своей экономке, которая и представила это чудо на аукцион. Сражение, как вы догадались, выиграл известный библиофил Томас Уайз, заплативший теперь уже 300 фунтов. Между тем из книжного океана вынырнул третий (и пока последний) экземпляр книжки — с необрезанными полями. На титульном листе — любопытная пометка: «Подарена мне в Итоне автором, поэтом Перси Биши Шелли — моим другом и школьным товарищем. — W. W. 1810». Подпись расшифровывается так: Уильям Уэллесли. На этот раз покупателю, который во что бы то ни стало хотел избежать аукциона, пришлось раскошелиться уже на 600 фунтов. Им был Томас Уайз. «Да, — говорил он с гордостью много лет спустя, — у меня побывал каждый из трех «Викторов», один лучше другого. Увы, ни один из них не был находкой» (иначе говоря: за каждый пришлось заплатить!). И добавлял: «На протяжении

*
В недавно найденном дневнике Гарриет Гроу это подтверждается.

первых двадцати лет моих поисков Шеллианы я не знал достойных соперников».

В общем, все это выглядело бы вполне традиционно, а библиофильское чутье и решительность Уайза заслуживали бы похвалы, если бы не кое-какие мелкие детали. Купив «Виктора» № 1 в 1898 г. за 155 фунтов, Уайз сообщил американскому коллеге-библиофилу Дж. Ренну, что книжка досталась ему за 255 фунтов. Американец, не стеснявшийся в средствах, умоляет приобрести ему эту редкость, буде она еще раз появится на букинистическом рынке — за любую цену. Так что в 1903 г., приобретая «Виктора» № 2, Уайз уже знал, на что идет: Ренн получил его за 600 фунтов. Экземпляр № 1 достался Уайзу, таким образом, не просто даром: ему как бы еще и приплатили. Но это не все. Проведав, что продается «Виктор» № 3 («ассоциативный» — с пометкой), Уайз сделал Ренну заманчивое предложение: он «уступит» американцу экземпляр № 1 за ту сумму, которую будет стоить ему самому экземпляр № 3 минус 50 фунтов (Уайз делал вид, что он скромный и рациональный коммерсант, не способный ни на какое надувательство). Получив из Чикаго 550 фунтов за худший из всех трех, неполный и довольно ветхий экземпляр № 1, он остался с превосходной книгой, принадлежавшей некогда Уильяму Уэллесли, и с приличной прибылью. Впрочем, не спешите сочувствовать американскому миллионеру — во-первых, у нас еще будет такая возможность, а, во-вторых, он не без выгоды продал экземпляр № 2 в библиотеку Хантингтона, о которой говорилось в предыдущей повести.

Эпилогом рассказа может служить еще одна короткая история, касающаяся Шелли. Как-то в букинистической лавке Уайз листал толстый сборник католических трактатов. Цена — 2 фунта 10 шиллингов. Всего трактатов, довольно однообраз-

ных по содержанию, там было около 40. И тут острый взгляд Уайза заметил то, что проглядел букинист, владелец лавки. Рядом с произведениями мало кому известных авторов в сборнике было помещено знаменитое «Обращение к ирландскому народу» П. Б. Шелли (Дублин, 1812), удорожавшее книгу в десятки раз. Схватив сборник, «бескорыстный» библиофил перепродал его Британскому музею за ту же сумму — 2 фунта 10 шиллингов, но предварительно выдрал оттуда сочинение Шелли. Таким образом, раритет снова достался ему бесплатно. Вскоре Уайз приобрел очаровательный экземпляр отдельного издания «Обращения к ирландскому народу» с дарственной надписью автора Джейн Клермон — общей приятельнице Шелли и Байрона. Теперь оставалось только переплести уже ненужный ему оттиск из сборника в виде особой брошюры и перепродать втридорога как никому не известное издание памфлета. Эту последнюю операцию Томас Уайз провел столь же успешно, как и все предыдущие.

*

Торговля эфирными маслами между тем шла своим чередом. Томас Уайз постепенно поднимался по служебной лестнице в конторе мистера Рабека, хотя был еще далек от желанного кресла совладельца фирмы. Его деловой натуре с самого начала не был чужд здоровый риск. Двадцати пяти лет от роду, получая меньше четырех фунтов в неделю, он отважился, например, купить за 45 фунтов превосходный экземпляр первого издания «Адониса» Шелли, напечатанного в Пизе в 1821 г. Такие примеры своей юношеской щедрости и библиофильского предвидения он приводил потом с гордостью: «Лет через сорок я смеялся над своими друзьями-библиофилами, кото-

рые платили сотни фунтов за тоненькие книжечки Шелли, которые они называли «невозможностями», потому что их невозможно добыть». Он дорожил своей репутацией книжника куда больше, чем несколькими лишними фунтами (тем поразительнее, в какие мелкие дребезги эта репутация разлетелась!), и не считался с затратами в необходимых случаях. О компенсации мы уже говорили.

Долгие годы он из экономии жил в семье отца на скромной Девоншир-роуд (теперь это Эксминстер-роуд) в грязноватом трехэтажном доме, где на первом этаже ему были отведены две комнаты — спальня и кабинет-библиотека. Возвращаясь из Сити, он запирался в кабинете и до рассвета изучал книги, готовясь к новым приобретениям — во имя великого плана. Об этом плане окружающие знали ровно столько, сколько он хотел, чтобы они знали. Покидал он свою келью в неслужебное время лишь для визитов к букинистам, деловых встреч (впрочем, иногда он принимал посетителей и дома) и редких катаний по Темзе, которые по молодости лет очень любил. Кто именно бывал у него дома, теперь трудно сказать, хотя сам он называл людей весьма знаменитых, например, Джорджа Бернарда Шоу. Великий драматург, переживший Уайза на двенадцать лет, вспоминал об этом несколько иначе: «Я познакомился с ним, когда мы оба принадлежали к обществу по изучению Шелли, основанному доктором Фернивэлом. Мы оба были бездельниками в те времена... Частных визитов ему я никогда не наносил, и когда общество скончалось, я потерял с ним всякую связь на много лет. Позже, став оба людьми известными, мы переписывались, поскольку он был увлеченным собирателем репетиционных экземпляров моих пьес. Выпуская небольшими тиражами частные издания

для нужд театра, я был единственным источником, откуда Уайз мог их добыть!»

Не говоря уже о Шоу, но и Уайз в молодые годы бездельником отнюдь не был. Скорее напротив — он был неустанным тружеником. Сколько башмаков истоптал он, только посещая родственников и друзей ушедших из жизни литераторов! А в какой восторг (тщательно скрываемый, конечно) он приходил, когда попадали к нему в руки частные письма литературных кумиров! Сколько любопытнейших драматичных подробностей, в том числе библиографических, открывали они! Недаром во всех персональных библиографических справочниках, составленных позднее Уайзом, и в каталоге Эшли закулисная сторона литературы читается нередко как увлекательный роман. А какие неожиданные, неведомые им сведения сообщал он родственникам покойного писателя об их дедушке, прадедушке и т. д. Потомки не заставляли себя долго упрашивать и раскрывали сундучки с бумагами, начинавшими потихоньку превращаться в труху. Как благодарны были они человеку, уносившему в заветной шкатулке то, что иначе погибло бы, — да еще готовому заплатить за это какую-то мелочь. Любопытно, читал ли Уайз «Мертвые души» Гоголя? И как отнесся он к Чичикову?

В 1890 г. Уайз, наконец, выкроил время для двух необходимых свершений: женился на 22-летней Селине-Фанни Смит и перебрался в собственный симпатичный домик с лужайкой — на Эшли-роуд, 52. Однако наиболее бурный период его «подлой деятельности», как потом ее называли, начался несколько ранее.

В 1881 г. в Лондоне, наряду с обществами по изучению Чосера и Шекспира, возникло так называемое Браунинг-сосайети — общество по изучению творчества Роберта и Элизабет Браунин-

гов — знаменитой супружеской четы поэтов. Новизна затеи заключалась в том, что Роберт Браунинг, в отличие от Чосера и Шекспира, был еще жив и чрезвычайно популярен, хотя и не всегда понят современниками. Однажды, когда его попросили растолковать какие-то строки раннего стихотворения, поэт пошутил: «Прежде смысл этих строк понимали двое — господь бог и Роберт Браунинг, теперь понимает только господь бог». Более серьезно он высказался в частном письме: «Общество по изучению Браунинга и, разумеется, самого Браунинга всяк волен критиковать по-своему. Но в создании общества я неповинен, как нерожденный младенец... Я вовсе не браунингианец, и все преувеличенные похвалы — это, вероятно, реакция на пятьдесят лет упреков в непонятности, которыми осыпали мои книги». В самом деле, теперь литературоведы ударились в другую крайность. Кто-то заявил, например: «Поставьте Браунинга рядом с Шекспиром — и вы увидите, что в небе два солнца».

Как бы то ни было, поклонникам Браунинга хватало предметов для бесед. Вдохновителем и руководителем стал доктор Фредерик Джеймс Фернивэл. Блестящий текстолог, знаток Чосера и Шекспира, остроумный оратор, идеалист и добряк, Фернивэл показал себя и умелым организатором науки. Он был не только исследователем творчества Браунинга, но и другом поэта. Демократически настроенный, Фернивэл терпеть не мог фальши и напыщенности. После смерти Браунинга его биографы утверждали, что поэт принадлежал к старинной знатной фамилии Де Бруни. Фернивэл решительно не мог перенести обмана: он неопровержимо доказал, что дальний предок поэта занимал скромную, хотя и важную должность виночерпия в знатном доме. Более того, Фернивэл выступил в печати с протестом про-

тив посмертного «облагораживания» английских писателей, вошедшего в обычай. Вся работа общества по изучению Браунинга была построена на демократических началах.

Среди самых молодых членов общества был Томас Уайз — одержимый собиратель ранних изданий произведений супругов Браунинг. В 1884 г. он стал членом руководящего комитета общества, затем некоторое время был его секретарем.

Встречи Уайза с самим Браунингом, 76-летним патриархом, были редки, но все-таки были. Первый визит к нему (вместе с Фернивэлом) на Уорвик-кресчент, 19, мог обескуражить библиофильское сердце. Они застали старого поэта за печальным занятием: тот жег письма и документы, вынимая их из бездонного сундука. Потом Браунинг выудил откуда-то два экземпляра редчайшего своего юношеского издания «Паулина» (1833) и показал гостям. Биограф Уайза утверждает, что «маленькие глазки библиофила сделались большими при виде этих реликвий». Позже Уайз вспоминал: «Попроси я тогда у Браунинга один из них, — не сомневаюсь, я бы получил его, но, поколебавшись из скромности, я упустил случай». Впоследствии Уайз, пытаясь исправить ошибку, обратился к Браунингу с письменной просьбой — осчастливить его «Паулиной», но поэт довольно сухо отвечал, что один экземпляр он уже подарил приятелю, а другой завещает сыну. Уайзу ничего не оставалось, как с укоризной сообщить автору, что он приобрел «Паулину» за весьма крупную сумму. Браунинг прислал открытку с единственной фразой: «Thanks, unwise Wise» *. Уайз не утерпел и попросил автограф на купленной «Паулине». Браунинг написал: «Я с большим

*
«Благодарю, немудрый Мудрец». Здесь игра слов: wise по-английски значит «мудрый».

интересом смотрю теперь на эту книжечку, оригинальное издание которой едва ли стоило мне дороже, чем этот единственный экземпляр его нынешнему щедрому владельцу». Роберт Браунинг был убежден в бескорыстной преданности Томаса Уайза литературе. Впрочем, того же мнения десятилетиями держались все, кто знал несравненную библиотеку Эшли и ее обладателя.

Дотошным читателям сообщим, что уплатил Уайз за «Паулину» 30 фунтов стерлингов. А редкостью «Паулина» и в самом деле была чрезвычайной: в свое время она в продажу не поступала. Уайз даже уговорил Браунинга письменно подтвердить это: «Если вы в самом деле хотите иметь мое заявление черным по белому, вот оно: я охотно подтверждаю, что, по моему убеждению, ни один экземпляр первого издания «Паулины» не попал к покупателю».

В 1885 г. группа поклонников Шелли обратилась к Фернивэлу с предложением организовать общество «шеллианцев». Фернивэл охотно согласился, вспомнив вдобавок, что его отец — хирург лечил жену поэта Мэри Шелли и сиживал за скромной трапезой с будущим классиком. 26-летний Томас Уайз первым примчался на клич поклонников Шелли (тут-то он и познакомился с Бернардом Шоу). Шелли в живых давно не было, и изучать его было легче. Здравствующие наследники Шелли — его сын и невестка — активно сотрудничали с обществом. Ни одного доклада Уайз в обществе не прочитал, в обсуждении комментариев к сочинениям поэта и текстологических уточнений не участвовал. Зато на нем лежали важные обязанности — поддерживать материальное процветание обоих обществ.

И общество Браунинга и общество Шелли решили издавать факсимильные копии первых изданий произведений поэтов. Подписка распреде-

лялась среди членов обществ, а через них — и среди всех желающих. Начинание это было в те времена новое и непростое. Но библиофильский интерес к прижизненным первым изданиям классиков рос с каждым годом, доставать их становилось все труднее, а купить факсимильное воспроизведение означало приобрести за невысокую цену примерно то же, что ценится очень высоко. Связавшись с превосходно оснащенной по тем временам фирмой «Клей и сыновья», Уайз уже через месяц после создания общества Шелли восхитил своих сочленов неотличимым от оригинала воспроизведением «Адониса», а затем «Эллады» и т. д. В предисловии к «Элладе» Уайз захлебывался от восторга: «Это точная копия издания 1822 года, ибо с помощью соответствующих типографских средств здесь воспроизведены ошибки наборщика, сохранены неровно набранные строки и все другие особенности печати».

В 1886 г. Уайз выпустил от имени общества Браунинга тиражом 400 экземпляров факсимильную перепечатку «Паулины». Автор отказался написать предисловие и просмотреть примечания: ясно было, что он не одобряет затею и лишь скрепя сердце позволяет резвиться своим поклонникам. Этим, собственно, взаимоотношения Роберта Браунинга и Томаса Уайза исчерпывались. Однако через много лет после кончины поэта в устах знаменитого библиографа и литературного следопыта они приобрели несколько иной оттенок. «Я один из немногих ныне живущих, а может быть и единственный, — писал Уайз, — кто пользовался гостеприимством Браунинга». И заключал снисходительно: «Роберт Браунинг был великим поэтом, большим джентльменом и одним из добрейших и благороднейших людей на земле». Это предполагало весьма тесное знакомство.

Тираж «Паулины» распространялся строго среди

членов общества по изучению Браунинга, что не помешало Уайзу спустя четверть века, когда не было уже ни Браунинга, ни общества, через подставное лицо продать пухлую пачку «Паулин» образца 1886 г. В предисловии к «Паулине» Уайз писал: «Во всех отношениях, исключая бумагу, которую, как выяснилось, с идеальной точностью повторить невозможно, настоящая перепечатка может рассматриваться как превосходный и точный образец этого рода». Знатоки утверждают, что «Паулина» образца 1886 г. легко отличима от оригинала 1833 г., но увлеченным любителям можно простить преувеличения. Со знанием дела и пафосом Уайз защищал целесообразность подобных изданий: «Сама форма, в которой такие книги, как «Паулина», появились на свет, мила нашему сердцу; не имея оригинала, мы радуемся возможности получить его подобие. Истинный любитель книг находит наслаждение именно в этом тонком чувстве, а не в самом накоплении груды томов, потому что они любопытны и редки, как думают люди, не связанные с коллекционированием». О наслаждениях самого Томаса Уайза и благородстве его целей мы еще поговорим.

В марте 1924 г. в библиографическом журнале «Книжник» появилось заявление знаменитого библиографа Томаса Уайза: «Сэр! Разрешите мне со страниц Вашего журнала предостеречь публику насчет двух бессовестных подделок редких книг, во множестве экземпляров бесстыдно выпущенных в свет и пользующихся определенным успехом. Я веду речь об изданиях Шелли «Адонис» (Пиза, 1821) и «Эллада» (Лондон, 1822). Фальшивки, имеющие хождение, были изготовлены с экземпляров весьма редких теперь факсимильных изданий, выпущенных обществом Шелли в 1886 г. Мошенники вырвали мои предисловия и изваляли книги в пыли, рассчитывая при-

дать им соответствующий времени облик. Среди жертв обмана оказались два многоопытных антиквара-книжника, сбитые с толку внешне подлинным видом фальшивок. Сколько менее известных коммерсантов попались на удочку и сколько книг пересекли Атлантику, сказать невозможно». Поистине благородно негодование и праведен гнев нашего героя!



Обвинительное заключение



Томас Уайз — знаменитый библиограф и библиофил, участник многочисленных литературных и научных обществ, почтенный деятель уважаемой торговой фирмы и прочая и прочая на основании статей кодекса чести книжника и всякого порядочного человека обвиняется:

1

в том, что напечатал в типографии «Клей и сыновья» около 50 фальшивых «первоизданий» классиков английской литературы.

Мошенничество это было скорее книговедческое, чем литературное: Уайз не подделывал тексты писателей, не воспроизводил дополнительным тиражом известные редкие издания — он печатал в 1886—1905 гг. книги, которые *могли быть,* но *не были* изданы в 1820—1840-х. В те давние времена нередко бывало так, что начинающий поэт не решался выпустить свое произведение для продажи, он отваживался лишь на малое, так называемое *частное* издание, распространявшееся только среди близких друзей. А те умоляли авторов не лишать остальное человечество неведомого ему

шедевра. Тогда появлялось первое *обычное* издание. Поскольку частные издания выглядели скромно и неброско и поскольку первые обычные издания как бы перекрывали их — и тиражом и внешним обликом — эти истинно *первые* опыты с годами совершенно исчезали с букинистической сцены, становясь редкостью и ценностью исключительной. Эти-то особенности книжно-литературной истории и попытался использовать к собственной выгоде и славе Томас Уайз. Его осенила оригинальная идея — выбрать стихотворения знаменитых авторов из реальных первоизданий и собрать их в мифические, никогда не существовавшие «праиздания», поставив, разумеется, более раннюю дату. Тираж определял (и знал о нем!) практически один только Уайз. Типография была уверена, что выполняет заказ общества (Браунинга, Шелли), имитируя всем известные редкие книги, да и вообще не вдавалась в детали, поскольку действовала по просьбе и под руководством известного знатока книг. Имитация типографическая была на достаточной высоте, благодаря чему обман оставался не раскрытым с 1886 по 1934 год! Будущий разоблачитель Уайза, известный книговед Джон Картер писал много позже (в 1964 г.): «Его притворство в замысле, выполнении, создании легенд и, наконец, в торговле «брошюрами XIX столетия» было столь блистательным, что оно занимает почетное место в истории книжного собирательства как урок для будущих поколений».

Впрочем, помимо чисто типографической мистификации тут сыграл свою роль и психологический эффект: никому (или, как убедится читатель — почти никому!) не приходило в голову, что появлявшиеся на аукционах или в каталоге букиниста «праиздания» П. Б. Шелли, Дж. Г. Байрона, А. Теннисона, Ч. А. Суинберна, Т. Карлейля, Ч. Диккенса, У. Вордсворта, У. Теккерея, Р. Л. Стивен-

сона, Дж. Рёскина, Р. Киплинга и других знаменитостей суть бессовестная подделка;

2

в том, что в течение полувека он хитроумнейшими способами рекламировал и продавал созданные им же самим фальшивки, внедряя их в сознание книжного мира как общеизвестные неоспоримые подлинники.

Какую изощренную жульническую методологию разработал и, совершенствуя, применял Уайз! То он с почтением приносил в дар какое-нибудь из своих «50 одиозных» созданий, как их стали потом называть, Британскому музею — вскоре книга попадала в печатный каталог национального книгохранилища и оказывалась «узаконенной». То он подсылал с этой же целью в Британский музей подставных лиц, якобы обнаруживших у себя дома старую, не ведомую никому книжонку и готовых ее продать, — дальнейшее понятно. То он нанимал двух агентов, которые, яростно торгуясь друг с другом, вздували на аукционе цену очередной уайзовской фальшивки до невероятных высот (при этом они и понятия не имели, что сражаются за «липу»). Но, пожалуй, излюбленным методом преступника было включение «обманных» изданий наряду с вполне достоверными в превосходные биобиблиографические указатели о писателях, которые составлял он же — Томас Уайз. Эти указатели (Шелли, Байрон, Браунинг, Борро и другие) читаются как своеобразные библиографические романы — в них, наряду с историей реальных книг, завлекательно рассказывается история изданий, никогда не существовавших! Наконец, все фальшивки (точнее — *почти* все, за некоторые он особенно опасался!) Томас Уайз включил в свой библиофильско-библиографический апофеоз — 11-томный каталог Эшли, над которым он трудился последние двадцать лет

жизни, прекратив «фальшивопечатную» деятельность, но вовсе не отказавшись ни от рекламы «50 одиозных» книг, ни от других махинаций;

3

в том, что на протяжении первого десятилетия XX века он систематически грабил Британский музей, вырезая листы из десятков изданий драматических произведений XVII столетия (так называемой Елизаветинской драмы).

Покупая в различных местах дефектные экземпляры Елизаветинских драм, Уайз пополнял их за счет превосходных экземпляров, в основном завещанных английскому народу великим актером Дэвидом Гарриком (1717—1779). Это преступление Томаса Уайза совершено с целью прямой наживы и подлежит рассмотрению уже не в «суде чести книжника», а в обычном уголовном суде. Между прочим, неопровержимые доказательства вины Уайза по этому пункту обвинения были представлены лишь в... 1956 г.!

4

в том, что долгие годы он занимался пиратскими перепечатками произведений английских писателей, не спрашивая на то разрешения ни у авторов, если они были живы, ни у их наследников.

С этой целью Уайз пользовался добытыми им рукописными архивами писателей; в ряде случаев он превращал в отдельные издания давние журнальные публикации, перепечатывая их нарочито малыми тиражами — для создания искусственных редкостей;

5

в том, что он бесстыдно морочил английскую литературную науку: в сотни монографий и тысячи статей, принадлежащих самым уважаемым авторам, по злой воле Уайза, попали заведомо ложные сведения об истории изданий произведений английских писателей. Фальшивки Уайза повсеместно про-

возглашались «первыми», «уникальными», «ценнейшими» первоизданиями классиков;

6

в том, наконец, что он нанес огромный материальный урон (не говоря уже о моральном!) многим поколениям библиофилов — и не только английских, которые с вожделением искали и с восторгом приобретали за огромные суммы то, что не стоило и ломаного гроша.

Расскажем подробнее несколько эпизодов из пухлого «дела» Томаса Уайза, которое официально так и не было заведено.

Эпизод первый
Любовь и спекуляция

Этот сюжет обязательно оказывается в центре всех публикаций о Томасе Уайзе — биографических (У. Партингтон), книговедческих (Дж. Картер *), популярно-исторических (А. Томас **) и др. Да и сам он в библиографическом справочнике, посвященном поэтессе Элизабет Баррет Браунинг, соткал столь прочную сеть поэтической легенды, что уже не смог из нее выбраться без увечий.

Но любовь — одна из самых поэтических страниц истории английской литературы — была на самом деле. Знаменитые английские поэты Браунинги стали супругами уже не в молодом возрасте. В 1840-х годах Элизабет Баррет серьезно болела и по воле деспотичного отца почти не покидала инвалидного кресла. Сначала было знакомство со стихами друг друга, потом какая-то случайная встреча, переписка — по два письма в день — и романтический побег почти 40-летней, казалось бы

*

Carter J., Pollard G. An Enquiry into the Nature of Certain Nineteenth Century Pamphlets. L., 1934.

* *

Thomas A. Great Books and Great Libraries. L., 1980.

безнадежно застрявшей в девичестве, поэтессы к возлюбленному (1846). Потом — помолвка, тайное венчание, долгое путешествие по Италии, рождение единственного сына и счастливое супружество.

Переписку Браунингов, относящуюся к тем временам, когда они еще не были женаты, выпустил в свет их сын в 1898 г. (до самой смерти Элизабет в особой шкатулке повсюду возила с собой эти тщательно подобранные по порядку письма, называя их «своим Кораном»). Но есть и еще один, литературный памятник этой любви. В «отеческом плену» Элизабет Баррет написала цикл сонетов о любви к Роберту Браунингу. В Италии, примерно через полгода после свадьбы, Элизабет отважилась отдать их мужу, предупредив, что, если сонеты покажутся ему литературно слабыми, она тотчас их уничтожит. Роберт хотел по обычаю, между ними заведенному, прочесть стихи вслух, но Элизабет попросила не делать этого и удалилась в свою комнату. Он читал:

...Молю тебя, чтоб не жалея слов,
Ты говорил мне про свою любовь,
Вседневно повторяя вновь и вновь,

Как будто бесконечный счет кукушки
В долинах нежных, на плечах холмов,
Среди деревьев на лесной опушке...

Тронутая его восхищением, Элизабет согласилась напечатать сонеты, но Браунинги решили по возможности скрыть автобиографический характер стихов, поставив маскирующий подзаголовок: «с португальского» (Роберт Браунинг иногда называл Элизабет «маленькая португалочка» — во-первых, у нее была смуглая кожа и, во-вторых, одно из ее известных стихотворений было посвящено португальскому поэту Камоэнсу). В многочисленных работах английских литературоведов давно отмечено, что «Сонеты (с португальского)» Элизабет Баррет

Браунинг впервые были напечатаны в 1850 г. в двухтомнике ее сочинений.

Всю эту историю со многими подробностями и вариантами, не уместившимися в нашем рассказе, досконально знал Томас Уайз. Как, подумал он, Элизабет показала мужу сонеты в 1847 г., но до 1850-го они не появлялись в печати?! Быть не может! Тогда мистер Уайз — надо отдать должное игре его воображения — решает в 1887 г. сконструировать книжечку, помеченную 1847 г., и, тщательно продумав все типографские детали, заказывает ее «Клею и сыновьям».

Нужна была надежная легенда, в которой излагалось бы происхождение этого издания, не попадавшегося на глаза ни одному человеку.

Итак, рассуждал он: получив одобрение Роберта Браунинга, единого в трех лицах (мужа, поэта и героя «Сонетов»), Элизабет решилась их напечатать, не откладывая *. Уайз знал, что ближайшая подруга Элизабет Браунинг писательница мисс Мэри Митфорд жила в городе Рединге. Почему бы поэтессе не воспользоваться ее услугами и не поручить ей в глубокой тайне отпечатать частное издание «Сонетов (с португальского)»? Таким образом, место «издания» было определено: Рединг. Рядом стояла обычная в этих случаях ограничительная надпись: «не для публикации». Что касается даты, то она во всяком случае должна была существенно опережать время действительно первого появления «Сонетов» в печати — 1850-й год. Уайз выбрал 1847-й как первый год совместной жизни Браунингов: чувства, вызвавшие к жизни сонеты, были еще свежи, — рассуждал он, — тогда-то и могла разыграться вся эта мелодрама. Тут, правда, Уайз

*

В запасе у Уайза был и другой вариант: там, в Италии, в 1847 г. Элизабет показывала мужу не рукопись, а втайне от него уже отпечатанную частным изданием книжку.

несколько оплошал. Хорошо знавшие Р. Браунинга д-р Фернивэл и известный критик и эссеист сэр Эдмунд Госсе (честнейший и талантливый человек, многолетний приятель Уайза, он особенно претерпел от выходок «дорогого Тома», став в ряде случаев орудием в его руках) писали, что Браунинг впервые услышал о «Сонетах» и прочитал их вовсе не в 1847-м, а в 1849 г., когда родился сын, и вовсе не в Пизе, а в Банья-Луке. Фернивэл поясняет: «Роберт сам мне это рассказывал». Версии Фернивэла — Госсе появились в печати в 1893—1894 гг. Как теперь поступить Уайзу, у которого в тайнике давно уже хранились экземпляры «Сонетов (с португальского). Рединг, 1847»? Отказаться от хитроумного плана и сжечь фальшивку? Отнюдь нет — это было не в его духе.

Он развивает свою версию и начинает с того, что подсовывает книжку Эдмунду Госсе вместе с легендой о мисс Митфорд (давно почившей, разумеется). При этом, как опытный мошенник, предлагающий покупателю товар-наживку, он сохраняет полнейшее хладнокровие и притворяется удивленным: «Как, разве я вам не говорил, что «Сонеты» выходили частным изданием в 1847 году? Да вот же они, полюбуйтесь!» Теперь войдем в положение Госсе. О каком-либо обмане ему и думать не приходилось: коллега-библиофил с безупречной репутацией одаривает его первоклассной находкой и, скромно отказываясь от чести первооткрытия, предлагает ему, Госсе, первому сообщить об этом человечеству. И вот, беззлобно пошутив («Томас Уайз в день Страшного суда объявит, что Книга Бытия — это не первое издание»), Госсе в одно из своих предисловий к сочинениям Элизабет Браунинг включает такой пассаж: «Впоследствии настал день, когда она решилась позволить своему другу мисс Мэри Митфорд, которой супруги Браунинги в свое время переслали рукопись «Сонетов», на-

печатать их; но в то же время Э. Б. категорически отклонила предложение поместить их в каком-нибудь модном ежемесячнике. Вот и появился на свет маленький томик, озаглавленный «Сонеты (с португальского), переложенные Э. Б. Б.; Рединг, 1847; не для публикации, в 8-ю долю листа, 47 с».

Теперь Уайз мог, казалось, успокоиться и потихоньку «отыскивать» экземпляр за экземпляром, вынимая их из своего шкафчика. Но душа его долгие годы была неспокойна. Нет, не совесть мучила, а боязнь разоблачения! Во-первых, он «зевнул» в корректуре своей фальшивки нелепую опечатку, которой не было ни в одном истинном издании *; во-вторых, то и дело кто-нибудь задавал вопрос: откуда появляются все новые и новые экземпляры этого старого частного издания, да еще в идеальном виде, да еще без малейших следов чьего-либо чтения и т. п. И вот, в 1918 г., выпуская в свет отменно составленную «Библиографию сочинений в стихах и прозе Элизабет Баррет Браунинг» (опять-таки с грифом «Напечатано исключительно для «частного обращения» фирмой Ричард Клей и сыновья») **, он находит нужным подновить оперение свой любимой «утки», помещенной в «Библиографии...» под № 12.

Вот как это делается: «История тоненькой книжечки 1847 года, — заявляет маститый библиограф Томас Уайз, — была уже столь подробно изложена, и романтический эпизод, с нею связанный, столь хорошо известен, что нет смысла к нему возвращаться в подробностях. Напомним все же, что со-

*

В строке 10-й XX сонета: «Never to feel *thee* thrill the day or night» пропущена буква и возникло нелепое смысловое искажение: «Never to feel *the* thrill the day or night».

* *

Эта книга переиздана в Лондоне факсимильным способом в 1970 г. с оговоркой на обороте титульного листа: «Печатается без каких-либо изменений по изданию 1918 г.».

неты были задуманы Элизабет Баррет во время ее романа с Робертом Браунингом и в основном завершены, когда она возлежала в инвалидном кресле в доме своего отца на Уимпол-стрит. Но не ранее чем через полгода после свадьбы они были отданы автором тому, чья любовь их вдохновила. Мистер Госсе сообщил, основываясь на сведениях, полученных от самого Браунинга за восемь лет до смерти (великолепный прием «двойного алиби»! — *В. К.*), что весной 1847 г. в Пизе пачка листков скользнула из руки поэтессы в руку ее мужа... Трудно сказать, сколько же экземпляров было отпечатано — никаких данных на этот счет еще не обнаружено». Не признаваться же, в самом деле, что «точные данные» находятся в собственном шкафчике! И он продолжает: «Некоторое время сборник был совершенно неизвестен, но в 1886 г. доктор У. К. Беннет, интимный друг мисс Митфорд, владевший значительным числом ее писем и других бумаг, обнаружил 10—12 экземпляров «Сонетов», некогда полученных им от издательницы».

Итак, появляется новый персонаж, отнюдь не вымышленный, но, разумеется, также сошедший с жизненной сцены. И в этом вся соль: не подбрасывать же было Госсе версию Беннета, когда последний еще здравствовал! Однако следовало выпутаться еще из одной неувязки: под 44-м сонетом, опубликованным в «Сочинениях», стоит дата: «1850». Он был написан поэтессой как постскриптум к остальным, и Уайз, естественно, сообразил не включать его в книжку с датой «1847». Со временем Уайз раздобыл рукопись сонета и теперь «укрепляет бастионы»: «В один из экземпляров, посвященный автором мисс Митфорд и предназначенный только для нее, был вложен сонет «Будущее и прошедшее», факсимиле которого я привожу с оригинала. Элизабет Браунинг передала манускрипт своей подруге мисс Митфорд в 1850 г., чтобы та могла

присоединить 44-й сонет к 43, напечатанным в книжке, и образовать полный комплект. Мисс Митфорд вклеила 44-й сонет в свой экземпляр издания 1847 года». Ну, в самом деле, когда сообщаются такие конкретнейшие детали, кому в голову придет, что «издание 1847 года» было выпущено в свет сорок лет спустя! Дочитаем басню Уайза до конца: «Этот сонет оставался там и после того, как мисс Митфорд по просьбе Браунинга возвратила ему оригиналы 43 сонетов, посланных ей для напечатания. (Надо же объяснить, почему рукописи 43 сонетов оказались в распоряжении сына Браунингов. Уайзу посчастливилось в 1913 г. купить на распродаже только 44-й! — *В. К.*) Я приобрел этот экземпляр у доктора Беннета, и он принадлежит к ценнейшим моим книжным владениям. Второй, особенно драгоценный экземпляр «Сонетов» также находится в моей библиотеке. Он составляет центральную часть томика in quarto, переплетенного в красный марокен и озаглавленного «Память о мистере и миссис Браунинг и сонеты Э. Б. Б.». Книжка сохранена в первоначальном виде и лишь оправлена в особый футляр. В передней крышке переплета с внутренней стороны сделано крошечное углубление, в котором, защищенная стеклом, покоится прядь темно-каштановых волос миссис Браунинг». Так спекуляция расправляется с любовью!

Уайз вскользь сообщает также, что заявление Браунинга-младшего, будто сонеты специально переписывались в 1849 г. для первого издания и других рукописей не существует, — «неточность». Не забыл он и бытовую сторону своего знакомства с мистером Беннетом: «Где-то примерно в 1885 г. — точная дата изгладилась из моей памяти — я был представлен доктору У. К. Беннету, старому холостяку, жившему в районе Кемберуэлл. Он поведал мне о своей дружбе с мисс Митфорд и о том, что владеет экземплярами частным образом напечатан-

ных „Сонетов", полученными из ее рук. В конце концов он пригласил меня осмотреть их и высказать свое суждение об этом и других литературных сокровищах, ему принадлежащих. И вот как-то к вечеру, после дня, проведенного на бирже, я отправился на Виктория-стрит к учреждению, где служил в скромной должности бухгалтера мистер Беннет, чтобы сопровождать его домой в Кемберуэлл. Помнится, нас там ожидал ужин: крепкий чай, горячие тосты с маслом и сосисками (Уайз всегда считал, что в искусном вранье особенно убедительны мелкие детали! — *В. К.*). Когда хозяйка квартиры мистера Беннета убрала со стола, он разложил передо мной письма и книги, и среди них было то, к чему я больше всего стремился, — „Сонеты"».

Все эти «реалистические подробности» появились уже не в 1918, а в 1929 г., когда Уайз выпустил книгу «Библиотека Браунингов» (т. е. библиографию всех изданий обоих поэтов). Поведав читателям, что он купил «два экземпляра», Уайз добавляет, будто он тут же поделился новостью с друзьями-библиофилами и некий его друг, чье имя Уайз сперва обозначил тремя точками, последовал его примеру. Остальные экземпляры мистер Беннет, убедившись в их ценности, якобы продал «разным лицам». Мистеру Беннету (как и мисс Митфорд, как и самим Браунингам) с того света было сложно схватить Уайза за руку. В то время, когда Уайз работал над корректурой «Библиотеки Браунингов», скончался Эдмунд Госсе, и Уайз, облегченно вздохнув, заменил три точки полным именем своего «незабвенного друга». Трудно даже представить себе, что пережил бы Эдмунд Госсе, узнав, что его безупречным именем прикрывают циничнейшую из книжных спекуляций. Кончается эта библиоманическая сюита таким славным аккордом: в Британском музее, скромно сообщал библиограф, нет издания «Сонетов» 1847 г. Значит, он все же устоял

перед искушением через подставное лицо подбросить «Сонеты» в музей, как делал в других случаях.

Конечно, в Лондоне на Бейкер-стрит жил и в конце 1880-х годов активно действовал человек, который мог бы разоблачить всю эту неприглядную историю гораздо раньше, не дожидаясь 1934 г., когда она, наконец, выплыла на свет. Тем более, что знаменитый сыщик мистер Шерлок Холмс, несомненно, по достоинству оценил бы необычность сюжета и раскрутил бы его пружины. Но то ли он был перегружен, то ли не интересовался библиофильскими делами, то ли его приятель мистер Артур Конан Дойл, хорошо знавший Уайза — библиофила и библиографа, вовремя не заметил второй лик Януса и не представил его своему проницательному герою.

Вот и пришлось миссию Шерлока Холмса взять на себя другим лицам.

Эпизод второй
Как библиоман миллионера обманул

Единственное книгохранилище в мире, которое в наши дни может похвастаться тем, что обладает полным комплектом уайзовских фальшивых первоизданий, — университетская библиотека города Остин (штат Техас, Соединенные Штаты Америки). Здесь собрано 50 брошюр, сфабрикованных Уайзом, и вдобавок несколько наборных оригиналов, с которых они печатались. Какие же превратности судьбы занесли их в такую даль?

С Джоном Ренном Уайз познакомился в 1892 г. Чикагский богач прибыл в Лондон, чтобы вступить в состязание с американскими библиофилами-гигантами Хантингтоном и Морганом в легальном ограблении книжной Европы во имя «благородной цели» — просвещения американского народа в лице его миллионеров. Однако он все же несколько опоздал к дележу: сливки были сняты, цены росли,

да и организационные трудности возникали немалые. Как и его предшественникам, Ренну понадобился торговый агент, который одновременно был бы и опытным библиографом-книговедом. Провидение услужливо подбросило ему Томаса Уайза. С тех пор американец ежегодно появлялся в Англии, откуда вместе с Уайзом и его супругой (сначала первой, потом, как увидим, — второй) отправлялся на книжную охоту в континентальную Европу. Нужно ли добавлять, что чета Уайзов путешествовала бесплатно на американские деньги? Гордой мечтой Ренна, во многом сбывшейся, было собрать при помощи европейского консультанта точную копию библиотеки Эшли, уже тогда казавшейся недостижимым образцом. Двадцать лет продолжалась трогательная книжная дружба чикагского дельца, ворочавшего миллионами, и едва ли не нищего, в сравнении с ним, но обогащенного великими познаниями и небывалой душевной щедростью лондонского библиофила-маслоторговца. С детским восторгом неофита американец воспринимал любые уроки учителя, восторгаясь своей множившейся и все прибавлявшей в цене коллекцией. Он так до самой смерти и не узнал некоторых теневых сторон деятельности Томаса Уайза и перешел в мир иной с сознанием до конца выполненного культурного долга, без каких-либо разочарований. Томас Уайз в предисловии к 5-томному каталогу библиотеки Ренна с легкой грустью изображает такую идиллию: «Два десятилетия мы работали вместе. Чтобы избежать ненужного соперничества и предотвратить какие бы то ни было недоразумения, мы договорились, что каждый из нас будет иметь преимущественное право на редкие издания тех или иных авторов, появляющиеся на книжном рынке. Ну, скажем, мне принадлежал приоритет на Шелли, Драйдена, ранние пьесы ин-кварто; Ренну отдавалось предпочтение, когда речь шла, например, об А. Попе

и т. д. Во исполнение этого соглашения Ренн охранял мои интересы в Америке, а я соблюдал его интересы здесь. В результате лишь небольшое число посланных мною книг — да и то маловажных — возвратилось ко мне из Штатов, а подавляющее большинство книг, купленных мною для него в Англии, прижилось в Чикаго».

Как же было на самом деле? Да вот, например, так. Уайз, который чуть ли не каждое воскресенье писал Ренну о своих находках и вообще событиях на европейском книжном рынке, сообщает американскому другу, что там-то и там-то за такую-то цену продается интересная библиотека и жемчужина ее — такая-то (разумеется, одна из «50 одиозных» — подделок Томаса Уайза). Ренн готов раскошелиться. Но вскоре следует разочаровывающая депеша Уайза: владелец раздумал продавать библиотеку, необычайная редкость уплыла из рук. Ренн в отчаянии, он сгорает от желания обладать книгой. Однако бескорыстный и неутомимый английский друг «непостижимым образом» (а на самом деле — у себя дома!) находит другой экземпляр необычайной редкости — разумеется, за удесятеренную цену и требует срочного телеграфного ответа от американца, купить ли для него эту книгу. Ренн в восторге. Рыбка поймана! Такое вот у них было равноправное партнерство. А скольких несуществующих родственников существовавших некогда поэтов придумал Уайз для Ренна по ходу этой забавной игры бедной кошки с богатой мышкой!

Что же касается тщательно взвешенных заявлений в предисловии к каталогу, то ведь они сделаны после смерти Ренна и вполне отвечают обычной практике Уайза. Уж очень заманчивым ему показалось изобразить двух благородных коллекционеров, разделивших мир на «сферы влияния». Правда же в том, что всеми правдами и неправдами Уайз стремился всучить американцам (Ренн был не единст-

венным, хотя и крупнейшим его клиентом в США) наряду с действительными редкостями свои подделки. По-видимому, он пользовался для этого и услугами подставных лиц. Никаких сфер влияния не было: Уайз заботился об абсолютной полноте Эшли в избранных областях и мог продавать Ренну лишь дублеты редких изданий английских поэтов. В свою очередь Ренн никак не мог оказывать Уайзу посреднические услуги на книжных аукционах в США: он не был профессиональным книжником. И все же в ряде случаев он покупал и переправлял Уайзу редкую «Американу», из которой сей последний извлекал немалый доход.

На протяжении двадцати лет Уайз зарабатывал на услугах Ренну не менее тысячи фунтов в год. Эту вполне реальную цифру он сам назвал, приказывая своему мальчику на побегушках Герберту Горфину поаккуратнее упаковывать пачки для пересылки в Чикаго. А мальчик, когда вырос, вспомнил давнее признание патрона. (Герберт Горфин еще появится на наших страницах, и мы будем иметь случай представить его читателю.)

В библиотеке Ренна ко дню его смерти собралось более шести тысяч томов, и чуть ли не три четверти всей коллекции были присланы Уайзом. Среди них пышным цветом цвели фальшивки, пиратские издания и прочие произведения ума и таланта нашего героя. По подсчетам хранителя библиотеки Ренна, только явные подделки обошлись чикагскому любителю книжных раритетов почти в 5 тыс. долларов.

Нагнетая ажиотаж вокруг действительных и мнимых редкостей, забрасывая Ренна заманчивыми предложениями, то соблазняя его, то разочаровывая (вспомните, например, историю с «Виктором и Казирой»), Уайз помогал перекачивать европейские книжные ценности за океан. Тем, кто на протяжении полувека видел почтенного маслоторговца в

библиофильской маске и белых перчатках, это открытое пренебрежение национальными книжными интересами могло показаться невероятным. Нам-то теперь ясно, что, спекулируя раритетами (отчасти — фальшивыми), Уайз просто-напросто выступал в иной своей ипостаси. Этому, второму Уайзу было совершенно безразлично, окажутся ли первоиздания английских классиков в Британском музее или в Чикаго; английские национальные интересы (кроме интересов библиотеки Эшли, разумеется) его не волновали.

Странным кажется другое: биограф Уайза, также полвека проработавший в английском книжном деле, Уильям Партингтон, рассказав об этой деятельности Уайза, добавляет: «Несведущая публика в Великобритании склонна полагать, что путешествие через Атлантику такого количества наших литературных реликвий — это грабеж английских библиотек. Никогда не было большей ошибки и более ограниченного подхода. В большинстве случаев готовность поделиться раритетами делает честь нашей щедрости. За редкими исключениями они представлены в наших национальных библиотеках, не говоря уж о частных коллекциях, которые, несмотря на распад многих из них в последние два десятилетия (написано в 1946 г. — *В. К.*), являют собой зрелище впечатляющее. Скажем, едва ли в Америке имеется 7 тысяч книг XV столетия, а у нас их столько в одних лишь публичных библиотеках». Американские библиофилы в наши времена куда богаче английских — и не только инкунабулами. Среди прочего к этому привело и прекраснодушие знатоков книги. Между тем в США (по крайней мере до прихода доктора Розенбаха) подлинных экспертов по европейской книге не было вовсе. Вот почему Ренну, как и Моргану или Хантингтону, необходим был свой Уайз. Однако чикагскому миллионеру не повезло — он наскочил на мошенника

поистине уникального. Впрочем, ведь Ренн оставался в неведении на сей счет до самой кончины. Парадоксов в этой истории хоть отбавляй. Расскажем еще об одном из них.

В 1944 г. в Техасе была издана переписка Ренна с Уайзом. В общем, в свете всех уже прогремевших к тому времени разоблачений, роль Уайза в ней выявляется достаточно верно. Но в предисловии публикатора (Ф. Рэтчфорд) услуги Уайза изображены как вполне бескорыстные. Он, выясняется, был «не жадным по натуре, всегда доброжелательным и справедливым в коммерческих сделках». Он, оказывается, даже комиссионных не брал! А зачем ему комиссионные? Да и о каких комиссионных может идти речь между побратимами-библиофилами? Все было гораздо проще. Вот, например, Уайз предлагает Ренну первое издание «Потерянного рая» Джона Мильтона за 80 фунтов. Дорого, отвечает Ренн, я готов заплатить только 70. Уайз вздыхает через океан, но соглашается: чего не сделаешь для собрата. Впоследствии из опубликованных писем Уайза (к третьему лицу) выясняется, что этот экземпляр «Потерянного рая» стоил ему *55* фунтов. Чистую прибыль легко подсчитать. Или пример похлеще. На книге Браунинга «Беглый раб» (из числа уайзовских подделок!) имеется запись американца: «Приобретена у мистера Андервуда 4.10.1908». Аналогичная помета на «Клеопатре» Суинберна (подделка Уайза!) и других книгах. 84 издания, значительная часть которых — его собственные изделия, «приобрел» мистер Уайз для мистера Ренна у мистера Андервуда, никогда в природе не существовавшего! Выручка Уайза на этой, не самой изощренной из его афер — 650 фунтов.

Игра в кошки-мышки с Ренном доставляла почтенному лондонскому библиофилу и доход, и удовольствие. В следующем сюжете нас ждет еще некоторое развитие этой темы.

Эпизод третий
Трагедия Елизаветинской драмы

Примерно тогда, когда часы на башне Биг Бен возвестили Англии, что XIX век уступил место веку XX, Томас Уайз оставил стезю библиофила-фальшивопечатника и подделывателя книг. Однако до конца своих дней он оставался библиографом-фальсификатором, ибо все подделки, выпущенные им в 1880—1890-х гг., по-прежнему как величайшие ценности хранились в шкафах собирателей, регистрировались в каталогах и библиографиях, всерьез принимались исследователями при анализе творчества писателей и биографами при описании их жизни.

Между тем герой наш тратил время отнюдь не на мучения совести. Прежде чем описать новый подвиг этого Геракла книжной фальсификации, посвятим несколько строк его делам личным и коммерческим. В 1895 г. Томаса Уайза покинула жена. Возможно, из-за того, что маслоторговец-библиограф категорически не желал иметь детей. Если приятели, шутя, спрашивали его: «Ну когда же нас пригласят на крестины наследника?», Уайз отвечал: «Какие еще дети! Разве можно позволить себе иметь детей? Каждый стоит добрую тысячу фунтов. А сколько прекрасных книг я могу накупить на эти деньги!» Скорее всего, он шутил. Впрочем, частная жизнь на Эшли-роуд была покрыта мраком неизвестности. Через несколько лет после своего бегства из царства книг Селина Уайз получила официальный развод. На пороге нового столетия Томас Уайз вступил во второй брак — с мисс Френсис Луизой Гринхолг. Она самоотверженно помогала супругу в упорядочении библиотеки и подготовке библиографий и каталогов, но, скорее всего, не ведала о «побочных продуктах его творчества».

В 1906 г. в деловой жизни Уайза произошло важное событие: из служащего фирмы эфирных

масел он превратился в компаньона ее владельца Отто Рабека-младшего. Под вымышленной фамилией Смит они основали дочернее предприятие. Много лет спустя, когда к Отто Рабеку явились репортеры за сведениями о деятельности Томаса Уайза, бывший маслоторговец, а к 1930-м годам торговец живым скотом, оказался неразговорчивым. Он пробормотал что-то насчет отсутствия связи между библиографией и ароматическим товаром. Да и какой интерес для прессы могла представлять активность Уайза в Сити на рубеже веков? Вроде бы и в самом деле — никакого. Однако несложные поиски в архивах Британского музея открыли любопытную деталь: не кто иной, как Отто Рабек, в 1890 г. продал в библиотеку музея четыре брошюры — первоиздания классиков, дотоле никому не ведомые, а в 1934 г. разоблаченные как уайзовские фальшивки. При этом мистер Рабек записался в регистрационной книге музея как член общества архивистов и собирателей автографов; он даже заявил, что готовит монографию «Рукописи Вальтера Скотта». Легко догадаться, кто стоял за его спиной. Значит, сомневаться в том, что уайзовские подделки можно было отличать и по аромату эфирных масел, не приходится. Забегая вперед, отметим, что библиография оказала торговле маслами любопытную услугу. В начале первой мировой войны несколько морских судов с оливками — сырьем для фирмы Рабек — застряли где-то в районе Гибралтара и не имели никакой надежды достичь берегов Британии. Пришлось Уайзу через своих аристократических друзей по библиофилии, библиографии и литературоведению (в частности, через Э. Госсе) обратиться с просьбой о помощи к тогдашнему министру обороны и первому лорду Адмиралтейства сэру Уинстону Черчиллю. Ароматическое сырье было включено в список стратегических грузов и прибыло в Лондон под охраной военных кораблей.

Первое десятилетие XX века было особенно продуктивным для Уайза-библиофила. В конкурентной борьбе с соотечественниками, а еще более — с гигантами американской библиофилии он превратил библиотеку Эшли в подлинную сокровищницу английских первоизданий. К тому времени на книжный рынок попало довольно много тоненьких книжечек формата in quarto так называемой Елизаветинской драмы — изданий пьес, выпущенных в 1-й половине XVII века и несколько позже. Между прочим, такими книжечками была богата и Филипсиана, и перераспределение ее сокровищ также сыграло свою роль в библиофильском буме вокруг этих брошюр. Агенты Генри Хантингтона устроили в Англии форменную охоту за Елизаветинской драмой, и Томас Уайз выступил в роли англичанина-патриота, который, стремясь собрать у себя в библиотеке полный комплект Елизаветинской драмы, тем самым охраняет национальное достояние. Ведь он давным-давно заявил, что библиотека Эшли после его кончины будет безвозмездно завещана нации, а именно — Британскому музею. Стало быть, Уайз вел «драматические сражения» как бы не столько для себя, сколько для общественной пользы.

Историк английского книжного собирательства Сеймор Риччи замечал в связи с этим: «Количественно Британский музей настолько богат, что переоценить его фонды невозможно. Но едва ли там есть дюжина английских первоизданий, которые по сохранности можно сравнить с экземплярами из библиотеки Уайза. Многие ценные «первые» в музее находятся в столь же печальном состоянии, как статуи в соборе св. Петра в Ватикане, зацелованные паломниками. Прибавить библиотеку Эшли к сокровищам Британского музея значило бы дать его хранителям то, в чем они более всего нуждаются: книги, к которым они не позволят прикоснуться людям XX века во имя читателей XXI века».

Библиотека Эшли, хоть и с приключениями и не в абсолютной полноте, но все же оказалась в Британском музее, так что мечта С. Риччи исполнилась. Но вот вопрос — какой ценой достигалась поразительная сохранность и «девственная чистота» уайзовских книг?

*

Известный английский библиограф сэр Уолтер Грег, предприняв в 1920—1930-х гг. для своей «Библиографии печатных изданий английской драмы» сплошное обследование экземпляров Британского музея, с горечью убедился в том, насколько прав был Сеймор Риччи: самые лучшие на вид quarto Елизаветинской драмы на поверку оказывались дефектными. Более того — варварски искалеченными. То не хватало в них титульного листа, то каких-нибудь страниц в середине, то оказывался вырванным целый акт пьесы. Особенно странным показалось, что печальную картину разрушения являли собой и превосходно переплетенные и, видно, с библиофильским тщанием оберегавшиеся книги из библиотеки великого актера Дэвида Гаррика, завещанные им музею.

В 1956 г. в «Таймс» появилось сенсационное сообщение: недостающие во многих экземплярах Елизаветинской драмы, хранящихся в Британском музее, листы обнаружены в самом же музее, а также в ...Техасском университете. Внимательное изучение Эшли, поступившей в Британский музей, а также библиотеки Ренна, пожертвованной в университет американского штата Техас *, неопровержимо доказало, что в экземпляры Уайза и Ренна были искусно вплетены вместо отсутствующих или испор-

* Техасские библиотекари пошли навстречу британским коллегам и прислали все запрошенные экземпляры Елизаветинской драмы для исследования в Лондон. Мисс Ф. Рэтчфорд получила даже специальную стипендию для сопровождения книг.

ченных листы идеальной сохранности из книг Дэвида Гаррика, короля Англии Георга III и других фондов музея. Вор уже не мог быть наказан, но разоблачен был безоговорочно. Им оказался один из попечителей Британского музея, имевший неограниченный доступ к его богатствам, блестящий библиограф, непревзойденный книжный эрудит мистер Томас Уайз.

Из ранних quarto Елизаветинской драмы были украдены 206 страниц. 89 из них обнаружились в экземплярах Эшли, 60 — в книгах бывшей библиотеки Ренна, судьбу остальных с точностью проследить не удалось. Но хорошо известно, что Ренн был не единственным американским клиентом Уайза. По ходу расследования, между прочим, обнаружилось, что экземпляр не имеющей отношения к Елизаветинской драме книги А. Попа «Опыт о человеке», некогда исчезнувший из музея, мирно покоится в Эшли, сменив только переплет. Сотрудники музея не теряют надежды и на дальнейшие находки, но все же, по-видимому, главной приманкой похитителя была Елизаветинская драма.

Собственно, первые подозрения закрались вскоре после того, как в 1938 г. Эшли водворилась в музее. Ведь ее надо было каталогизировать. И тут, при просмотре экземпляра пьесы Бена Джонсона «Положение изменилось» (1609), обнаружилось, что четыре последние страницы были в него вплетены. При этом переплетчик слишком сильно обрезал листы сверху и снизу. Уайзу пришлось дописать чернилами верхние и нижние строки. Подозрение укрепилось, когда в экземплярах, давно принадлежавших музею, не оказалось как раз этих самых листов, а на их месте у корешка видны были следы ножа. Кроме того, в экземпляре музея был отдельно от всей книги напечатанный дополнительно второй титульный лист. И он перекочевал в экземпляр Уайза. Но лишь в 50-х годах обнаружилось, что

в уайзовскую книжку пьесы Бена Джонсона вклеен один лист и из другого музейного экземпляра: разорены были оба. Этот акт вандализма особенно огорчил библиографов, поскольку экземпляр № 1 Британского музея был единственным известным, включавшим оба титульных листа — основной и дополнительный. Невозможно было представить себе, что на уничтожение этого уникума решился библиограф-профессионал.

Но дальнейшее расследование приносило все более убедительные доказательства вины Уайза. Связь этого почтенного джентльмена с 90% случаев воровства листов из книжек Елизаветинской драмы была неопровержимо подтверждена. В некоторых случаях масштабы воровства были столь значительны, что экземпляры Эшли и присланные из Техаса книги Ренна не до конца раскрывают истинную картину. Это относится, например, к пьесам Джеймса Шёрли, которого называли «последним елизаветинцем», поскольку его творениями заканчивается «золотой век» английской драмы. Уайз, видимо, питал к нему болезненное пристрастие, поскольку разворовал его первоиздания чуть ли не полностью. Впрочем, не логичнее ли предположить, что клиентура Уайза попросту активнее интересовалась Шёрли, чем другими авторами? Один лист из пьесы Шёрли «Триумф мира» (1633), отсутствующий в музее, обнаружен в Эшли — так что и здесь улика налицо.

Как же удавалось Уайзу обманывать бдительность сотрудников музея? И как поступал он с похищенным?

Долгое время подозревали, что у него в музее были помощники-агенты, поставлявшие «товар». Но, пожалуй, это предположение должно отпасть: не таков был Уайз, чтобы доверять кому-либо Столь деликатное дело — агент мог проговориться или продать уворованные листы без ведома Уайза. Нет,

почетный член правления Уорчестерского колледжа и действительный член Роксберского клуба грабил самолично. Иногда удается даже проследить ход его мысли и действий. В декабре 1902 г. на аукционной распродаже фирмы Сотби он приобрел в некомплектном виде издание пьесы Нэйбла «Невеста»; в апреле 1903 г. тот же экземпляр в «идеальном порядке» был отправлен Ренну в Чикаго. Время ограбления музея устанавливается тем самым с достаточной точностью. Посещения Уайзом музея в тот период беспристрастно зарегистрированы. Англичане, казалось бы, люди педантичные! Но ни одна из книг, искореженных Уайзом, не содержалась под замком и не выдавалась посетителям под расписку. Первая пропажа («Триумф мира» Шёрли) обнаружилась в 1903 г. Никому, конечно, и в голову не пришло подозревать Уайза. Младший персонал музея относился к нему как к богу библиографии, собственной персоной явившемуся с Олимпа. При появлении Уайза в музее его тотчас сопровождали в так называемую Большую комнату (теперь там Северная библиотека), где имелся своего рода альков для почетных посетителей. Он пользовался привилегией оставлять недочитанные книги до утра на резервных столах. Но, в отличие от нынешних библиотек, никто при этом не делал отметку в его «контрольном листке», никто не принимал книги по счету и не просматривал их. Доверяли! Уайзу не стоило труда взять книгу на вечер домой, проделать с ней любые варварские операции и вернуть поутру на резервный стол. При этом он воровал даже больше, чем ему было нужно: когда вырезаешь лист из книги, часто выпадает и соседний или тот, что скреплен вместе с вырываемым. Чтобы скрыть преступление, Уайз оставлял у себя и эти «щепки, отлетевшие при рубке леса».

В 1950-х гг. дотошные библиографы Британского музея провели полное расследование хищений

Уайза, положив перед собой экземпляры Британского музея, библиотек Эшли и Ренна. Совмещали водяные знаки на бумаге по линии отреза, изучали особенности ножа Уайза и даже сличали следы, оставленные книжными червями. Картина получилась мрачная, а исследование образцовым. Потом были сделаны фотокопии страниц, перекочевавших хитрым путем из Лондона в Техас, и водружены на место недостающих. С экземплярами Эшли решили этого не делать, поскольку она тоже хранится в Британском музее. Зато подготовили великолепный список: «Драмы с украденными листами».

Словом, работа по выявлению мошенничества была проведена превосходно... через полвека после мошенничества!

Однако все же любопытно узнать, как поступал Томас Уайз с награбленным добром. Уже говорилось, что в первые годы нашего века целый ряд изданий Елизаветинской драмы оказался на лондонском книжном рынке — чаще всего на аукционных распродажах. Экземпляров идеальной сохранности среди них было не так уж много. Уайз покупал, не считаясь с затратами и не жалея энергии. Затем он отправлялся в музей и ничтоже сумняшеся вырезал из книг Гаррика и Георга III те листы, которые были дефектными или вовсе отсутствовали в экземплярах, приобретенных на распродажах. Особенно интересовали его оригинальные библиографические детали (помните двойной титульный лист?), придававшие книжечке особый «библиофильский привкус». Но и это далеко не все. Во-первых, ему нужно было обеспечить библиофильский приоритет Эшли. Для этого отбирались самые лучшие экземпляры, самые сохранные листы и отдавались искуснейшим переплетчикам фирмы «Ревьер». Мастера облачали Елизаветинскую драму в переплеты, характерные для XIX века, и концы

оказывались опущенными в воду, то бишь в искусно сплетенный корешок.

Во-вторых, Уайзу необходимо было не только покрыть расходы, но и остаться с барышом. Этой цели и служила его «бескорыстная помощь» чикагскому другу. Прибыль Уайза была весьма скромной. Но не стоит разочаровываться в масштабах его доходов: ведь торговля Елизаветинской драмой была лишь эпизодом Большого Обмана. Кстати, расходы на переплет и пересылку оплачивал Ренн.

По-видимому, как «честный маклер», Уайз не делал очень уж большой разницы в цене между экземплярами, почти полностью составленными из уворованных и иными путями оказавшихся у него страниц, слегка «подновленными» и обычными — полными с самого начала. Правда, последних было так мало, что статистика может ими пренебречь. Только «Игрок» Шёрли — абсолютно чистый экземпляр без всяких следов преступлений. Но он и самый дешевый — Уайз все-таки ценил риск и нервотрепку.

В принципе Ренн знал, что многие экземпляры Елизаветинских драм, полученные им от лондонского друга и коллеги, составные. Но он понятия не имел об источнике. Сравнение книг Эшли и Техасского университета показывает, с какой беззастенчивой последовательностью Уайз подбирал для Ренна листы с пятнами, следами книжных червей или влаги и оставлял себе чудесные образцы полиграфического искусства без сучка и задоринки. Правда, Уайз, видимо, никак не рассчитывал даже на посмертное разоблачение — иначе он не жертвовал бы библиографическим здравым смыслом, храня у себя целиком и полностью составные экземпляры (пусть и идеальные внешне), где титул мог быть из одного издания, шмуцтитулы из другого, а листок, указывающий *издателя*, — из третьего. Чуть-чуть поврежденный титул он заменял ти-

тулом из иного издания. Поистине, фанатическая приверженность библиофилов к девственности изданий не приводит к добру.

В изданной Техасским университетом переписке Ренна с Уайзом очень много сообщений такого рода: «Я купил для вас, — пишет Уайз 2 июня 1903 г., — превосходный экземпляр одной из редчайших старых драм в малую четвертую долю («Слепой нищий» Джона Дэя. — *В. К.*). Это экземпляр первоклассный. Я заплатил мистеру X. 20 фунтов за него. И цену эту приходится считать справедливой». Затем в письме рассказывается о том, как была сделана покупка, — подробности призваны рассеять подозрения американца, если бы они у него возникли. Уайз, несомненно, писал правду: купленный им экземпляр «Слепого нищего» был превосходен. Но только он оставил его себе, а в Америку послал дефектный и составленный из нескольких. Это стало ясно, когда книги удалось сравнить. Уайз такого варианта не предусмотрел.

Библиографы Британского музея долгое время удивлялись: зачем понадобилось потрошителю Елизаветинской драмы губить несколько музейных экземпляров, вырезая страницы то из одного, то из другого. А потом догадались: Уайз делал это в несколько приемов. Отсюда и неувязка: сегодня ему принесут, например, экземпляр «Слепого нищего» с экслибрисом Дэвида Гаррика, а завтра выдадут из коллекции короля Георга III. Тут уж ничего не поделаешь!

Автор монографии «Томас Уайз и английская драма периода до реставрации» Д. Ф. Фоксон *, чьими данными мы воспользовались, считает эту акцию «самой непорядочной в рамках уайзовской непорядочности». Возможно, он и прав.

*
Foxon D. F. Thomas Wise and the Pre-Restoration Drama. L., 1959.

Эпизод четвертый
Томас Уайз не упускает «Случая»

«Случай» («Chance») — это роман писателя-моряка, романтика и благородного защитника своих героев Джозефа Конрада. Уайз, как увидим, в самом деле не упустил случай погреть руки на книгах и рукописях Конрада. Однако смысл нашего заголовка несколько шире.

В 1910 г., когда позади остались никому не известные махинации с фальшивыми изданиями и когда забыт был «бум Елизаветинской драмы», Томас Уайз перебрался и перевез библиотеку, которую теперь уже только по традиции называли Эшли, в новое, на этот раз последнее обиталище — в район Хэмпстед, где жили тогда многие крупные коммерсанты. Глядя на окруженный ухоженной зеленой изгородью, ладно скроенный дом на Хит-драйв 25, с девственно-неприкосновенной лужайкой перед ним, случайный прохожий никогда не догадался бы, что сюда в надежде увидеть редчайшие из редких изданий в небывало полном подборе едут книжные паломники со всей Англии; мало того — с европейского континента, а то из-за океана. Их любезно приглашают в большую дальнюю комнату на первом этаже, где расположена легендарная библиотека. Хозяин гостеприимен — когда хочет быть гостеприимным, и радушен — если нужно кого-то обворожить или рассеять чьи-либо подозрения. Он охотно даст редкую книжку почитать, если знает, что имеет дело с джентльменом, но с негодованием отвергнет любые коммерческие переговоры. Он — библиограф во имя библиофилии и библиофил во имя библиографии. Коммерция ему в книжном деле глубоко отвратительна. «Я библиограф по душе и по н а м е р е н и я м, — заметил он в интервью 1934 г. — Я окунулся в собирательство только потому, что книги и рукописи — это инстру-

менты, необходимые для моего труда, — и как инструменты они должны быть приобретены». Однако пусть читатель не ловит нас на противоречии: в молодости он говорил совсем иначе, объявляя себя «собирателем с пеленок». Пожалуй, это было ближе к истине на первом этапе его деятельности. Но чтобы собирать, да еще столь «индивидуально», как Уайз, надо знать предмет собирательства. Между тем библиография была тогда еще в зачаточном состоянии. Наш герой понял это и стал библиографом экстра-класса.

«Когда я был молод, — вспоминал Уайз в 1920-х годах, — библиография казалась чем-то новым. Ученые больше всего времени проводили в лингвистических исследованиях, следя за историей языка и этимологией. Оксфордский английский словарь 1888 года — итог этой деятельности... Изучение текстов классиков захватило многих — посмотрите на бесчисленные переиздания. Но издатели спрашивали, какой именно текст заслуживает названия «оригинала». Кто мог им ответить на это? Библиограф! В наши времена хороший издатель должен быть хорошим библиографом. И в этом мой ответ каждому, кто кричит: «Первые издания, первые издания... Какая это все чепуха!» Выбросьте вон пыльную пачку первых изданий наших английских писателей-классиков, и вы разрушите интимную историю их умственного и душевного развития».

На Хит-драйв Уайз жил напряженной интеллектуальной жизнью. Ни секунды не желал он оторвать от библиографических трудов и библиофильских наслаждений. Одна за другой начиная с 1912 г. выходили составленные им изумительные персональные библиографии английских писателей. Прежние его труды аналогичного жанра — «Дж. Рёскин» (1893), «Р. Браунинг» (1897), «А. Ч. Суинберн» (1897), «А. Теннисон» (1908) были лишь эскизами, подготовкой к великим свершениям. Аро-

матические масла и кое-что иное сделали его обеспеченным человеком. Он получил возможность написать своему другу Э. Госсе, что намерен уйти от дел и заняться только любимой библиографией. Госсе любезно отвечал: «Я буду рад узнать, что вы сбросили «бремя бизнеса» и живете исключительно в сообществе муз». Рассказывая об этом периоде жизни Уайза, его биограф, Уильям Партингтон, сравнивает великого библиографа с «патологоанатомом, который так изучает на своем столе человеческое тело, как Уайз всякую книгу, к нему попадающую». «Он делал это до тех пор, — продолжает Партингтон, — пока ее механизм, когда-то собранный автором и издателем, не становился ему ясен до мельчайших подробностей. Тогда он помещал добытые сведения в каталог Эшли и слегка успокаивался». Но только слегка, ибо истинную анатомическую картину могла представить не книга, а лишь рукопись, от которой она родилась, и Уайз продолжал охоту. Однако ведь и беловая рукопись не дает исчерпывающего знания предыстории книги — нужен черновик автора, а еще лучше — и его переписка. Так что Уайзу хватило бы занятий на десять жизней. Ах, если бы он еще не отвлекался так часто на фальсификацию, мошенничество и воровство!

А то ведь и глубочайшие познания, как это продемонстрировал мистер Томас Уайз, могут служить целям самым неприглядным. Год за годом поднимал он цену своей библиотеки, стараясь не тратить лишнего гроша. Год за годом внедрял он в сознание любителей и знатоков литературы и книг уверенность, что изданные им в свое время фальшивки есть изумительные, редкостные, подлинные документы английской культурной истории.

Мировую войну Уайз встретил на посту: в начале ее он выпустил библиографии С. Кольриджа и Дж. Борро, в 1916 г. — У. Вордсворта, в 1917—

сестер Бронтё, в 1918 — Элизабет Баррет Браунинг (с редингскими сонетами «1847 г.», разумеется!). Людские страдания и финансовые крушения выбросили на рынок новый поток дешевых книг и рукописей. Библиотека Эшли пополнялась. Даже сам Уайз поражался, какой полноты подбора ранних изданий английских поэтов и какого богатства рукописного наследия XIX века ему удалось достичь.

Отметим маленькую причуду или слабость — уж как кому покажется — свойственную владельцу Эшли. У него было особое пристрастие к документам, затрагивающим скандалы, сугубо личные дела и вообще секреты знаменитых авторов. Ему было приятно сознавать, что стоит протянуть руку к ящику с рукописями, как на свет выйдут альковные тайны, забавные анекдоты, сомнительные поступки, муки совести и мольбы о пощаде — тени прошлого, которым вовсе не предназначалось появиться в будущем. Кое-что из своей копилки, пропахшей отнюдь не ароматическим маслом, Уайз при удобном случае вставлял в библиографические комментарии. Приведем самый невинный из возможных примеров. Мисс Митфорд пишет мистеру Беннету о жизни Браунингов в Италии: «Они задержались во Флоренции потому, что у них нет денег; нет до такой степени, что они не могут посещать купальни в Банья-Луке. Корабль, на котором им должны были привезти деньги, привез лишь отчет о расходах, кажется от книгопродавца. Но, конечно, Роберт что-нибудь заработает. Ах, дорогой друг, как мудро с вашей стороны оставаться там, где вы есть, и тем, что вы есть (т. е. холостяком. — *В. К.*)». Подобные пассажи украшали сухие библиографические перечни, превращая их в своего рода биографии. Хотя и в этом случае не худо было бы получить разрешение сына Браунингов на публикацию, чего Уайз, конечно, не делал.

Однако не думайте, что собирая «интимности», Уайз удовлетворял исключительно свой интерес к сплетням. Отнюдь нет — это было бы примитивно для такой значительной личности. Он зарабатывал деньги! На шантаже родственников или живущих писателей; на публикации документов; на обменных операциях — таким способом ведь можно было получить ценнейшие издания. Нет, положительно, Томас Уайз был сыном своего века.

В повести о Филипсе уже говорилось, какое влияние оказала первая мировая война на распределение библиофильских ценностей. Удивительно ли, что европейские книжные богатства потекли в Америку, если вспомнить, что Англия истратила на войну 13,5 млрд. фунтов стерлингов, Германия — 10,3 млрд., а США — 8 млрд. Американский спрос на редкую европейскую книгу был после 1918 г. огромен, а значит, в Англии цены росли. Уайз потирал руки, озирая свои богатства. У него почти не было лакун, и для себя он больше, как правило, не покупал. Однако случались и исключения: в 1924 г. он выложил, например, 600 фунтов за великолепный экземпляр первого издания «Потерянного рая» Дж. Мильтона. Но в принципе он предавался изучению уже накопленного: тех милых библиофильскому сердцу «points» (деталей, особенностей), которые придают некоторым экземплярам особый интерес и особую ценность.

Новых авторов он вообще не коллекционировал, не желая нарушать специализацию Эшли. Но растущая слава Т. Харди, Р. Киплинга, Дж. Конрада тревожила Уайза. И он заколебался.

*

Он включил книги и рукописи Конрада, как, впрочем, и самого писателя, в круг своих интересов. В 1920 г. в предисловии к своей «Библиографии изданий Джозефа Конрада» Уайз писал: «По-

явление этого тома не требует оправданий. Дело не только в том, что книги Джозефа Конрада все чаще становятся предметом коллекционирования и по все более высоким ценам, но и в том, что библиография изданий этого писателя неполна и содержит множество ошибок и нелепостей». Уайз в самом деле многое распутал и уточнил в «Конрадиане», чем доставил немалое удовольствие и самому писателю-моряку, который, правду сказать, столько же разбирался в библиографии, сколько торговец оливковым маслом — в брашпилях и форштевнях.

Конрад был растроган тем, что нашелся человек, бескорыстно погружающийся в дебри его литературной биографии. Он охотно пошел навстречу просьбе Уайза и продал ему за бесценок (как коллекционеру!) рукописи своих произведений, написанных после 1918 г. Более того, он обещал библиографу, что в дальнейшем все его рукописи будут поступать в Эшли. При этом Конрад руководствовался не только потребностью в дополнительном заработке, пусть небольшом (писатель, оставив торговый флот, несмотря на свою славу, жил с семьей весьма стесненно), но и тем, что он таким образом обеспечивает надежное и вечное хранение своих рукописей. Ведь, рассказывая ему о библиотеке, Уайз особо подчеркнул, что все это собрано не в личных целях, ему совершенно чуждых, а исключительно во имя спасения национального культурного наследия.

По меньшей мере девять рукописей Конрада Уайз вскоре выпустил специальными библиофильскими изданиями и подзаработал прилично. Ведь даже если текст где-то уже печатался, он, умело скомбинированный с другими текстами, тем более — с письмами автора, которыми располагал Уайз, в новом издании может приобрести совершенно иное обличье и вызвать немалый интерес. Уайз это по-

нимал, Конрад — нет. 10-я рукопись — пьесы «Хохотушка Энн» (вместе с машинописным ее экземпляром) — так и осталась лежать в хранилище Эшли неизданной вместе с письмом автора, в котором он просит за нее 100 фунтов.

Любопытную историю в связи с этим рассказывает У. Партингтон, который был не только биографом Томаса Уайза, но и издателем журнала «Книжник». Однажды, в начале 1923 г., Партингтон предложил Конраду напечатать в журнале что-либо из его неопубликованных вещей. Конрад назвал «Хохотушку Энн». Но Партингтон вспомнил, что Томас Уайз сообщил в каталоге Эшли о рукописи этой пьесы, находящейся в его полном и безраздельном владении. При имени Уайза, рассказывал Партингтон, в кабинете старого моряка «начался тропический шторм. «Уайз! Уайз! При чем тут Уайз? — вскричал Конрад. — У него только бумажка. Вещь ведь моя!» Могучие плечи его поднялись в недоумении, лицо было искажено негодованием».

Партингтону ничего не оставалось, как пробормотать какие-то извинения, уверяя, что дело вообще не стоит тревоги. У Конрада, конечно, был свой машинописный экземпляр «Хохотушки Энн». Все же печатать пьесу без разрешения Уайза Партингтон не решился. И оказался прав: 14 марта 1923 г. он получил гневное послание от «самого» Уайза. «Библиографиссимус» выражал возмущение тем, что издатель журнала обратился за «Хохотушкой» прямо к автору, минуя владельца рукописи. Как писал Уайз, этот бестактный поступок старого знакомого послужит для него, Уайза, хорошим уроком: он не станет более помещать в каталоги сведения об имеющихся в Эшли неопубликованных рукописях. Партингтон отвечал сдержанно, но твердо: он знал о пьесе давно, Конрад сам предложил опубликовать ее. Что касается публикации в каталогах, это дело

публикатора. Вскоре Уайз понял, что перегнул палку: он принес извинения за горячность тона и сообщил, что вне всякой связи с «Хохотушкой» решил исключить из очередного тома каталога данные об имеющихся в его распоряжении рукописях Р. Киплинга и Р. Л. Стивенсона. Неизвестно, сразу ли разглядел корреспондент Уайза в последней фразе ловкий трюк. Но во всяком случае впоследствии он понял, в чем дело: когда-то Уайз купил некоторые рукописи Киплинга и Стивенсона, объявил о них в библиографиях, а потом, соблазнившись высокой ценой, перепродал в Америку. Получилось неловко: рукописи, несомненно бывшие у Томаса Уайза, отсутствуют в каталоге Эшли. Однако, включи Уайз их описание в Эшли-каталог, зашумят американцы. Вот он и выкрутился, придравшись к пьесе Конрада и журналу Партингтона.

Можно только согласиться с Партингтоном, резюмировавшим этот эпизод так: «Чтобы иметь дело с Томасом Уайзом, нужно не меньше чувства юмора, чем у Хохотушки Энн».

*

Познакомившись с Конрадом, Уайз буквально заставил неискушенного в книжном деле писателя сделать ему надписи на всех первоизданиях. Иногда раздраженный Конрад был нарочито лаконичен: «Подписано для Т. Уайза. — Джозеф Конрад». Но большинство подарков содержат все-таки дружеские слова или, по крайней мере, пояснения (например, на экземпляре немецкого издания «Наследников», вышедшего прежде английского). Трудно себе представить, что Джозеф Конрад, этот могучий человек, одаренный воображением поэта и хладнокровием морского волка, стал бы по собственной воле копаться в тонкостях библиографии и афишировать редкость некоторых своих книг, хранящихся ныне в составе Эшли в Британском музее. Нет, за спи-

ной его должен был непременно стоять библиоман! 1 августа 1920 г. Конрад писал: «Дорогой мистер Уайз! Я держу переплетенную рукопись — и очень красиво переплетенную — до тех пор, когда вы придете и произнесете свой приговор». Мы уже знаем, что «приговоры» Уайза (т. е. цена рукописи) в любом случае были для него небезвыгодны. Сохранилось и обращенное к Уайзу письмо секретаря Конрада. По-видимому, Уайз заранее обусловливал содержание надписей; во всяком случае секретарь пишет: «Мистер Конрад просит меня сообщить вам, что он сделал на экземпляре «Победы» надпись, которая, как он надеется, вас устроит. Он, конечно, не мог повторить слова, приведенные в «Библиографии» (Уайз, видимо, хотел, чтобы Конрад задним числом подтвердил сведения, сообщенные Уайзом о первоиздании пьесы. — *В. К.*), и вместо этого сказал что-то о самой пьесе и фильме». Справедливости ради отметим, что Уайз экземпляры первоизданий Конрада не продал и, таким образом, не выяснил, насколько эти вымученные надписи подняли цену книг.

Роман Конрада «Случай», давший название эпизоду четвертому нашего повествования, стал, без сомнения, самым популярным произведением писателя — по крайней мере, при его жизни. С первым изданием «Случая» связана любопытная библиографическая история, естественно, не без участия Томаса Уайза. Дело в том, что роман печатался в 1913 г., но с выходом в свет запоздал, и уже готовый титульный лист с датой «1913» пришлось уничтожить и заменить новым: «1914». Как почти всегда бывает, часть экземпляров — по оценке Уайза, около 50 — вышла из типографии в 1914 г. с титулом 1913 г. Получился как бы первый выпуск первого издания — несравненно более редкий и, следовательно, более ценный для библиофилов, чем второй.

Далее возникли обстоятельства таинственные и по сей день не до конца ясные. Нашелся некто, напечатавший пачку фальшивых титулов «1913» и вклеивший их во многие экземпляры, прежде помеченные 1914 г. Нет, нет, читатель, наш герой тут совершенно ни при чем. Правда, виновного так и не изловили. Но вот первым, кто разоблачил «невероятное в книжном мире мошенничество», был, конечно, Томас Уайз. Гневу его просто не было предела — кто знает, может быть он вспомнил о злополучных собственных изделиях 1880—1890-х гг., и совесть продиктовала ему слова возмущения. К счастью, как указал Уайз, подделку легко отличить: настоящая страница с цифрой «1913» имела как бы пару в конце печатного полулиста. А фальшивый «1913-й» и подлинный «1914-й» (поскольку он делался позже для исправления ошибки) — вклеенные отдельные листки. Уайз печатно заявил с полной ясностью: «Отдельные вклеенные листки с датой «1913» и экземпляры книги, в которых они попадаются, ни малейшей ценности для коллекционера не имеют». Такое заключение сделал крупнейший в Англии знаток библиографии в 1914 г.

Право, трудно поверить глазам своим, когда читаешь в каталоге Эшли (1926), что в коллекции мистера Уайза есть все три разновидности первого издания «Случая» и все три... безусловно «подлинные». А все дело в том, что Уайз получил на каждом из них удостоверяющую подпись Джозефа Конрада. Комментарий библиографа к описанию экземпляра с фальшивым титулом «1913» ошеломляюще доказателен: «Подлинность данного экземпляра подтверждается авторским посвящением и надписью. Но поскольку сомнения и неуверенность возникнут по отношению к каждому экземпляру, не подтвержденному подобным способом, то единственным методом проверки должен быть такой: не признавать аутентичной ни одну книгу, титуль-

ная страница которой не составляет естественной части первого полулиста». Вот ведь как получается: то, что при выходе книги в свет Томас Уайз объявил «не представляющим ни малейшей ценности для коллекционера», теперь оказывается уникальной ценностью в составе Эшли. Весьма любопытна надпись, сделанная автором на этой книге под диктовку Томаса Уайза. Вот она: «Титульная страница этой книги есть подлинный экземпляр первоначального титула, датированного 1913-м годом, сперва вырванный, а впоследствии вновь помещенный в книгу».

Покладистость Конрада станет понятнее, если мы приведем строки из письма его к Уайзу. Только сначала объясним контекст. Маститый библиограф упрекал простодушного моряка-писателя в том, что он позволяет облапошить себя разным мошенникам. Уайзу хотелось быть монополистом в обмане Конрада! Он просил разрешения собрать в разных сочетаниях рассказы, статьи, выступления писателя, напечатанные в периодике, и выпустить их частными изданиями, очередной раз создав тем самым библиофильские редкости. Конрад «дал добро», пожелал ему всяческого успеха и добавил: «Я хотел бы сказать также, что очень сожалею, когда вы и прочие собиратели подвергаетесь несправедливому обращению. Я действовал по неведению (имея дело с другим мошенником. — *В. К.*), в котором меня едва ли можно упрекнуть, поскольку сам я не коллекционер.

Этот, особый вид эмоций — для меня закрытая книга. Я в жизни ничего не коллекционировал, даже почтовые марки, как это делают все мальчишки. Без сомнения, это огорчительно, но, боюсь, я — существо неполноценное в умственном, моральном и в других отношениях тоже. Умоляю простить мне мои несовершенства».

В 1919 г. Уайз выпустил 10 первоизданий Кон-

рада; в 1920 г. — еще 10, ни одно из них не послав в Британский музей, как того требовали правила. Причина в том, что в книжечках этих отсутствуют сведения о первоначальных публикациях в периодике — получились как бы совершенно новые издания. В музее эту уловку могли бы разоблачить. Конрад получил за книжки 200 фунтов. Уайз (даже с учетом типографских расходов) — несравненно больше. Хотя тираж частных изданий — всего 25 экземпляров, но распределялись они среди богатых знатоков и стоили очень дорого.

Печальная история взаимоотношений крупного художника и не менее крупного мошенника лишний раз свидетельствует о том, что творческий дар и деловая хватка редко объединяются в одном человеке. Что касается Томаса Уайза, то, право, он был большим мастером своего дела, если даже явную фальшивку умел превратить в уникальную библиофильскую ценность.

Эпизод пятый
Ошибка Томаса Уайза, или Обманутый обманщик

Не без злорадства приступаем мы к короткому эпизоду, в котором безукоризненный мистер Уайз оказывается жертвой расчетливой мистификации. Собственно говоря, эта история не может быть включена в уголовное дело Уайза, поскольку обвиняемый — не он. Однако наше судебное разбирательство, увы, воображаемое, трудно провести по букве закона. Тем более что английское законодательство так запутано!

Любовь Уайза к скандальным и пикантным историям из жизни многих писателей уже отмечалась. Но едва ли был в истории английской литературы другой автор, чья биография стала предметом столь пристального и не всегда «чистого» интереса публики, как лорд Байрон. Новый прилив внимания к

Байрону, не только библиографического, но и биографического, вызвали библиография, выпущенная Томасом Уайзом (1928), а еще раньше — соответствующие разделы Эшли-каталога (1922). Особенно заинтересовало всех сообщение Уайза о никому не известной книжке: «Неопубликованные письма лорда Байрона». Публикатор — Х. С. Шалтес-Янг. Издательская фирма — Ричард Бентли и сыновья, типографы Ее Величества. Дата выхода в свет — 1872 год.

Обнаружил Уайз это сокровище довольно давно в бесподобной, но склонной превратиться в хаос библиотеке своего близкого друга, биографа ряда писателей, библиографа и библиофила Генри Бакстона-Формена. После смерти приятеля Уайз пытался свалить на него некоторые собственные грехи. Но пока — о книжечке. Формен купил ее когда-то за четыре гинеи и не возражал, чтобы за несколько большую сумму она перекочевала в Эшли. В Британском музее книги ее не было до поступления туда наследства Уайза. Итак, Уайз (вернее — Формен) нашел неизвестные письма Байрона, к тому же выпущенные знаменитым издателем. Для него, знающего «байрониану» вдоль и поперек — от «Часов досуга» (1806) до персидского издания «Дон Жуана», это была настоящая сенсация. Но откуда появились самые письма? В начале 1870-х годов юный щеголь по имени Шалтес-Янг явился к издателю Бентли и предложил ему осчастливить мир неопубликованными письмами лорда Байрона. Письма, как рассказал очаровательный молодой человек, достались ему от двух тетушек, растворившихся где-то во времени и пространстве. При этом публикатор потребовал, чтобы книга была посвящена Терезе Блэк — той самой «девушке из Афин», которой великий Байрон посвящал стихи в ту пору, когда было ей 14 лет.

В час расставанья я тебя молю,
Верни мне сердце, юная гречанка!

К моменту издания писем «юной гречанке» должно было быть далеко за 70. Это не помешало Шалтес-Янгу назвать миссис Блэк «своим верным, преданным другом». Можно представить себе, как приятно было мистеру Бентли нанести удар конкурирующей с ним издательской фирме мистера Джона Мюррея-четвертого, внука издателя и корреспондента Байрона. Публикатор, казалось, горячо увлечен Байроном. Но, когда часть тиража была отпечатана, обнаружилось, во-первых, что некоторые письма в свое время уже были опубликованы; во-вторых, что действительно неизвестные письма публикуются без письменного разрешения таинственной тетушки Шалтес-Янга или какого-либо иного их владельца.

Бентли дорожил своей репутацией. Заподозрив неладное, он велел уничтожить весь тираж — 750 экземпляров. И правильно сделал, потому что 19 «писем Байрона», включенные в сборник, были фальшивкой, изготовленной «царем и богом» в этой малопочтенной области — Де Жибле. Сия личность заслуживает нескольких слов в нашей повести. Де Жибле орудовал в Лондоне и отчасти в США в середине прошлого столетия. Его специальностью было сочинять, искусно имитируя стиль, письма, якобы принадлежащие Байрону и Шелли. Байрона он любил настолько, что даже объявил себя его незаконным сыном. Благо, слухов о личной жизни поэта ходило так много, что подходящую версию выдумать было несложно. Де Жибле скромно называл себя Джордж Гордон Байрон, а своей матерью объявил знатную испанскую даму. А уж сколько поддельных надписей Байрона на книгах придумал и выполнил Жибле — перечислить невозможно. Говорят еще, что деятельность мошенника была очень облегчена внешней схожестью его с лордом Байроном. Любопытно, что сведения о нем нынешние историки черпают из дневников мисс

Митфорд и ее переписки с мистером Беннетом, уже знакомых нам. Однако в целом Де Жибле со всеми его подделками и фокусами можно охарактеризовать лишь как мелкого жулика — предшественника Томаса Уайза. Не о нем речь.

Как, вероятно, уже догадался читатель, добрый десяток уничтоженных сборников писем оказался не уничтоженным. И Томасу Уайзу в библиотеке Бакстона-Формена попался один из них. Сколь ни странно, он не почуял обмана. В 1922 г. в каталоге Уайз опубликовал не только сведения о редчайшей книге, но и два отрывка из «писем Байрона» к «возлюбленной Л.» В печать просочились некоторые сомнения в подлинности писем. И тут Уайз (как только на него нашло!) совершил еще одну ошибку. В «Библиографии Байрона», которая должна была по замыслу Уайза стать венцом и последним словом его библиографических усилий, он «тиснул» все эти сведения и пассажи из писем еще раз. К тому же, как заключил Уайз из тщательного изучения «писем Байрона», охватывавших период со 2 августа 1811 г. по 1 августа 1817 г., у «возлюбленной Л.» от лорда был ребенок. Эту сенсацию — из числа тех, которые Уайз охотно смаковал, он обнародовал в библиографии 1928 г. и в двухтомном ее варианте 1931—1933 гг.

Публикация писем к «возлюбленной Л.» вызвала любопытную трехстороннюю переписку двух издателей — Джона Мюррея-пятого и Ричарда Бентли-младшего, отец которого «недоуничтожил» злополучное издание, с величайшим библиофилом-библиографом всех времен мистером Уайзом. Джон Мюррей, свято хранивший значительную часть архива Байрона, на основании тщательного изучения документов пришел к выводу, что письма к Л. по меньшей мере подозрительны: в них спутаны несколько дат пребывания Байрона в Англии и Италии; Байрон, не очень скрывавший свои любовные приключения,

нигде словом не упоминает Л.; наконец, при письме от 30 октября 1811 г. поэт посылает «возлюбленной Л.» «Паломничество Чайлд-Гарольда», никому тогда еще не известное.

Раз уж Томас Уайз попал в эту историю, он решил держаться до конца. Не признавать же, что в его безукоризненных библиографиях допущена и повторена нелепая ошибка. Уайз возражал, что письма к Л. «насквозь байроничны», такой юнец, как Шалтес-Янг, выдумать их не мог. Мюррей, выросший в семье, тесно связанной с английскими литературными традициями и превыше всего ценивший респектабельность, не одобрял действий Уайза: зачем вытаскивать на свет сплетни, основанные на недостоверных источниках. Вдобавок он уличил Уайза в цитировании отрывков из нескольких писем под видом одного письма, чтобы версия о ребенке Байрона выглядела более убедительной. Наконец, еще один аргумент Мюррея был убийственным для репутации Уайза: все доказательства строятся ведь на книжке, выпущенной (или «не выпущенной») Бентли, — а где подлинники писем? Их никто никогда не видел. Сам Шалтес-Янг мог стать жертвой мистификации. Но, вероятнее, он был подставным лицом, за которым стоял Де Жибле.

Вообще Уайзу не везло с Байроном. Библиофильский инстинкт и библиографическое зазнайство его не раз подводили. Однажды лондонская книжная фирма прислала ему на экспертизу издание «Гяура» (1813). В отличие от известного первого издания имени Байрона на книге не было. Уайз долго страдал и колебался, но признал, что перед ним фальшивка или, по крайней мере, пиратское издание, напечатанное без ведома автора. В дальнейшем документальные исследования показали, что фирма Мюррей такую разновидность «Гяура» выпускала.

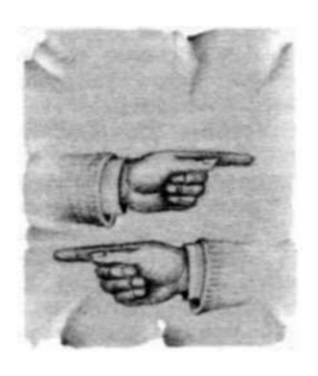
В другом случае Уайз снова попался на крючок Де Жибле. В «Библиографии Байрона» (т. 1) он

описал экземпляр второго издания знаменитой сатирической поэмы «Английские барды и шотландские обозреватели», попавший в Эшли. На нем имеется, как считал Уайз, собственноручная надпись поэта: «Байрон. Афины. Теодоре Макри. Январь 1810. Солнце сияет, как бывает только в Греции. — Лимонные деревья под окном усыпаны плодами: К черту книгу! Дайте мне природу и глаза в глаза!» Глаза — это о той девушке, которой посвятил Шалтес-Янг свой несостоявшийся сборник. Когда один из друзей Уайза принес ему эту книжку, видавший виды библиофил был очарован. Ни содержание надписи, ни почерк не заставили усомниться ни на минуту: бесспорный Байрон. Уайз тут же схватился за бумажник, приготовив 100 фунтов за такое чудо. Однако приятель отказался взять деньги, честно признавшись, что предполагает подделку. Увы, подозрения подтвердились — надпись придумана не Джорджем Гордоном Ноэлем лордом Байроном, а все тем же Де Жибле. Приятель Уайза, выяснив все это, прислал книжку в подарок владельцу библиотеки Эшли, но уже не как документ истории литературы, а как поучительный курьез.

Что же делает Уайз? Не желает признавать своей ошибки — еще бы, он предлагал 100 фунтов за очередную проделку Де Жибле! И, как ни в чем не бывало, вносит описание книги в «Библиографию Байрона», утверждая тем самым, что надпись подлинная. Здесь уже не заблуждение, а ложь.



Показания свидетелей
и
заключение экспертов



Как хорошо известно из криминалистики, преступление, даже хитроумно задуманное и ловко выполненное, редко происходит без свидетелей. Томас Уайз-фальсификатор вынужден был вступать в контакты с самыми различными людьми — типографщиками, книготорговцами, а более всего — с коллегами-библиофилами. Большинство из них были слепы и доверчивы, но меньшинство подозревало какой-то подвох. Как правило, эти последние молчали годами и десятилетиями — у них не было доказательств вины Уайза. Кроме того, особенность всей грандиозной аферы состоит в том, что подозревалась, а порой и доказывалась неаутентичность той или иной книжки, того или иного «первоиздания», зафиксированного в библиографиях и каталогах Уайза, но при этом считалось, что знаток книги и библиографии был введен в заблуждение, как и все остальные. Не его же самого подозревать в подделках! На такой вот «воздушной подушке» держалась репутация Уайза до тех пор, пока в 1934 г. не вышла книга Дж. Картера и Г. Полларда под тихим названием «Расследование

происхождения некоторых брошюр XIX столетия». И в ней имя Уайза названо не было, но вся логика этого единственного в своем роде книговедческого расследования (многие его итоги мы уже сообщили читателям) словно указующий перст обращена была в сторону Уайза.

Тем удивительнее, что, как выяснил в 1940-х гг. У. Партингтон, кое-кто чуть ли не с самого начала знал о пиратской деятельности и «подлой карьере» Уайза. А когда именно эта «карьера» началась? Какое фальшивое издание было первым? Картер и Поллард указали 1886 год, поскольку сам Уайз сообщил, что именно тогда «доктор Беннет вручил ему пачку экземпляров «Сонетов» Э. Б. Браунинг». Но наступило время, когда самому Уайзу пришлось отказаться от «версии Беннета». Тогда остановились на 1888 г., когда Уайз поспешно выпустил подделку «Беглого раба» Р. Браунинга, чтобы успеть получить подтверждение подлинности фальшивки у здравствующего еще автора. В каталогах Британского музея «Беглый раб» отмечен как самая первая подделка Уайза. Наибольшую доказательность имели бы архивы фирмы Клей, где печаталась основная часть подделок, но, увы, в 1911 г. эти документы были уничтожены.

Любопытную историю, связанную с датировкой преступления, рассказывает Партингтон:

«Работая над этой книгой, — пишет биограф Уайза, — я познакомился с человеком, чей отец был весьма известным и весьма уважаемым членом литературных обществ 1880—1890-х годов.

Вот запись нашей беседы об Уайзе во время моего посещения этого дома. Хозяин спросил меня:

— Удивит ли вас, если я скажу, что в то время, когда подделки производились на свет, уже известно было, кто имеет к ним отношение?

— Черт возьми! Неужели в 80-х годах кто-то знал, что книги поддельные и виновен Уайз?!

— Да! Совершенно точно — были люди, знавшие, откуда дует ветер.

— О, это важная новость! Но есть ли у вас подтверждения?

Хозяин дома ответил не сразу. После долгого раздумья он встал, подошел к книжному шкафу, вытащил какой-то томик и снова уселся в кресло напротив меня. Он открыл книжку в том месте, которое, видимо, заранее было отмечено. Все это было проделано в напряженном молчании, создававшем впечатление глубокой тайны. Наконец хозяин дома сказал: «Это дневник моего отца, который он вел в 1888 году. Посмотрите, что он тут пишет», — и хозяин протянул мне переплетенную рукопись, где был отмечен абзац. Я прочитал запись, датированную 11 января 1888 г.:

„Пошел на заседание Шелли-общества. Собрались Уайз, Формен, Фернивэл, Россетти и другие. Уайз все еще продолжает свою подлую карьеру пиратства и перепечатки Браунинга, Шелли, Суинберна и т.д."».

Вот, оказывается, как давно знали, но вслух так и не высказали почти полстолетия! Боялись нанести ущерб респектабельности общества Шелли, его издателя и казначея, собственной, наконец? Или — еще хуже — просто держали под замком фальшивки, дожидаясь, когда они поднимутся в цене как истинные редкости? То есть поступали, как сам Уайз? Трудно сказать. Вероятно, речь шла только о престиже, но все же... Между прочим, владелец цитированного дневника и некоторых других документов, проливающих свет на первые годы «просветительской» деятельности Уайза, познакомив со всем этим Партингтона, заявил: «Я не хочу, чтобы где-либо упоминалось имя моего отца или мое». Так до сих пор и неизвестно, с кем беседовал Партингтон. Но из всего этого следует, что к 1888 г. фальшивки Уайза были уже в ходу.

Впрочем, об этом же свидетельствуют регистрационные книги Британского музея. 16 августа и 28 октября 1888 г. были куплены у младшего служащего фирмы Рабек «Беглый раб» Браунинга и «Брат и сестра» Джордж Эллиот (фальшивки Уайза); в 1890 г. — «Сонеты к Браунингу» Суинберна и две «липовые» брошюры Дж. Рёскина. Всего же между августом 1888 г. и январем 1926 г. Британский музей получил 29 фальшивых брошюр — 16 в дар от Уайза, 12 — покупкою; одну книжку Киплинга кто-то прислал анонимно. Парадокс в том, что, «продвигая» свои создания, Уайз готовил свидетельство против себя — в инвентарных книгах музея.

*

Теперь предстоит познакомить читателя со свидетелем, которого Уайз, когда меч правосудия (морального!) оказался занесенным над ним, попытался превратить в козла отпущения. Знакомьтесь — мальчик на побегушках, а затем мелкий служащий фирмы ароматических масел Герберт Горфин. Когда Уайз начал «подлую карьеру», Горфину было всего 10 лет. Смышленый ребенок из самой бедной семьи бегал курьером по Лондону, чаще всего по делам, пахнущим приятно (эфирными маслами), а иногда — дурно (фальшивками нашего героя). Все посылки в Чикаго, адресованные Ренну и вообще в США, были запакованы натруженными с детства руками Герберта Горфина. Мальчик быстро смекнул, кто в фирме Рабека истинный начальник, и готов был преданно служить мистеру Уайзу. Тот в свою очередь испытывал симпатию к подававшему надежды и беззащитному перед жизнью курьеру-упаковщику. Наблюдая, как блестят глаза Уайза при виде редких книг, Горфин проявил некоторый интерес к литературе. Раз в год или в два в конторе появлялся богатый американец — низенький крепыш и, справившись, кто это так надежно пакует для

него посылки, совал Горфину несколько монет. Книжный бизнес выглядел достаточно надежным.

И вот в 1912 г. тридцатипятилетний младший клерк масляной фирмы Герберт Горфин решился открыть собственное дело — книготорговое. Благо щедрый мистер Уайз предложил ему кредит за небольшие проценты и уговорил мистера Рабека поступить так же. Горфин понимал, что некоторые тоненькие брошюрки знаменитых авторов, таких, как Браунинг, Суинберн, Рёскин и другие, можно будет выгодно продать, если покупатели узнают, как мало на свете подобных экземпляров. В каталоге магазинчика Горфина эти брошюры рекламировались как «остатки» и без того ничтожного тиража. К счастью для Горфина, его благодетель мистер Уайз оказался удивительно богат такими «остатками». Он откровенно объяснил Горфину их происхождение: «Мне оптом продал их за несколько фунтов некий складской рабочий, а он обнаружил все это на складе у книготорговца среди ненужных бумаг, когда склад велели очистить, чтобы затем снести старую развалину». «Рабочий», видно, тоже имел пристрастие к литературе, раз сумел отыскать в Лондоне такого знающего и щедрого библиофила, как Томас Уайз. Книжечки, правда, все были новехонькие, без пятнышка, но Горфин только обрадовался этому. Кажется, он в самом деле верил в эту сказку до самого разоблачения Уайза.

Присоединив к «найденным на старом складе» еще некоторые издания (пиратские), Уайз предложил Горфину купить у него все вместе по номинальной цене и в дальнейшем извлекать из этого богатства прибыль по собственному разумению. Неужели Уайз потерял коммерческий интерес к реализации подделок? Отчасти так и было. Он заработал достаточно, особенно на рукописном наследстве Суинберна, которое ему удалось купить по дешевке. Но главное не в том — Уайз, давно не производивший на свет

подделки, давно перехитривший американцев, давно разграбивший Елизаветинскую драму и разве что продолжавший потихоньку обманывать Джозефа Конрада, воспользовался возможностью сбыть залежалый товар. Теперь, как он надеялся, вся ответственность в случае разоблачения падет на того, кто поддельными изданиями торгует. Он же, Уайз, станет возмущаться вместе со всеми.

Горфин ничего этого не знал и охотно выложил 400 фунтов за 700 брошюрок (577 из них потом разоблачены как фальшивки). Он был тронут тем, что патрон часто заглядывает в его лавочку на Черинг-кросс. То зайдет просто так — узнать, как дела, то принесет что-нибудь еще со дна своего сундука, то предложит на комиссию что-либо из редкостей. Иногда, правда, происходило нечто странное. Приносит, например, Уайз книжечку, о которой известно, что в мире существуют таких только пять или шесть штук, и просит всего 180 фунтов. Горфин возражает: «Это дешево, я продам втрое дороже». Договаривается с покупателем о сумме 460 фунтов. Обрадованный Горфин мчится к Уайзу в надежде получить законные 10% комиссионных, однако Уайз меняется в лице и вообще отказывается продавать книжку. Непостижимо для коммерсанта! Бывший мальчик на побегушках, конечно, не мог догадаться, что его кумир отчаянно боится разоблачения и чует в воздухе грозу.

Некоторое время торговля Горфина процветала. Он был осторожен и приберегал «редкие» брошюрки про запас, никогда не объявляя в каталоге больше двух-трех вместе. Увы, первая мировая война нанесла владельцам мелких предприятий в Англии огромный урон. Горфин пошатнулся, но все же устоял. Даже в 20-х годах у него еще хранились и успешно продавались «Сонеты» Э. Браунинг, «изданные в Рединге в 1847 году». Однако Уайз совсем его покинул, они не виделись чуть ли не десятилетие. Да и прежде

отношения между ними были противоречивы: наедине великий библиограф был с ним очень мил, очевидно, вспоминая совместные труды в фирме Рабека. «Но едва вмешивался кто-либо из друзей мистера Уайза, — огорчался Горфин, — мистер Уайз на глазах менялся. Он становился холодным и непроницаемым. Он был клиент и хозяин, я — слуга. Давно я понял, что он считал меня всего лишь орудием». Ну, насколько давно — дело темное, ведь Горфин говорил это после разоблачения Уайза. Однако по существу Горфин прав — он был всего-навсего жалким агентом хозяина, который удостаивал его беседы лишь будучи в хорошем настроении или поручая щекотливое дельце.

Когда в начале 30-х гг. два юных книжника Джон Картер и Грэхэм Поллард начали свое расследование, они, естественно, нашли Герберта Горфина и нанесли ему визит. Трудно теперь сказать, как именно — напрямик или обиняками, — но они дали понять Горфину, что на протяжении многих лет он торгует фальшивками, за что подлежит обычному уголовному суду. Именно в его каталогах фальшивые издания появлялись с подозрительной регулярностью. Мелькнувшая было у авторов «Расследования» мысль, что Горфин может быть изготовителем фальшивок, критики не выдержала: бывший младший клерк не обладал элементарными знаниями в области литературы и печатного искусства. Встретившись с ним лицом к лицу, они задали свой вопрос и услышали невинный и, в общем, ожидаемый ответ: «Фальшивками? Это совершенно исключено — ведь все эти брошюры я купил у самого мистера Уайза».

Чуть ли не в тот же день, когда у Горфина побывали «следователи», он получил внезапное приглашение к Уайзу. Явившись на зов, бедняга Горфин услышал такое предложение: «Поскольку ходят какие-то нелепые слухи о некоторых брошюрах, которые я когда-то вам уступил, я хотел бы выкупить все

оставшиеся экземпляры за их нынешнюю номинальную цену — 25 фунтов». Уайз заметал следы! У Горфина не хватило мужества отказаться или чистосердечно поведать о своей встрече с Картером и Поллардом. У него хватило лишь благоразумия сказать: «Я подумаю».

От Уайза Горфин прямиком отправился за советом к Картеру. 55-летний книгопродавец дрожал мелкой дрожью, ибо Уайз по-прежнему оставался для него Хозяином. И это при том, что Горфин имел солидное дело, кое-какой доход и, по-видимому, вправду прежде ничего не подозревал. Картер посоветовал, раз уж язык никак не слушается букиниста, написать Уайзу письмо с отказом от 25 фунтов и вообще не превращаться в козла отпущения. Горфин так и поступил и получил ошеломляющий ответ. Теперь Уайз предлагал 400 фунтов за «невинную ложь» — Горфин должен был публично сообщить, что «все брошюры, оказавшиеся под подозрением, были получены им от Бакстона-Формена» — биографа Шелли и Китса, известного собирателя английской поэзии. Эту версию, которую он слышал впервые, Горфин поддержать отказался. Картер и Поллард нашли способ предупредить Уайза, что, если он попытается свалить все на Горфина, они опубликуют эту пикантную переписку прежнего совладельца фирмы ароматических масел, а ныне почетного члена многих библиографических обществ с прежним мальчиком на побегушках, а ныне известным лондонским букинистом.

Простимся на этом с Горфином и поспешим вслед за автомобилем мистера Уайза к наследнице владельцев типографической фирмы «Клей и сыновья» мисс Сесиль Клей. Войдя и изложив суть дела, Уайз спросил: «Не могли бы вы подтвердить, что типография ваших деда и отца не имела к этому никакого отношения?» «Как могу сказать я э т о , — вопросом на вопрос ответила Сесиль К л е й , — если все

перечисленные книги были отпечатаны у нас по вашему заказу?»

Было бы несправедливо не дать слово хотя бы некоторым свидетелям защиты, готовым в той или иной степени поддержать Уайза. Один из них, достойный глубочайшего уважения, выступит отдельно. Приведем здесь только два высказывания. Оба они принадлежат американцам. Первое — Эдварду Ньютону, крупнейшему библиофилу, автору интереснейших, увлекательных книг о «книжной охоте», давнему знакомому, а, возможно, и клиенту Уайза. Он писал Картеру: «Глубоко сожалею, что один из моих старейших друзей в Лондоне, похоже, замешан в этот ужасный скандал, который известен теперь многим и скоро станет известен всем. Однако человек, вовлеченный в эту грандиозную аферу, давно уже стал фигурой национального масштаба. Он теперь стар и, как мне говорили, весьма слаб. Я заклинаю вас во имя гуманности не превращать его последние и без того горькие дни в еще более ужасную агонию. Вся история, конечно, должна быть обнародована, но теперь ли?!»

Отклик второго свидетеля защиты чрезвычайно для него характерен. Король букинистов доктор Эбрахэм Розенбах уже появлялся на сцене в повести о Филипсе. Этот человек все знает заранее — книжный мир содрогнется, а он и глазом не моргнет! Розенбах писал Картеру: «Лет 15 назад (т. е. примерно в 1918—1919 гг. — *В. К.*) я обнаружил, что «Сонеты (с португальского)», якобы изданные частным изданием в Рединге в 1847 г., — подделка. Я тотчас отнес это на счет Томаса Уайза. Я рассказал о своем открытии мистеру N — он рассмеялся мне в лицо. Я посоветовал мистеру NN срочно продать экземпляр «Сонетов», который он незадолго перед тем приобрел примерно за 1000 долларов. Он так и поступил, выставив книгу на публичный аукцион. Вы хотите знать, почему я больше никому ни словом

не заикнулся. Я отвечу: мистер Уайз — мой старый друг и я не люблю портить чьих-либо репутаций». Далее «благородный» владыка книжной Америки переходит к прямой защите «старого друга»: «Есть, однако, нечто в истории Уайза, что вопиет о защите к благородной душе собирателей книг. Это его всепоглощающая страсть к книгам — никто не любил их так горячо, как он, и вот почему я думаю, что не только с коммерческой целью создавал он свои подделки. Он готов был пойти как угодно далеко, чтобы завладеть бриллиантами, сверкающими в его коллекции. Не одобряя его тактику, мы не должны утрачивать свои симпатии к нему».

*

«Следствие» и библиографическая экспертиза по делу Уайза, по существу, начались за много лет до его разоблачения. Первый сигнал прозвучал в январе—феврале 1898 г. со страниц журнала «Атенеум». Речь шла о брошюре Р. Л. Стивенсона «Некоторые воспоминания о колледже», которая, как предполагали, была напечатана в Эдинбурге для членов комитета Университетского союза в 1886 г. Выяснилось, что эти мемуары печатались в Университетском сборнике в самом конце 1886 г. Брошюра по дате выпуска, означенной на ней, была более ранней. Между тем ни Стивенсон, ни эдинбургские издатели о такой форме публикации «Некоторых воспоминаний...» никогда не слыхали. В письме эдинбургских издателей в редакцию «Атенеума» было сказано, что «никакое это не первое издание, а пиратская перепечатка, продажа которой незаконна». Издатели «Атенеума» сделали к публикации письма примечание, в котором решительно не соглашались с его авторами, ссылаясь на «одного из авторитетнейших наших библиографов». По утверждению мистера Уайза, сам Стивенсон выпустил несколько экземпляров брошюры для друзей, о чем свидетельствует имеющийся в Эшли

экземпляр брошюры с подписью автора. Упрямые единбуржцы не успокоились и разразились грубоватыми выпадами по адресу «библиографического авторитета». Уайз выступил на сцену самолично, но как-то неубедительно: во-первых, он теперь ни слова не сказал об автографе Стивенсона (т. е. снял главный довод!); во-вторых, заявил, что брошюра — и не пиратство, и не «подозрительное издание»: она напечатана именно в 1886 г. Однако никому и в голову не приходило отрицать подлинность даты. Как бы то ни было, «библиографический авторитет» нервничал.

Не успела еще утихнуть эта история, как в «Атенеум» обратился (22 января 1898 г.) издательский агент известного писателя и художника Уильяма Морриса. По его словам, книжка Морриса «Сэр Гэлахед. Рождественская мистерия» (1858) — фальшивое издание, никогда автором не санкционированное. Как и в первом случае, некто взял текст произведения из позднейшего сборника и выпустил в свет как якобы более ранний. Имя Уайза не упоминалось. Однако о его настроении можно догадываться.

Когда за дело взялись Картер и Поллард, обе эти брошюры заняли законное место в списке уайзовских фальсификаций.

Удар-предостережение Уайз получил в 1903 г., когда вышел из печати первый том 39-томного собрания сочинений Джона Рёскина. Уайза интересовало, конечно, как. отнеслись комментаторы к тем частным первоизданиям Рёскина, истинное происхождение которых знал один-единственный человек на свете. Это были «Леони: итальянская легенда» (1868) и стихотворение «Скифский гость» (отдельное издание 1849). В обоих случаях составители собрания сочинений высказали недоверие к этим «первым» и к издательским предисловиям, им предпосланным. Они не поленились поднять архивы той фирмы, которая значилась в выходных данных «Ле-

они» 1868 г., и не обнаружили там никаких сведений об этой брошюре.

Дальше — хуже. Готовя к выходу 12-й том Рёскина, составители стали в тупик перед брошюрой «Национальная галерея», датированной 1852 г. Несложное текстологическое исследование показало, что издатель в 1852 г. пользовался текстом... из сборника 1880 г. «Из этого следует, — писали специалисты по Рёскину, — что это издание „особой редкости" есть то, что в торговле называют „fake" — „подделка"». Но подлинное негодование, выплеснувшееся в относительно парламентской форме на страницы 18-го тома, вызвала брошюра «Сады королев» (1864), содержащая текст знаменитой лекции Джона Рёскина. Составители заявили: «Эта брошюра, которая на языке книжников всегда называлась «наиредчайшей», есть, как и отдельные издания «Леони» и «Национальной галереи», — подделка. Она якобы выпущена фондом университета св. Эндрью, но в этом случае тираж ее, конечно, не мог быть ограничен несколькими экземплярами. Она имеет гриф издательской фирмы, которая не значится в справочниках Почтового ведомства. Первое упоминание о ней в журнале «Книжник» в 1893 г. — подписано литерой W; факсимильное воспроизведение титульного листа находим также в «Библиографии Рёскина», изданной Томасом Уайзом. Несколько экземпляров брошюры «Сады королев», время от времени появлявшиеся на рынке и переходившие в разные руки по высоким ценам, выглядели как новенькие... Совершенно очевидно, что брошюра эта совершенно не то, за что ее пытаются выдать, — это гнусная фальшивка. Человек, выбросивший ее на рынок, не знавший, что в 1871 г. Рёскин исправил текст лекции, имел наглость произвести на свет «первое издание чрезвычайной редкости», основанное на позднейшем варианте текста».

Кажется, издатели Рёскина впервые намекнули

на то, что ответственность за фальсификацию может нести и Уайз. Они довольно едко высмеяли его восторженный отзыв о «распраредкости» «Садов королев» 1864 г. Однако, не имея стопроцентных доказательств, невозможно вслух назвать имя мошенника, если это человек, уважаемый и в Сити и в Британском музее.

Наконец, еще один маленький скандал перед большим скандалом разразился в 1920 г. Мисс Флора Вирджиния Ливингстоун, сотрудница библиотеки Гарвардского университета в США, напечатала 32-страничную брошюру «Библиографические сведения, относящиеся к некоторым публикациям Чарлза Алджернона Суинберна», основанную на пристальном изучении библиографии изданий Суинберна, составленной Томасом Уайзом. Как деликатно писала автор брошюры, в результате изучения ряда книжных коллекций в США ей «удалось собрать некоторую информацию, неизвестную мистеру Уайзу». Попросту говоря, были разоблачены кое-какие подделки Уайза: «Клеопатра» (1866), «Сиена» (1868) и некоторые другие, на самом деле выпущенные нашим героем после 1886—1887 гг. Дело осложнялось тем, что разоблачения мисс Ливингстоун касались лишь самой верхушки той пирамиды жульничества, которую возвел Уайз около наследия Суинберна — здесь был целый каскад фальшивых изданий, пиратских перепечаток, комбинированных (т. е. составленных из нескольких) экземпляров, прямого обмана и нелепых ошибок. Именно на Суинберне Уайз нажился как никогда, купив у наследника рукописи поэта. Опасность Уайзу грозила несомненная: в любую минуту могли последовать новые разоблачения. И он решился на резкое выступление, заявив: «Бессмысленные предположения были высказаны мисс Ливингстоун в ее безнадежно невежественной и дезориентирующей брошюре».

Американка нашла достойный ответ англичанину:

в 1927 г. она составила полную библиографию Редьярда Киплинга, в которой объявила, что издания «Белые лошади» (1897) и «Бремя белого человека» (1899) — пиратские, воровские перепечатки. О реакции Уайза на это удалось узнать лишь после его смерти — из письма Флоры Ливингстоун к У. Партингтону: «К несчастью, я была одной из первых, кто критиковал его работы, и он мне этого не простил. Я подкрепила все мои утверждения книгами, имеющимися в нашей библиотеке, и он потом включил мои данные в свою библиографию. А меня все же не простил и считал невежественным человеком. Мои отношения с ним были интересны, но то, что я могу сказать, и то, что я думаю, не может появиться в печати. Он был большим человеком и очень любопытной *тайной,* но к чему впадать в ярость, когда кто-то обнаруживает ваши ошибки? Все мы их совершаем, и большинство из нас радуется, когда на них указывают».

*

12 октября 1933 г. к Томасу Уайзу явился молодой человек по имени Грэхем Поллард. «Он выпалил в меня целой очередью вопросов по поводу «некоторых брошюр», — рассказывал Уайз, — и через пару дней прислал вопросник, отпечатанный на машинке». Уайз был раздражен и отзывался о своем посетителе нелестно.

Картер и Поллард, суммировав слухи о подделках, с 1920-х годов ходившие по книжному Лондону, и собственные соображения, составили список подозрительных книг, которые подлежали проверке. И первое же их наблюдение оказалось плодотворным для «следствия» — *все* эти названия не раз мелькали в каталогах книжной торговли Герберта Горфина. Сразу возникли новые вопросы: имеют ли эти книги общее происхождение? если да, то каков источник их появления? возможны ли дополнения к списку?

Горфин, как мы знаем, оказался лишь орудием в руках крупного мошенника и серьезной ответственности нести не мог. Что касается «общности» всех подозрительных книг, то она была доказана вполне научными методами. Обычно авторы, пишущие об Уайзе, считают, что, скажем, в начале века совершенно невозможно было применить ту систему расследования, к которой прибегли Картер и Поллард в начале 1930-х годов. Едва ли это так — вспомним научную методологию великого детектива с Бейкер-стрит: его химические опыты, исследования о сортах табачного пепла, о шляпах, обуви и одежде преступников и о многом другом, что так дотошно перечисляет доктор Ватсон. Разве только дактилоскопией мистер Шерлок Холмс не пользовался, но и Картер с Поллардом ее не применяли. По-видимому, все дело в том, что криминология и библиография до появления книги Картера и Полларда вообще не соприкасались.

Начали книговеды-криминалисты с того, что тщательно исследовали бумагу, на которой были напечатаны подозреваемые брошюры. До середины XIX в. книжная бумага в Англии производилась из тряпья. Однако к 1850—1860-м гг. развелось столько любителей чтения, что тряпья стало не хватать. Вдобавок гражданская война в американских колониях вызвала хлопковый голод в метрополии. Примерно с 1861 г. стали пользоваться особой травой, ввозимой из Северной Африки и Южной Испании. И лишь в 1874 г. поняли, что лучшим сырьем для бумаги служит не хлопок и не африканская трава, а древесная масса. С тех пор дерево, обработанное химикалиями, стало единственным сырьем для английской бумаги. Так вот — подделки Уайза, все без исключения, напечатаны на бумаге из химически обработанной древесной массы. Она не могла быть произведена ранее 1874 г., а скорее всего — и до 1883 г.

Другая линия «следствия» связана с типограф-

ским набором. Специалисты давно научились определять, например, в какой именно типографии напечатаны инкунабулы. То же относится и к шрифтам первой трети XX века. Картер и Поллард привлекли крупнейших знатоков шрифта и выяснили, что, хотя рассматриваемые брошюры были набраны неодинаковыми шрифтами, и названия типографских фирм обозначены на них самые разнообразные, буква «f» у них у всех совершенно одинаковая; то же относится и к вопросительному знаку «?». Оставалось найти, так сказать, «независимую» книгу, где «ф» и знак вопроса были точно такие, как во всех «подозрительных». Тогда выявится типография, их печатавшая. Такая книга скоро нашлась: «Самоучитель арабского языка», выпущенный в типографии Ричарда Клея и сыновей в 1893 г. Наследники фирмы, как мы знаем, вынуждены были признать, что, сами того не ведая, печатали подделки.

В центре «следствия» оказались «Сонеты (с португальского)» — самая известная и самая дорогая на книжном рынке подделка Томаса Уайза. Расскажем о логических построениях Картера и Полларда.

Во-первых, их интересовало, существуют ли экземпляры «Сонетов» с дарственными или посвятительными надписями Элизабет Браунинг? Ведь она решительно возражала против публикации и, по существующей версии, отважилась лишь на частное издание, ничтожное по тиражу. Такие книги особенно часто хранят след руки автора, поскольку их раздают ближайшим друзьям. Хотя Элизабет Браунинг не злоупотребляла автографами, но все же существуют подписанные автором экземпляры каждой ее книги — кроме «Сонетов» 1847 г. Не удалось обнаружить также ни одной записи кого-либо из ее друзей о получении подарка.

Во-вторых, Картер и Поллард постарались выяснить, хранит ли хоть один экземпляр «Сонетов» библиофильские следы времени: книжный знак, вла-

дельческую надпись, пометы читателей. Иначе говоря, можно ли доказать, что хотя бы одна книжечка «Сонетов» миновала мистера Беннета, от которого Уайз якобы получил 12 экземпляров. Нет, такую книжечку обнаружить не удалось. Фальсификатор умело разрабатывал «родословную» книги, он даже подклеивал к экземплярам обрывки писем мисс Митфорд к миссис Браунинг, стараясь создать видимость переписки по поводу издания. Но следов руки Митфорд или хотя бы Беннета на самих книгах ни в одном случае не нашлось.

В-третьих, авторы «Расследования» задались вопросом: неужели абсолютно все экземпляры «Сонетов» девственно чисты — не зачитаны, не помяты, не запачканы? В викторианскую эпоху у английских библиофилов был обычай облекать каждую книгу в кожаный переплет (кроме тех случаев, когда оригинальный издательский переплет был роскошный), а уж такую тоненькую, «ранимую» и редкую книгу — и подавно. Уайз, действительно, велел переплести некоторые экземпляры «Сонетов», но в сафьян с обрезанным верхним краем и нетронутыми остальными. Конечно, книги могли быть переплетены заново, но хоть один библиофильский переплет середины века должен был сохраниться. Увы, нет... Получается, что и здесь Уайз «попал в переплет».

В-четвертых, есть и такое противоречие. К изданию 1850 г. Элизабет Браунинг подготовила беловую рукопись «Сонетов». Зачем ей понадобилось их переписывать, если существовало более раннее издание? Необъяснимо!

В-пятых, почему мистер Беннет, живя совсем не богато, никогда не попытался продать редчайшие издания? Ведь он умер в нужде в марте 1895 г., за четыре месяца до того, как Э. Госсе обнародовал версию о «Сонетах».

В-шестых, чем объяснить такую странность: тщательный анализ переписки Браунингов не обнаружил

ни одного упоминания о таинственной книжечке. Ведь супруги-то друг от друга всей этой истории не скрывали?

Словом, экспертиза была проведена Картером и Поллардом более чем тщательно. Учитывались различные аспекты: типографские, историко-литературные, психологические. И такому анатомированию подвергались не одни только «Сонеты», а около 50 книг.

Но все же, выпуская в 1934 г. «Расследование происхождения некоторых брошюр», Картер и Поллард не назвали виновника по имени. Картер мотивировал это примерно так: мы могли безоговорочно утверждать, что Уайз ответствен за подделки, но еще не знали о тех заработках, которые они ему принесли, — не знали об истинной цели всей этой аферы. Работа двух молодых библиографов вызвала подлинный библиофильский шок: впервые такое огромное число аукционных ценностей («Сонеты» стоили 250 фунтов) оказалось мыльным пузырем. Богатые библиофилы всех континентов не любят, когда их дурачат, облапошивают, и еще больше не любят, когда их грабят. Шум поднялся весьма значительный.



Последние слова и дела Томаса Уайза



Нарушим в очередной раз элементарные процессуальные нормы и предоставим последнее слово обвиняемому прежде речей прокурора и адвоката. Некоторым оправданием автору послужит то, что и в жизни последние акции Уайза относятся к более раннему периоду, чем высказывания его многочисленных посмертных прокуроров и адвокатов.

Итак, побеседовав с самой Судьбой в лице юного мистера Полларда, Томас Уайз повидался со старым знакомым Гербертом Горфином и вовсе ему незнакомой прежде Сесиль Клей. В обоих случаях он потерпел неудачу, пожалев, наверное, о тех совсем еще недавних временах, когда лондонцы пользовались фиакрами, а не автомобилями и были куда простодушнее — хотя бы в делах библиофильских.

Следующий его шаг, правда запоздалый, — он скупает остатки тиража тех странных незаконных детей типографского станка, которые, как он думал теперь, принесли слишком мало дохода молодому члену уважаемых литературных обществ, чтобы патриарху английской библиографии пришлось расплачиваться за них столь дорогой ценой.

24 мая 1934 г. он попытался нанести, как теперь бы мы сказали, упреждающий удар. В «Литературном приложении» к газете «Таймс» появилось его длинное письмо, озаглавленное редакцией «Сонеты миссис Браунинг. 1847». Письмо начиналось так: «Сэр! Мне было высказано предположение, что эта книга с обозначением издательских сведений «Рединг... Не для публикации» — подделка, выпущенная много лет спустя после 1847 г.» С потрясающей объективностью, напоминающей принципиальность хамелеона, мистер Уайз признавал, что при жизни Роберта Браунинга никаких сведений о книге в печать не попало. Напомнив опубликованную в том же «Литературном приложении» рецензию на «Письма Браунинга», в которой было отмечено, что поэт не знал о существовании редингских «Сонетов», Уайз заявил: «Это представляет серьезную трудность для признания книги 1847 г. подлинной». «Полный назад!» — так это следовало понимать. Далее к месту ввернуты ссылки на Э. Госсе, который якобы беседовал с Браунингом о «Сонетах» (беседу эту некогда провел — или не проводил — сам Уайз и пересказал ее содержание Госсе). Получалось, что Госсе, первым возвестивший миру о «Сонетах» 1847 г., стал невинной жертвой заблуждения. Последнее, впрочем, совершенно верно. Вывод из всей этой цепи вывертов был замечателен по своей наглости: «Я вынужден прийти к заключению, что книга 1847 г. не аутентична».

Однако Уайзу нужно было как-то объяснить историю книги, которую он теперь готов был трактовать совершенно иначе, чем прежде, но отнюдь не склонялся к чистосердечному признанию. Слава богу, покойников, на которых можно все свалить, хватало. И вор закричал: «Держите вора!» «Кто мог это произвести на свет?» — спрашивал Уайз и отвечал: «Одно имя должно быть очищено от подозрений в связи с этой историей сразу же — имя, которое никогда

не было бы названо, если бы не моя собственная нелепая ошибка. В предисловии к «Библиотеке Браунинга» (1929), написанном через 43 года после события, я рассказал историю моего визита к У. С. Беннету в 1886 году и сообщил, что купил у него два экземпляра «Сонетов», а еще раньше, в каталоге Эшли (1922) я также отметил, что эти книжечки достались мне от доктора Беннета. Но беда в том, что на самом деле я унес от него не эти, а его собственные — «Мои сонеты», частным образом напечатанные в Гринвиче в 1843 г. Перепутать такие две книжки непростительно даже через 36 лет. Это может быть объяснено только содержанием нашей с ним беседы... Мои два экземпляра «Сонетов (с португальского)» получены мною не от Беннета, а от Бакстона-Формена (один покойник выпущен взамен другого, но поздно! — *В. К.*), но откуда они у него оказались? Ни я, ни сын его мистер Морис Бакстон-Формен не можем сказать этого хоть с какой-либо долей уверенности. Однако я надеюсь, что сын моего друга найдет какие-либо следы этого в переписке своего отца».

Как справедливо замечает Партингтон, этим письмом Уайз «пустил свою карьеру по ветру». Король библиофилии и библиографии оказался голым. В самом деле, более неуклюжей лжи великий мастер обмана никогда на свет не производил. Стоило ли с такой тщательностью разрабатывать в свое время версию мистера Беннета, «друга мисс Митфорд, подруги Элизабет Браунинг», чтобы столь бесславно от нее отказаться? Уайз знал уже, что в книге Картера и Полларда речь пойдет о бумаге, на которой отпечатаны «Сонеты»: она была произведена лет через тридцать с чем-то после «издательской даты». Пришлось Уайзу бормотать нечто невнятное, а в заключение заявить: «Я оставляю дальнейшее изучение вопроса тем, чье зрение различает микроскопические детали лучше, чем мои старые глаза».

Однако шок и шум только еще начинались. 31 мая 1934 г. «Литературное приложение» поместило два письма. Одно от Бакстона-Формена младшего, поддержавшего версию Уайза о том, что экземпляры «Сонетов» находились у его покойного отца. Это была очевидная попытка оказать дружескую безопасную услугу терпящему бедствие Уайзу. Однако у письма Формена младшего была и более серьезная подоплека. Ходили слухи (по-видимому, не беспочвенные), что покойный Формен был соучастником некоторых афер Уайза. Формен младший понимал, что разоблачение диктатора книжного мира могло нанести ущерб репутации его отца. Второе, краткое, письмо принадлежало Грэхему Полларду и сообщало, что мистер Уайз неосновательно пытается запутать типографическую сторону дела, которая во всех подробностях будет изложена в книге «Расследование происхождения некоторых брошюр XIX столетия». Появления этой работы можно ожидать через несколько недель.

2 июля 1934 г. книга Джона Картера и Грэхема Полларда вышла в свет. Даже письмо Томаса Уайза в «Литературное приложение» успело попасть в «Расследование...». Новаторское по своему существу преступление потребовало и оригинальных методов разоблачения. 50 брошюр были подвергнуты типографическому и химическому анализу. Но в некоторых случаях ясность все же не была достигнута. Тогда Картер и Поллард прибегали к методам текстологическим, стараясь определить, не закрались ли в «ранний» текст поправки, сделанные авторами в более позднее время. Этим последним способом были разоблачены пять подделок. Изучение каталогов книжных фирм и аукционов показало, что, хотя даты фальшивок начинались с 1842 г., ни одна из них не продавалась до 1888 г.

Подавляющее большинство книг, как явствовало из журнальных, газетных и книжных публикаций,

были «обнаружены» Томасом Уайзом и разрекламированы в его библиофильско-библиографических трудах. Экземпляры уайзовских брошюр, за одним-единственным исключением, не имели ни подписи автора, ни каких-либо других автографов. Исключение — брошюра Уильяма Морриса: увлекшись, во время какого-то важного митинга, маститый писатель, художник и общественный деятель подписал титульный лист издания, которое никогда не выпускал. Весь этот следственно-библиографический материал был изложен с убийственной логикой и вызвал переполох. Единственный прямой выпад авторов по адресу Уайза был такой: «Нам трудно поверить, что мистер Уайз не догадается теперь, кто фальсификатор; но пока не догадался, он правильно делает, что не высказывает никаких предположений».

Книга Картера и Полларда вызвала целую вереницу публикаций в газетах и длинных рецензий в журналах. Некий дотошный корреспондент «Дейли геральд» добрался до Гастингса, где лечился в то время Томас Уайз, и то ли вправду получил, то ли смастерил интервью с ним. 30 июля 1934 г. Уайз якобы заявил: «Бóльшая часть «разоблаченных» книг — подлинники. Те же, что действительно фальшивы, напечатаны в середине или в конце 80-х годов. В то время я был 20-летним молодым человеком, охотящимся за книгами и за знаниями о книгах. Между тем эти издания принимались тогда как подлинники такими людьми, как Бакстон-Формен, сэр Эдмунд Госсе, Уильям Россетти, доктор Гарнет из Британского музея и другими». Что правда, то правда — принимались за подлинники!

В опубликованном интервью верный себе Уайз попытался (кажется, в последний раз) уцепиться за покойника. «Бакстон-Формен, — объяснил он, — имел привычку отправлять остатки тиража разных книг авторов, в будущее которых он верил, так сказать, «в запас», чтобы в дальнейшем обменивать их.

Так пришли и ко мне многие из этих брошюр — либо в обмен на рукописи из моей коллекции, либо в уплату за издания общества Шелли, на которые Формен подписывался. Эти брошюры продавались через Горфина, который просил давать их ему как можно больше. Формен сказал, что он готов отдать всё, и я передал их Горфину. Я был лишь передаточной инстанцией...». Излюбленный прием всех жуликов — утверждать, что они лишь посредники, «передаточная инстанция»!

С подкупающей откровенностью Уайз поведал корреспонденту о том, как посетил его Поллард. «Я ответил, что их разыскания мне очень интересны, — сообщил Уайз, — и предложил свою помощь в той мере, насколько я мог помочь. Он твердо заявил, что помощь им ни от кого не нужна, но они хотят услышать от меня, кто именно дал мне экземпляры брошюр и представил мне список. Я возразил, что так вот сразу сказать ему, где и когда приобрел брошюры, каждая из которых стоила мне всего несколько шиллингов 30—50 лет назад, затрудняюсь. Вдобавок экземпляры, теперь хранящиеся в моей библиотеке, — не обязательно те, что я получил в свое время от Бакстона-Формена. На другой день мистер Поллард прислал мне список брошюр (номеров 30 или более) с просьбой указать источник получения каждой из них. Я бы обязательно сделал это. если бы не слухи, дошедшие до меня в тот момент». Фальсификатор хотел сказать, что, узнав о подозрениях, не пожелал влезать в это «грязное дело». Затем он допустил выпад против книготорговцев, намекнув на их корыстолюбие и зависть: «Всю жизнь я боролся против скверных экземпляров книг и учил людей выбрасывать их прочь. Это причиняло мелким торговцам ужасный вред, и они проклинали и ненавидели меня».

12 июля 1934 г. Уайз написал в «Литературное приложение», сообщив, что бегло просмотрел страницы «Расследования...», но не считает нужным тра-

тить время «на объяснение своего отношения к тем изданиям, аутентичности которых брошен вызов». Однако он категорически отрицал, что когда-либо держал про запас тираж какой-либо брошюры, сваливая по-прежнему ответственность за это на Бакстона-Формена.

Сказав свое последнее лживое слово, Уайз умолк. Но другие молчать отказывались. 19 июля 1934 г. появилось предательское по отношению к бывшему патрону обращение Герберта Горфина к редактору. Горфин писал: «Сэр! Мистер Уайз заявил в вашей газете 12 июля, что он получал экземпляры брошюр, разоблаченных как подделки в книге мистера Картера и мистера Полларда, от Генри Бакстона-Формена. Я регулярно по поручению мистера Уайза продавал их с 1898 г. и купил у него то, что считал остатками тиража в 1909—1911 гг. Во всех наших переговорах ни разу даже намеком не упоминалось, что эти книги имеют какое-либо отношение к мистеру Формену; предложение называть его владельцем брошюр было сделано мне мистером Уайзом 14 октября 1933 г., после того, как мистер Поллард посетил его и представил доказательства, что все брошюры фальшивые. Прежде мистер Уайз выдвигал мне совершенно иную версию их происхождения».

23 августа 1934 г. «Литературное приложение» поместило письмо нейтрального представителя библиофильской общественности лорда Эшера: «Сэр! Собиратели книг во всем мире все еще хотят услышать от мистера Уайза объяснение насчет подделок, разоблаченных в «Расследовании...». Те из нас, кто приобрел поддельные издания за большие деньги, не могут оставить это дело незавершенным. Мистер Уайз заявил в опубликованном вами интервью, что значительная часть упомянутых книг подлинна. Было бы только справедливо, если бы мистер Уайз сообщил нам, какие именно из подозреваемых изданий подлинны и на чем он основывает свое мнение.

У него, видимо, есть аргументы, опровергающие старательное расследование Картера и Полларда. Эти аргументы должны быть высказаны. Из книги ясно, что мистер Уайз играл огромную роль в продвижении на рынок фальшивых брошюр, он более, чем кто-либо, заинтересован в подлинном расследовании. Он ведь преподнес 23 из них в Британский музей и 15 в библиотеку Кембриджского университета... Как бы то ни было, единственное объяснение, которое мы услышали от мистера Уайза, — возложение ответственности за хранение подделок на мистера Бакстона-Формена. Предполагает ли мистер Уайз, что мистер Формен был фальсификатором? Или, если он тоже стал жертвой обмана, то кем же созданы брошюры?.. Какие-то доказательства столь длительных акций должны существовать, и их следует обнародовать».

Ни Уайз, ни сын мистера Формена на этот призыв не ответили. В следующем выпуске «Литературного приложения» было напечатано коротенькое письмецо супруги библиографического диктатора, в котором она сообщала общественности, что он нездоров и врачи категорически запретили ему продолжать публичную переписку. В ноябрьских номерах дискуссия вспыхнула вновь, но уже без участия главного героя.

В декабре 1934 г. президент Роксберского клуба — этой «святая святых» библиофильской Англии, попросил члена клуба мистера Томаса Уайза дать объяснение по поводу тех обвинений, которые на него возводятся, и с этой целью посетить резиденцию главы клуба 12 декабря. Сославшись на нездоровье, Уайз ограничился письменным заявлением. Он категорически отрицал, что когда-либо произвел на свет хоть одно фальшивое издание, и высказывал мнение, что возводить на одного человека ответственность за такое количество подделок, выпущенных в свет на протяжении столь короткого периода, не-

лепо. С самоубийственной логикой Уайз утверждал теперь, что будь он производителем всего этого жульнического товара, он не стал бы держать годами тиражи у себя дома и вытаскивать на свет по книжечке в год. Заявление Уайза не удовлетворило членов клуба, и ему предложили подать в отставку, что и было исполнено... «в связи с болезнью».

Газеты и популярные журналы были полны громких заголовков, набранных крупным шрифтом. Те библиофилы и книжники, которые десятилетиями клялись именем Уайза, были шокированы. Они требовали нового беспристрастного расследования, третейского суда и т. п. Им не хотелось верить, что богатый и процветающий коллекционер, владелец прекраснейшей частной библиотеки в Англии «всего-навсего» подделал полсотни изданий. Вышла даже брошюра в защиту Уайза, написанная его другом, владельцем книжной фирмы в Лондоне и Нью-Йорке, Габриэлем Уэлсом. Сотрудники Британского музея уговаривали Уайза выступить с покаянием. Но он этого так и не сделал.

У. Партингтон вспоминает о нескольких своих визитах к Уайзу в последние годы его жизни. Он страдал каким-то нервным заболеванием, но был достаточно крепок, чтобы часами говорить о своей библиотеке и твердой рукой надписать в дар Британскому музею последний, 11-й, том Эшли-каталога, вышедший в 1936 г. В присутствии жены он не упоминал о «Расследовании...», но когда она вышла из комнаты, Уайз, разглядывая какую-то книгу с автографом Теннисона, желчно сказал: «В следующий раз они скажут, что и это вранье!» Вошла миссис Уайз, и воцарилась тишина.

13 мая 1937 г. Томас Уайз скончался. 14 мая «Таймс» поместила короткий некролог, в основном восхваляющий библиотеку Эшли, а не Уайза. В конце было кратко отмечено, что в 1934 г. кредит Уайза как ученого-библиографа был сильно подорван ра-

зоблачением ряда брошюр, репутация которых держалась исключительно на выпущенных им библиографических трудах. Однако снова раздались голоса в защиту теперь уже мертвого Уайза. Как не совсем безосновательно замечает Партингтон, «век дорожит репутацией больше, чем истиной». 18 мая в «Таймс» появилась заметка за подписью «Личный друг Томаса Уайза». Автор выражал сожаление, что публичному осуждению подвергался «тяжело больной человек, неспособный отстоять свои интересы в том сражении, в ходе которого он умер». В ответ (19 мая) выступил некто, подписавшийся «Библиограф». «При всем уважении к «личному другу» мистера Уайза, — писал он, — считаю нужным заметить, что покойному не было никакой нужды вступать в сражение относительно поддельных изданий. Он был вполне здоров, когда прислал в «Таймс» длинное, хотя и нелогичное письмо (12 июня 1934 г.), да и в дальнейшем достаточно крепок, чтобы наблюдать за печатанием 11-го тома. Представлялось (и представляется) многим людям, что он обязан был сделать короткое заявление о фактах. Только это и требовалось».

Простимся с Томасом Уайзом, ибо он уже ничего не может сказать ни в свою защиту, ни в обвинение других, и предоставим слово его выдающемуся современнику и давнему знакомому.



Книговедческий парадокс Джорджа Бернарда Шоу



Первое издание книги У. Партингтона об Уайзе вышло не в Англии, а в США, в 1939 г. Вскоре автор получил письмо «великого ирландца», патриарха английской словесности, Бернарда Шоу с просьбой прислать ему книгу. Шоу, как уже говорилось, был с юных лет знаком с Уайзом; кроме того, он был заядлым книжником. В воспоминаниях о нем советского дипломата и ученого И. М. Майского приводится такая реплика непревзойденного мастера парадокса: «Из всех учреждений Британской империи я признаю только Британский музей». В молодости Шоу считал читальный зал музея своим кабинетом. В 1939 г. ему было уже 83 и, хотя он перенес тяжелую болезнь, интерес к жизни, прошлой, настоящей и будущей, был у него огромный. Итак, Шоу писал Партингтону: «Я прочитаю Вашу книгу с интересом, чтобы поглядеть, как преподнесли Вы Великое Разоблачение. Были ли так называемые подделки на самом деле розыгрышем с его стороны, который торговцы книгами приняли всерьез? Или это были факсимильные воспроизведения, сделанные, как издания общества Шелли? Печатники, должно

быть, думали именно так. Другие оправдания едва ли возможны. Да Томас Уайз никогда и не выдвигал никаких оправданий. Комплекс коллекционерства обычно приводит к подделкам, как было с Колье» *.

После этого письма Партингтон послал Шоу свою работу, в которой, скажем сразу, придерживался совершенно иных взглядов на дело Уайза, не считая подделки шуткой и «комплексом коллекционерства». Справедливо, на наш взгляд, называя вещи своими именами, а мошенника мошенником, Партингтон вместе с тем чуть-чуть терял чувство юмора при описании его похождений. Вдобавок он вывел на сцену истории только одного злодея — Томаса Уайза, забыв о его клиентах и даже сотрудниках. Библиоманическое стремление коллекционеров к обладанию редкостями во что бы то ни стало, корыстолюбие многих из них, наконец, простодушие, основанное на невежестве, — все это осталось в книге Партингтона несколько в тени. Мы отнюдь не разделяем точку зрения Бернарда Шоу, с которой читатель сейчас познакомится, а лишь напоминаем, что всякая крайность имеет свою теневую сторону.

Итак, в четверг 4 июля 1940 г. в своем домике в Клиффорд-инн Бернард Шоу написал замечания на полях и свободных листках первого издания книги У. Партингтона о Томасе Уайзе. В лондонском расширенном издании 1946 г. Партингтон эти замечания воспроизвел.

Шоу сделал ряд конкретных возражений Партингтону на полях книги. К примеру, в итоговой главе автор резко обрушился на «теорию шуточки» — на попытки объяснить неблаговидные деяния Уайза его желанием одурачить, разыграть библиофильский мир. В ответ на заявление Партингтона, что «теория шуточки» — слабейший из всех аргументов в

*
Джон Пэйн Колье (1789—1883) — фальсификатор произведений Шекспира и документов шекспировской эпохи.

защиту Уайза, Шоу пишет: «Отнюдь нет. Его чувство юмора безусловно помогло выбору этой особой формы розыгрыша, который вовсе не обещал быть таким прибыльным, каким стал. Он ничего не подделывал; весь его литературный материал был подлинным. Он не подделывал существующие первые издания, а изобретал несуществующие. Его выдумки никому не причиняли вреда и доставляли острое наслаждение коллекционерам. Почему мы должны сердиться на человека, который, не причиняя людям вреда, делал их счастливыми? Конечно, только глупцы могут предпочесть полные ошибок первоиздания более поздним исправленным. Но эти глупцы столь же безвредны, как и сам Томас Уайз». Такой вот книговедческий парадокс предложил неувядаемый Бернард Шоу!

Послушаем теперь ответ Партингтона во втором издании книги: «То, что подделки Уайза не обещали стать такими выгодными, какими оказались, ничего не значит. Он мог предвидеть, а мог и не предвидеть, что его хитроумная затея с публикацией фальшивок приведет к тому, что они будут стоить от 5 до 250 фунтов за экземпляр. Здесь доказывается другое: а) что он был заинтересован в немедленном получении от них материальной выгоды; б) что на деле они оказались для него высоко прибыльными. О том, как отнеслись бы его друзья и доверявшие ему клиенты, будь они живы, к тому, что он снабжал их фальшивками, и о том, насколько безвреден он был, фальсифицируя историю изданий многих знаменитейших авторов XIX века, — читатель может судить, прочитав эту книгу».

Склонность Шоу к парадоксам во что бы то ни стало и его несколько наивная доброжелательность, мешавшая ему понять стимулы некоторых негодяев, проявились и еще в одном эпизоде взаимоотношений великого драматурга с Томасом Уайзом. Шоу пишет на обороте последней страницы книги Пар-

тингтона: «Когда библиотека Уайза сделалась знаменитой и стало понятно, что она предназначена для Британского музея, я обещал ему передать письма Эллен Терри ко мне с условием, что он выкупит мои письма к ней, которые были проданы некоему американцу *. Уайз предложил за них 200 фунтов и не желал сдвинуться с этой цены (это меньше трети того, что заплатил в свое время американец), понимая, что позже они будут стоить гораздо дороже. Американец тем временем умер, и письма перешли к его сыну. Потом умер и Уайз, и я не слышал больше о моих письмах.

Тут вскоре разразилось разоблачение в книге Грэхема — Полларда **, и Уайз вместо того, чтобы прослыть создателем целой серии шутливых изданий и первым в своем роде мистификатором, был вынужден капитулировать (особенно после того, как лорд Эшер загнал его в угол), объявив через миссис Уайз, что врачи запретили ему продолжать полемику. Потом стало известно, что библиотека его не завещана Британскому музею, и больше не было уверенности в том, что музей каким-либо образом ее получит.

Вот почему я подарил письма Терри Британскому музею, где они теперь и хранятся».

Библиотека Эшли, как мы знаем, в музей в конце концов попала, но как поступил бы Уайз с письмами Терри и Шоу, окажись они у него в руках, трудно угадать. Впрочем, в 1933 г. ему уже не так просто было бы сделать на них бизнес в своем духе.

*

После смерти в 1928 г. знаменитой актрисы Эллен Терри — большого друга Шоу, он разрешил ее дочери продать его письма, адресованные Терри. Книга их переписки вышла в 1931 г. Оригиналы писем купил у издателя американский коллекционер Элбридж Адамс. Шоу предложил Уайзу выкупить письма в 1933 г.

* *

Описка Шоу. Верно: Картера — Полларда.

И, наконец, последнее пожелание Бернарда Шоу, записанное на обороте суперобложки: «Независимо от моего интереса к затронутой теме, я хотел бы пожелать автору, когда он будет выпускать издание книги в Англии, принять во внимание мое замечание на стр. 278 («теорию шуточки». — *В. К.*). Уайз дурачил покупателей, которые вполне этого заслуживали; но при этом, не причиняя вреда, он доставлял им возможность лишний раз насладиться излюбленным занятием.

Даже само разоблачение его было великолепной шуткой.

Но в таком случае зачем выводить Уайза в роли Джека-потрошителя или Уэйнрайта-отравителя?» *

Готовясь выпустить в свет лондонское издание (1946), Партингтон попросил у Шоу разрешения включить текст его замечаний в книгу. Разрешение было получено, замечания опубликованы — рядом с решительным возражением на них автора монографии «Томас Уайз в издательской обложке» **.

*

Джек-потрошитель — прозвище убийцы женщин, совершившего зверские преступления в Лондоне в 1888—1889 гг.; Томас Гриффитс Уэйнрайт — поэт, критик, коллекционер (XIX в.), известный также как преступник-отравитель. Ему посвящено эссе Оскара Уайльда «Перо, карандаш и яд».

* *

В самом названии книги «W. Partington. Thomas Wise in the original cloth» заключена игра слов. Его можно понимать и в переносном («полиграфическом») смысле, и буквально: «в первоначальном (истинном) одеянии». Возможен и литературный перевод: «Томас Уайз, каков он есть».



Прения сторон



Материалы дела Томаса Уайза читателю уже достаточно известны. Допрошены свидетели, прочитано мнение экспертов. Выслушаем теперь точку зрения обвинения и защиты, по возможности не повторяясь. Напомним лишь, что поскольку процесс наш воображаемый, то и выводы юридических сторон делаются с высоты времени, откуда все, конечно же, виднее, чем вблизи.

Речь обвинителя

Леди и джентльмены!

Перед вашими глазами прошла поистине ужасная вереница антикнижных преступлений человека, который по глубине и разнообразию познаний, общественному положению, наконец, по самому роду своих многолетних занятий призван был охранять и спасать, а не губить и фальсифицировать книгу.

Томас Уайз нарушил кодекс чести библиофила: он обменивал, продавал и прославлял книжные фальшивки, созданные им самим. Он грубо надругался над моральной чистотой книжного коллекционирова-

ния, свойственного всем народам во все обозримые исторические времена.

Томас Уайз нарушил кодекс чести добропорядочного коммерсанта: он торговал поддельным товаром, который не стоил и сотой доли уплачиваемой за него цены.

Томас Уайз посрамил профессиональную честь библиографа, ибо в свои библиографические труды включал названия книг, заведомо известных ему как поддельные.

Томас Уайз опустился до прямого воровства в национальной книжной сокровищнице Великобритании, опозорив себя как гражданина страны, в которой родился и жил.

Леди и джентльмены!

Преступления человека, представшего ныне перед судом истории, перед судом всех людей разных наций и поколений, которые видят в Книге источник духовного обновления, источник силы разума и сердца, не могут быть оправданы ничем. Томас Уайз действовал по заранее обдуманному им дьявольскому плану, который он разработал, не достигнув еще возраста 30 лет, и проводил в жизнь до последнего вздоха. Пятьдесят лет Томас Уайз был подпольным книжным дельцом, скрывая это под сладкой физиономией влюбленного в книги человека.

В 1934 г. мало кто способен был осознать истинную картину содеянного обвиняемым. Но с годами все стало на свои места, и у истории нет оснований быть снисходительной к преступнику. Цель преступления представляется двоякой: на первых этапах своей фальсификаторской, пиратской и воровской карьеры Томас Уайз видел в этом прежде всего побочный заработок; на последующих этапах, когда материальное положение его достаточно укрепилось, «открытые» Уайзом «первоиздания» служили укреплению репутации маститого библиографа. Глубокоуважаемый мистер Бернард Шоу, высказавший

мысль, что Томас Уайз совершил все ради «розыгрыша», «шутки», «потехи», как показывают факты, глубоко неправ. Обвиняемый на этом процессе совершенно лишен чувства юмора, во всяком случае, когда это касается денег. Только жажда наживы и жажда самоутверждения, как мы полагаем, руководили им.

Уайз никогда не щадил ничьих репутаций — ни писательских, как было, например, с Браунингом или Конрадом, ни библиофильских, как с Госсе и Форменом, ни коммерческих, как с Горфином и Рабеками. Пусть же сегодня в справедливом приговоре суда всех любящих книгу будет навсегда уничтожена его собственная репутация. Да будет имя его отмечено клеймом мошенника и вора, совершившего самый изощренный и самый долговременный обман в истории собирания книг.

Речь защитника

Леди и джентльмены!

Мне выпало противопоставить достаточно веские аргументы тяжким обвинениям, предъявляемым моему подзащитному на этом процессе. Замечу сразу, что «теория шуточки», предложенная высокочтимым «человеком века», величайшим из современных драматургов и доверчивейшим из живущих людей Джорджем Бернардом Шоу, не будет тем спасательным кругом, который я брошу моему подзащитному.

Позволю себе сказать о другом. Мистер Томас Уайз совершил переворот в английской библиофилии. С юных лет, с пустым кошельком отправился он в долгий путь собирательства, который в конце концов привел к тому, что библиотека Эшли, даже по мнению недоброжелательных к мистеру Уайзу экспертов, входит в первую десятку превосходнейших частных библиотек Европы и Америки. Томас Уайз

был собирателем, как говорят, «божьей милостью»; он обладал необычайным даром предвидения книжных судеб, знанием дела, преданностью избранной стезе. Он едва ли не первым в Англии понял значение «девственных» книг. Для 1880—1890-х годов это было совершенно необычно. Постоянная библиофильская колонка, которую Томас Уайз вел в журнале «Книжник», вызывала интерес нескольких поколений английских собирателей.

Библиотека Эшли — грандиозное книжное предприятие, запечатленное в 11 томах великолепного каталога, — финансировалась частично путем выгодной продажи дублетов, частично из гонораров мистера Уайза за помощь богатейшим людям Англии и Америки в комплектовании библиотек. И только небольшую долю в расходах на Эшли составляли прибыли, которые извлек мой подзащитный из реализации тиража 50 брошюр не совсем почтенного происхождения. Не отрицая факта подделок, на которые решился Томас Уайз в конце прошлого века, обращаю внимание суда на то, что средства, вырученные за них, обращены были на пополнение славнейшей в нашей стране коллекции книг.

Напомню и еще об одной заслуге человека, который предстал, пусть заочно и посмертно, перед суровым судом. Начав с собирания книг в новых любительских переплетах, Томас Уайз пришел вскоре к пониманию истинного значения книги в «первозданном виде». И хотя Эшли хранит и поныне часть своего фонда в библиофильских переплетах, но львиная доля первоизданий предстает в ней перед нами в оригинальных издательских обложках. Став пионером в этой области, Томас Уайз помог изменить общую собирательскую тенденцию, принеся огромную пользу библиофилии.

12 библиографий Уайза, посвященные корифеям нашей литературы (от Вордсворта до Конрада), — жизненный подвиг ученого. Уже одно это не позво-

ляет чернить его с головы до пят. Речь идет о совершенно новом типе издания, в котором библиографические детали неразрывно связаны с историей жизни писателя. Томас Уайз внес огромный вклад в библиографию английской литературы 1650—1900 годов. Уайз был дотошным и великолепно образованным библиографом. Промахи его ничтожны в сравнении с его достижениями. Конечно, в его библиографиях значатся и те «50 одиозных книг», но не следует ли отнестись к ним как к своеобразным островкам курьезов в океане истины?

Я хотел бы сегодня задать вопрос огромному и все пополняющемуся библиофильскому миру: почему теперь вы так охотно повергаете в прах своего кумира, которому безоговорочно верили 50 лет? Почему не спросите самих себя: что же мешало нам прежде открыть истину — наше невежество, легковерие, библиофильское тщеславие? Думаю, прежде всего — наша некомпетентность. Уайз знал книгу и психологию книжников. Так не поблагодарить ли его за урок?

Защита не видит оснований просить суд библиофильских поколений о безоговорочном оправдании обвиняемого. Этому мешает и мрачная страница в его деятельности — «Трагедия Елизаветинской драмы». Однако и здесь парадокс: Томас Уайз разрушал одни книги, чтобы пополнять и спасать другие!

Все сказанное дает защите основание просить суд о снисхождении и назначении минимальной меры наказания, предусмотренной исторической памятью.



Три эпилога вместо одного приговора



Право приговора по делу Томаса Уайза принадлежит, разумеется, всем любящим литературу и книгу, а следовательно, и читателям этой работы. Но пока читательский суд удалился на совещание, предложим вашему вниманию эпилог всей этой истории.

1. Судьба сокровищ — 1937 год

Вернемся к тому печальному дню 13 мая, когда в своем доме на Хит-драйв в районе Хэмпстед в Лондоне, прожив 77 лет и 7 месяцев, скончался Томас Уайз. В одном из некрологов говорилось: «Остается только порадоваться, что хранилище документов и книг, на собирание которого он потратил свою жизнь, теперь, благодаря благородству его семьи, становится национальным достоянием».

Однако с благородством и достоянием дело обстояло не так уж просто. Примерно до 1921 г. близкие к Уайзу люди были убеждены, что он оставляет библиотеку английской нации и что соответствующее завещание подготовлено. Тем более, что жене он завещал банковский счет на 138 тыс. фунтов,

и нищета ей не грозила. Сам Уайз помалкивал, поскольку не мог знать, как все сложится к тому времени, когда придет его час уходить. Но все же он дал понять, что библиотека Эшли обретет вечную гавань в Британском музее, Оксфордском либо Кембриджском университетах.

Однако в последнем его завещании, составленном в 1926 г., формулировки были иные. Уайз напоминал, что прежде собирался безвозмездно передать в Британский музей некоторые редкие и ценные книги, которых либо не было в национальном книгохранилище, либо сохранность экземпляров Эшли была несравненно лучше. Теперь же, сожалел Уайз, величина налога на завещанное имущество и подоходного налога, который он вынужден платить, заставляет его отказаться от прежних намерений. Он распорядился поэтому, чтобы его библиотека была продана. Однако категорически запретил перевозку и аукционную распродажу в США. Так что с «даром нации» получился конфуз. Правда, 6 января 1933 г., в день, когда Уайз узнал о своем разоблачении, он сделал дополнение к завещанию: Британскому музею предоставлялось преимущественное право покупки Эшли по цене, которую назовет вдова завещателя.

Переговоры между Британским музеем и миссис Уайз закончились успешно. По требованию вдовы Уайза точная стоимость покупки не сообщалась. Было лишь сделано заявление о том, что библиотека Эшли поступила в национальное книгохранилище по цене значительно меньше рыночной (как предполагают, 60 тыс. фунтов).

Однако приключения Эшли на этом отнюдь не завершились. Выяснилось, что содержимое доставленных в музей ящиков не соответствует 11 томам Эшли-каталога. В общем, это явление довольно обычное: что-то покупается, продается, меняется после выхода каталога. Но в данном случае недоставало более 200 номеров важнейших рукописей и книг;

среди них — 4 ценнейших автографа Суинберна, 9 — Конрада, 2 — Томаса Харди, которые, как считалось, надежно хранились у Томаса Уайза. Вот почему Бернарду Шоу просто повезло с письмами Эллен Терри! Куда-то пропали 10 первоизданий XVIII в. Где-то «растворились» 23 из 24 изданных Уайзом брошюр Джорджа Борро. Наконец, и подделки понесли урон. 14 из них в Эшли не оказалось: 4 — Рёскина, 1 — Суинберна, 7 — Теннисона, 2 — Теккерея. Сын Бакстона-Формена сообщил, что некоторые свои псевдотеннисоновские изделия Уайз уничтожил у него на глазах; остальные, видимо, постигла та же участь.

Особенно грустили литературоведы об исчезновении истинной реликвии: рукописи Джона Китса «Сон после чтения сцены Паоло и Франчески у Данте» (1819). Поэт записал это стихотворение на чистом листе книги «Данте», подаренной возлюбленной. Книгу купил Томас Уайз, и вот теперь она исчезла. В каталоге Уайз писал об этом томике: «Более привлекательный ассоциативный экземпляр трудно себе представить». А как любил он, вытащив томик из тайника, демонстрировать его приятелям! И вот теперь Китс подвел владельца Эшли: из-за него выяснилось, какая судьба постигла рукописи и книги, утекшие из каталогизированной уже библиотеки «в неизвестном направлении». Оказывается, выпустив том каталога, Уайз, глазом не моргнув, продал рукопись Китса американскому собирателю Э. Ньютону (вспомните свидетеля защиты!). Это выявилось в 1941 г., когда в Нью-Йорке продавалась с аукциона библиотека Ньютона. Книга с автографом «Сна после чтения... Данте» стоила 7 тыс. долларов.

Британский музей, не досчитавшийся стольких оплаченных ценностей, обнаружил в книгах Эшли и некоторые другие сюрпризы. О главном из них — «пополненных» экземплярах Елизаветинской драмы — уже рассказывалось. Приведем еще один за-

бавный пример. В своем экземпляре «Библиотеки Браунинга», где во всей красе предстала версия о покупке «Сонетов (с португальского)» у мистера Беннета, Уайз сделал от руки поправку. На странице 83-й книги есть фраза: «Этот экземпляр «Сонетов» (т. е. принадлежавший Уайзу. — *В. К.*) прежде принадлежал мистеру Беннету... но доктор Беннет *продал* его мне». Перед словом *продал* Уайз аккуратно вставил слово *не* — получилось *не продал.* Последний вариант, по замыслу Уайза, должен был соответствовать фантастической версии о том, будто Уайз перепутал собственные «Сонеты» Беннета с сонетами Э. Браунинг. Но самое удивительное другое: когда сотрудники Британского музея решили сравнить экземпляр Эшли с основным экземпляром «Библиотеки Браунинга», давно хранившимся в фондах, они увидели, что и в нем тем же почерком сделана та же поправка. Поразительная предусмотрительность — маститый библиограф не поленился заказать книгу в музее и вставить слово *не,* соблюдая «идентичность вранья». И это несмотря на хорошо известный ему запрет прикасаться карандашом или чернилами к книгам библиотеки Британского музея.

Как бы то ни было, библиотека Уайза, в виде особого фонда хранящаяся в национальной книжной сокровищнице Великобритании, раскрыла уже немало тайн. Но не исчерпала их.

2.
Юбилей фальсификатора — 1959 год

В 1959 г. в США, в городе Остин, в университете штата Техас состоялась научная конференция, по итогам которой вскоре был издан сборник статей, публикаций и прочих материалов *. И конференция,

*
Thomas J. Wise. Centenary Studies/Edited by W. Todd. Essays by John Carter, Graham Pollard, William B. Todd. Austin, 1959.

и сборник были посвящены юбилею фальсификатора и торговца несуществующими изданиями, библиографа и библиофила Томаса Джеймса Уайза.

Удивляться этому не приходится. Ведь коллекция Ренна, а следовательно, и самый полный набор фальшивок Уайза, хранится в Техасе. Против научных прений по уайзовскому вопросу тоже трудно возразить: слишком многое в английской литературе связано с манипуляциями нашего героя, слишком много биографий славнейших британских писателей были им выяснены, а еще чаще — искажены, чтобы книговеды и литературоведы последующих поколений могли вычеркнуть все это из истории. Правда, пожалуй, до сих пор о таком слышать не приходилось — праздновать юбилей разоблаченного жулика. Но здесь уже вступают в права законы той морали, которая ставит совесть ниже обогащения и всегда склонна хоть исподтишка, но сочувствовать мошеннику, если он ловок и удачлив.

Собрание в Техасе и сборник материалов оказались весьма представительными. Открывая сборник, автор ряда работ об Уайзе, американский историк Уильям Б. Тодд отметил: «Большая удача, что мистер Картер и мистер Поллард, соавторы первоначального расследования подделок Уайза, снова обратились к этому предмету, а публикация подготовлена Техасским университетом — главным депозитарием уайзианы (вот и Томас Уайз удостоился почетного суффикса *-иана. — В. К.*). Важно также, что юбиляр представлен здесь собственными письмами к Дж. И. Корнишу (английский книгопродавец, которому Уайз, не довольствуясь услугами Горфина, успешно всучивал подделки. — *В. К.*) и первоначальным, черновым вариантом предисловия к «Библиотеке Браунинга» — весьма важными документами, принадлежащими адвокату М. П. Пэризеру из Манчестера (Англия) и снабженными теперь примечаниями. Любопытно и письмо Уайза к сэру Э. Госсе, находя-

щееся в коллекции мистера Полларда и публикуемое с его примечаниями; и менее объемное, но не менее интересное письмо Г. Бакстона-Формена к Уайзу, представленное М. П. Пэризером и прокомментированное Дж. Картером».

Подробный обзор материалов сборника завел бы нас в такие дебри и тонкости уайзианы, которые вышли бы за рамки скромной документальной повести о библиомане с хватательным инстинктом. Поэтому ограничимся выдержками из речи Джона Картера на симпозиуме, превратившейся потом в статью «Томас Дж. Уайз с высоты времени».

Итак, некогда юный разоблачитель дутых авторитетов, а в 1959 г. всеми уважаемый книговед и библиограф Джон Картер говорил: «В 1859 г. вышли в свет «Рубайат» Хайама в переводе Эд. Фицджеральда *, «Повесть о двух городах» Диккенса, «Виргинцы» Теккерея и тогда же в Грэйвсэнде (графство Кент) родился Томас Уайз, названный в «Национальном биографическом словаре» библиографом, издателем и фальсификатором. Невероятна карьера этого самоучки, которого лондонский рынок хорошо знал как торговца ароматическими маслами; человека, который, не имея университетского диплома, стал почетным магистром искусств, членом правления Уорчестерского колледжа в Оксфорде и Президентом библиографического общества; человека, который, несмотря на свое плебейское происхождение, стал членом Роксберского клуба, самого закрытого патрицианского заведения этого типа во всем мире; человека, который, начав со случайных покупок, к 1920-м годам стал самым знаменитым английским собирателем книг и высшим авторитетом в библиографии, чья библиотека имеет отдельный шифр в

*
Английский перевод «Рубайат» Омара Хайама, выполненный Эд. Фицджеральдом, стал важным событием в истории литературы. До конца XIX в. он выдержал 25 изданий.

Британском музее; человека, который умер 22 года назад, заклейменный (морально, но не юридически!) как бесстыдный мошенник и фальсификатор. Последующие исследования изобличили его также как книжного вандала и вора».

3.
Выставка в Манчестере — 1964 год

Остается рассказать о последнем событии, связанном с Уайзом, и вывести на сцену последнего персонажа библиофильской трагикомедии. Книга Джона Картера и Грэхема Полларда «Расследование...» так поразила манчестерского адвоката мистера Пэризера, что он избрал своим хобби собирание... уайзовских подделок. Потом к этому добавились труды самого Уайза, пиратские издания, осуществленные им без ведома авторов, и, наконец, многообразная литература об Уайзе и обо всем том, что связано с его «подлой карьерой». Перед манчестерским библиофилом стояли сложные, казалось бы, неразрешимые задачи: подделки исчезали в книжном океане — ведь они были малотиражны, да и частично уничтожены еще Уайзом. Конкуренция «уайзианцев» росла, цены на издания Уайза стремительно поднимались.

Тридцать лет неустанно трудился адвокат Пэризер. И вот в 1964 г. в Манчестере открылась выставка его коллекции — к тридцатилетию «Расследования происхождения некоторых брошюр XIX столетия».

Был выпущен каталог: «Уайз. После событий. Каталог книг, брошюр, рукописей и писем, относящихся к Томасу Джеймсу Уайзу, представленных на выставке в Манчестерской центральной библиотеке в сентябре 1964 г.» с предисловием Джона Картера.

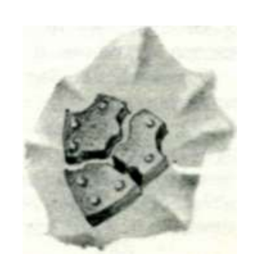
Ах, какая богатая получилась экспозиция! Около 60 окончательно выявленных подделок, добрый десяток подозреваемых... Одной из них даже Пэризер не досчитался — пришлось выписать из Британского

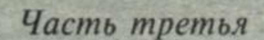
музея собственный экземпляр фальсификатора. Получился великолепный парад этих редкостных курьезов, или курьезных редкостей (rariora curiosa). Знатоки-полиграфисты поражались разнообразию типографских средств Уайза — ни в одной из современных типографий такого разнообразия шрифтов нет. Многие экземпляры сохранили знаки принадлежности разным владельцам — эти меты времени и места, превращающие книги в окольцованных птиц. Мистер Пэризер добыл экземпляры, некогда украшавшие личные собрания Бакстона-Формена, Госсе и даже скромную домашнюю библиотеку Герберта Горфина. А какой редкостью из редкостей предстал в этом окружении единственный сборник стихов самого Уайза, напечатанный в 1882 г.! Трудно догадаться, что именно побудило мистера Пэризера избрать столь парадоксальную область коллекционирования, но еще труднее понять, как ему удалось добыть эти сокровища.

В предисловии к каталогу Джон Картер отметил: «Выставка показывает, что фальшивки Уайза — не случайность, они звено в цепи его библиографической программы самовозвеличения...»

Это совершенно справедливо, но, пожалуй, требует некоторого дополнения. «Подлая карьера» Уайза еще раз убеждает в том, что представление о страстных библиофилах, сохраняющих любовь к книге, не зависящую от шума за окнами, равно как и о безобидных чудаках-библиоманах, помешавшихся на

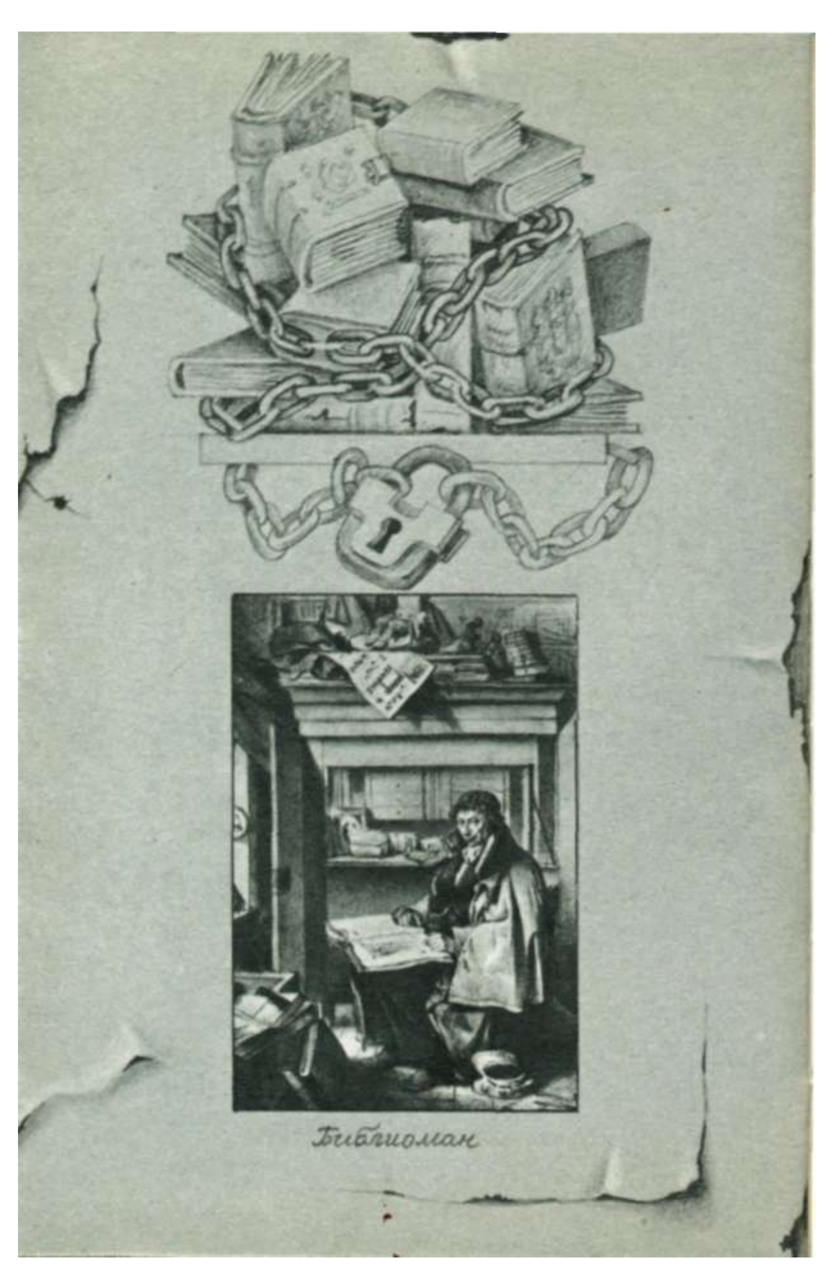

книжных редкостях, наивно и неисторично.





Часть третья

БИБЛИОКЛЕПТОМАНИЯ, ИЛИ КНИЖНОЕ ВОРОВСТВО

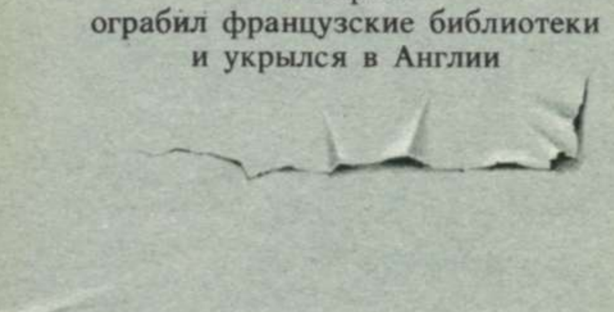


Библиоман


Необычайные приключения

ГУЛЬЕЛЬМО ЛИБРИ,

итальянского графа,
который
ограбил французские библиотеки
и укрылся в Англии





Национальная библиотека
в Париже



Проспер
Мериме



Ярлык на рукописях
фонда Либри—Баруа



Кто-то пошутил, что общество известных в истории книжных грабителей напоминало бы скорее научный конгресс, чем воровскую шайку. Рассказ о Гульельмо Либри вполне это подтверждает.

Зная Филипса, читатель уже не станет удивляться страстному, маниакальному стремлению обладать рукописями; зная Уайза, не поразится тому, что это стремление подчас выходит за рамки порядочности, а изощренность некоторых книжных мошенников превосходит мастерство факиров. Правда, Уайз по хитроумию и разнообразию приемов дал бы Либри сто очков вперед, но ведь он действовал без малого столетием позже. Нельзя же, в самом деле, не делать поправку на динамичный, цивилизованный XX век! В одном только Либри не уступал Уайзу и даже его опережал — в популярности...

В Библиотеке имени В. И. Ленина получаю невзрачный на вид, плотный серый томик с драгоценной для историка русского книжного собирательства надписью: «Москва. 7/18 марта 1850. Сергей Полторацкий». Русский библиофил Сергей Дмитриевич Полторацкий, долго живший во Франции, внимательно

следил за делом Либри и, естественно, купил и привез в Россию сборник статей, открытых писем, речей и прочих печатных выступлений * в защиту «обиженного» итальянского ученого, французского академика и английского гражданина (в одном лице!). Сборник этот был составлен самим пострадавшим из материалов на французском, немецком, английском языках и должен у каждого непредубежденного читателя вызвать чувство возмущения травлей почтеннейшего ученого и просвещенного собирателя книг.

Значительная часть библиотеки С. Д. Полторацкого попала, как известно, в Румянцевский музей (ныне — Библиотека имени В. И. Ленина) — в ее составе сохранился и этот, редкий теперь сборник. Либри защищали, как видно из сборника, благороднейшие люди века, и самым страстным из них, самоотверженным в борьбе за справедливость (он был убежден в этом!) стал писатель Проспер Мериме. Он даже попал в тюрьму «за Либри», в то время как сам «пострадавший» пребывал в полной безопасности в Лондоне. Но к Мериме еще вернемся, а сейчас отметим, что не только С. Д. Полторацкий, но и другой «библиофил пушкинской поры» — С. А. Соболевский интересовался Либри, был хорошо знаком с ним, переписывался и собирал материалы о его необычном судебном процессе. Любопытно отметить, что история вмешательства Мериме в дело Либри отчасти отражена в его письмах к еще одной знакомой Пушкина — Варваре Ивановне Дубенской **.

*

Lettres à M. de Falloux, ministre de l'instruction publique et des cultes, contenant le récit d'une odieuse persécution et le jugement porté sur cette persécution par les hommes les plus compétents. Par G. Libri. Paris, 1849.

* *

См.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Дубенской. М., 1937. В этой работе проявилась точка зрения на «дело Либри» круга друзей Мериме и, соответственно, сообщается ряд неточных сведений.

Выйдя замуж за французского дипломата Т.-Ж. Лагрене, Дубенская поселилась в Париже, дружила с Мериме и обучала его русскому языку.

Русские ассоциации и отзвуки дела Либри не только любопытны сами по себе, но и доказывают истинно интернациональный резонанс его «подвигов». Между тем даже беспримерный обман Уайза оставался в основном внутренним делом английских и американских библиофилов. Так что Либри — фигура поистине историческая, заслуживающая внимания литераторов и книговедов.

*

Гульельмо-Брутус-Ичилио-Тимолеоне граф Либри Каруччи делла Сомайа (родился 2 января 1803 г. во Флоренции — скончался 28 сентября 1869 г. во Фьёзоле) принадлежал к знатному и древнему тосканскому роду. Признаться, фамилия Libri — книжник — показалась псевдонимом, учитывая его «славные деяния». Однако наш герой родительской фамилии не менял. И все же то был псевдоним, вернее — прозвище! Только выбрал фамилию Либри (или получил от друзей) не знаменитый книжный вор XIX века, а его дальний предок — гуманист XIV века, друг Петрарки и Боккаччо, поэт Мафео делла Сомайа, похороненный, как и все предки Либри, во флорентийской церкви Санта-Кроче.

К сожалению, ближайший предшественник Либри в роду делла Сомайа, его отец, прославился далеко не поэтически. Скажем об этом несколько слов лишь ради «выявления корней», хотя сама его жизнь могла бы стать сюжетом авантюрного романа. Когда Гульельмо Либри был еще подростком, отец его бежал из Италии во Францию, опасаясь судебных преследований за подделку векселей и прочих документов. Однако и во Франции он занялся тем же малопочтенным делом и был судим по меньшей мере раз пять за многочисленные торговые обманы и пред-

ставление фальшивых бумаг. Список департаментов Франции, занимавшихся его делами, судебных инстанций, равно как и тюрем, осчастливленных его присутствием, слишком велик для историко-библиофильской работы. Происходило это в 1816—1825 гг. Потом Либри старшего навсегда выслали из Франции. Еще раньше тосканские власти обратились через посольство Франции к Людовику XVIII с покорнейшей просьбой отдать приказ о заключении графа делла Сомайа в тюрьму навечно и уж во всяком случае запретили ему возвращение на родину. Он удалился в Бельгию, где стал известным двойным агентом, шпионом и доносчиком, а выгнанный и оттуда, отправился в Амстердам. В Голландии он и умер в 1836 г. До конца дней граф делла Сомайа старший боролся за восстановление своего «доброго имени» во Франции. Три пухлые папки его оправданий, заклинаний, «разоблачений», доносов, и поныне хранящиеся в Национальном архиве Франции, могут соперничать только с Монбланами лжи, нагроможденными его сыном. Отметим одну особенность: с истинным сладострастием делла Сомайа старший предавал тех людей, которые имели несчастье быть ему в чем-либо полезными. Едва ли знал об этом в подробностях Проспер Мериме, иначе, может быть, вовремя задумался бы над проблемами наследования преступных наклонностей.

Однако пословица о яблочке и яблоне оправдалась в жизни Либри вовсе не сразу. Одаренный редкостными математическими способностями, он уже к 16 годам получил университетскую докторскую степень, а к 20 стал профессором Пизанского университета. Закончил одновременно и юридический факультет со званием лиценциата права. Достижения Либри в математике неоспоримы: работы по теории чисел и теореме Ферма, высоко ценимые знаменитым Карлом Гауссом; оригинальные исследования о решении неопределенных уравнений 1-й сте-

пени с двумя неизвестными, о бесконечных функциях и другие; наконец, первый фундаментальный четырехтомный труд по истории математической и физической науки в Италии (Пиза, 1827—1829) — все это принесло ему заслуженную славу. Без всяких кавычек! Он переписывался и обменивался идеями с Гауссом и Кювье, Лапласом и Ампером...

То ли в самом деле замешанный в политическом заговоре, как туманно пишут его биографы, то ли опасаясь каких-то разоблачений, связанных с делами отца, Либри в 1830 г. покидает Италию, оставив кафедру в Пизе, и переселяется во Францию. Здесь и происходят основные события нашего повествования. Благодаря рекомендации крупнейшего французского физика и астронома Доминика Франсуа Араго, своего друга (впоследствии — злейшего врага!), и покровительству историка и политика Франсуа Гизо уже в 1832 г. Либри стал преподавателем Коллеж де Франс; в 1833 г., приняв французское подданство, был избран во Французскую академию; в 1834 г. получил должность профессора математического анализа в Сорбонне, сделался редактором «Газеты ученых» («Журналь де саван»), членом Института и прочая и прочая. Карьера поистине головокружительная, особенно для иностранца! Но политических изгнанников, каким объявлял себя Либри, да еще и высокоталантливых ученых, каким он в самом деле был, традиционно уважали за рубежом. Кроме того, Либри, видимо, подготовил почву: с Гизо он познакомился в свой первый приезд во Францию в 1824 г., Араго принимал в Италии.

И талант Либри развернулся вовсю. Правда, не в математическом направлении. С годами он обнаруживал все более стойкий и квалифицированный интерес к старинным рукописям, палеографии и, главное, к пополнению своей замечательной библиотеки, которая в конце концов достигла 40 тыс. томов. Он увлекался этим до такой степени, что пре-

вратил некоторые номера «Журналь де саван» в нечто похожее на библиофильское издание — они полностью заполнены библиофильскими открытиями редактора. Расходы его на библиотеку были столь велики, что не хватало ни жалованья (общая сумма со всеми «совместительствами» — не менее 12 тыс. золотых франков в месяц), ни гонораров за публикации в «Журналь де деба». Приличный доход принесли ему еще 11 аукционов автографов, которые он устраивал при помощи различных фирм в Париже в 1830-х гг. Владельцами автографов в каталогах значились подставные или мифические лица, что еще полбеды. Хуже, что автографы в основном были краденые! Но это удалось окончательно доказать лишь к 1888 г., когда директор Национальной библиотеки Леопольд Делиль завершил свой грандиозный, стоивший даже не лет, а десятилетий кропотливый труд по распутыванию краж и махинаций Либри. Выпущенный Л. Делилем каталог «Les manuscrits des Fonds Libri et Barrois a la Bibliothèque Nationale» (Paris, 1888) и предисловие составителя к нему до сих пор служат основным источником для всех пишущих о Либри. А тогда кто же мог заподозрить в воровстве уважаемого ученого и увлеченного библиофила, пострадавшего в Италии за политические убеждения! Тем более что, как подтверждают современники, Либри был истинным знатоком книги.

В архивных фондах Национальной библиотеки в Париже (№ 3263, 3264, 3279) хранится переписка Либри с библиофилами, книготорговцами, переплетчиками и реставраторами книг буквально всей Европы. Из нее видно, с каким тщанием и знанием книжного репертуара пополнял Либри свою библиотеку. Другое дело — методы комплектования; они были весьма своеобразны. В 1837 г. Либри, в дополнение ко всем его должностям, был предложен пост руководителя Отделения печатных книг Национальной библиотеки. Он отказался: ждал вакансии в

Отделении рукописей. Через два года случай представился, и тут он сам проявил инициативу. Либри писал министру по делам культуры: «Я не хочу проталкиваться, опасаясь нарушить права и прерогативы тех, кто пришел раньше меня. И все же я должен сказать, что, как мне представляется, никто другой, заняв этот пост, не может столь полно проявить свои знания и способности. Я посвятил свои жизненные интересы собиранию автографов. Сразу же после кончины Ван Прэта * хранители библиотеки подумали обо мне, о чем свидетельствует письмо, которое я храню... Однако тогда речь шла об Отделении печатных книг, я же в большей степени интересуюсь рукописями и палеографией, чем библиографией. Кроме того, я должен сказать, что никто другой в библиотеке не может с такой уверенностью судить о содержании рукописей, как я... В библиотеке нет человека, который одновременно знал бы испанский, итальянский, немецкий языки и мог бы судить о достоинствах рукописей и классифицировать их, как я».

Однако фокус на этот раз не удался. Кем-то, видимо, предупрежденный, министр выразил письменное сожаление, что не может принять предложение почтенного академика. Либри поблагодарил за сожаление. Тем и кончилось. Но не прошло и года, как перед Либри, к тому времени уже основательно «пощипавшим» парижские книгохранилища — Национальную библиотеку, библиотеки Мазарини, Арсенала, в которых он занимался (не говоря о библиотеках Флоренции и Пизы), открылись поистине блестящие перспективы. Интерес к национальному рукописному наследию и старым рукописным книгам во Франции стал настолько значительным, что 3 августа 1841 г. министерство распорядилось составить

* Van Praet — руководитель Отделения печатной книги Королевской (с 1789 г. — Национальной) библиотеки Франции.

Генеральный каталог рукописей на древних и новых языках, хранящихся во всех департаментах Франции. По этому случаю была образована специальная комиссия, а секретарем ее назначен граф Либри. Свою почетную миссию Либри использовал для разграбления французских архивов в таких масштабах, которых еще, кажется, не знала история книжного воровства. Автор книги «Bibliologia Comica» Л. С. Томсон не без остроумия заметил: «К XIX веку галльский гений превратил книжное воровство в профессию, но понадобился итальянец, чтобы сделать его изящным искусством».

Дело в том, что, отправившись по городам и весям Франции для составления каталога, Либри очень скоро обнаружил (разумеется, уже предполагая по парижским примерам), что архивно-библиотечное хозяйство страны находится в ужасающем состоянии: плохи условия хранения, безобразны каталоги, невежественны и часто вороваты хранители рукописей. Все это он в полной мере использовал. Леопольд Делиль пишет в предисловии к каталогу краж Либри (1888 г.): «Все эти прекрасные рукописи французского происхождения, эти изумительные плоды литературной деятельности наших старых школ Сен-Дени, Сен-Биньи, Дижона, Лиона, Тура и Орлеана, Сен-Бенуа-на-Луаре, как рассудил Либри, в свое время были в руках стольких итальянских владельцев, что делом чести является вывезти из Франции те рукописи, которые переписывали монахи и монахини Падуи, Пистойи, Перуджи, Мантуи, Вероны и Флоренции». Разумеется, подобная аргументация — лишь циничное «оправдание» собственных действий в собственных глазах. Либри примитивно грабил, не задумываясь о национальной чести своей первой родины, не говоря уж о второй и третьей (Англии); скорее, его волновали интересы коммерческие, хотя, по-видимому, на тех этапах библиоманической карьеры, о которых пока идет речь, Либри

страстно стремился к обладанию старинными письменными памятниками, а не к их выгодной продаже.

Но, как бы то ни было, он активно использовал итальянский патриотизм для международного обмана. Например, тождественность первых четырех букв в названиях французского города Флёри (*Floriarum*) и Флоренции (*Florentia*) привела его к мысли, что не так уж трудно вытравить буквы *iarum,* удостоверяющие тот факт, что рукопись переписана в монастыре Флёри, и аккуратно дописать *entia,* — и рукопись сразу окажется итальянского происхождения. Этот «научный метод» Либри успешно использовал, чтобы опровергнуть обвинения в кражах ряда древних рукописей: ведь он вывез их из Италии, когда эмигрировал, спасаясь от реакции, а происхождение их самое что ни на есть флорентийское.

Как сообщает автор известной работы «Любители книг и книжные воры» (1903) Альбер Сим, только хранитель библиотеки в Оксерре «не нарушил правил и действовал с предосторожностями: он позволил приезжему остаться в библиотеке на ночь, но сотрудник библиотеки неотступно находился при госте, помогая ему в розысках, следя за освещением и порядком». И, добавим мы, не позволяя злоупотреблять доверием. В результате библиотека Оксерра оказалась единственной, сохранившей свои фонды после инспекции секретаря правительственной комиссии, назначенной для охраны письменных памятников. Все остальные библиотеки, в которых побывал, он беззастенчиво ограбил. В городе Карпентра, к примеру, стащил рукопись «Божественной комедии» Данте с превосходными миниатюрами 1408 года.

Воровская методология Либри была довольно разнообразной. Вот, например, в 1844 г. купил он библиотеку некоего Де Жерандо, в которой был старинный список Гомера с печатью церкви Сан-Пьетро в Перудже. Либри с большим искусством скальки-

ровал эту печать на добрый десяток рукописей, «уведенных» им из Лиона, Тура, Орлеана, Монпелье. Итальянское «алиби» вновь сослужило свою службу. Вскоре он приобрел также наиболее изящные и ценные рукописи итальянского литератора и натуралиста Франческо Реди. На всех книгах его библиотеки красовалась витиеватая подпись ученого. Либри научился ее виртуозно подделывать. Благодаря этому украденные им прованские и каталонские манускрипты были «легализованы», как принадлежавшие коллекции Реди. Весьма способствовало его деятельности тщеславие потомков итальянских и французских фамилий, которые кичились древностью рода, но не имели тому документальных подтверждений. Стоило Либри «обнаружить» подпись на старой книге, вложенную в книгу долговую расписку крестоносца (искусно подделанную им самим) или что-нибудь в этом духе, как поднимался невообразимый шум: еще бы — нашлись неопровержимые доказательства древности того или иного рыцарского рода! А Либри торжествовал: он мог теперь спокойно продать или обменять рукопись и замести следы кражи.

С большим искусством Либри пользовался нерадивостью или, как говорилось, нечестностью библиотечного персонала.

Внимательно изучая каталоги и книгохранилища, он замечал, что карточки на книги сплошь и рядом не попадают в каталог. Значит, книга в библиотеке есть и в то же время ее как бы нет. В этих случаях он производил «экспроприации» со спокойной душой, не опасаясь, что попадется. Иногда, правда, приходилось мудрить: заменять ценнейшую рукопись какой-нибудь незначительной книжкой в похожем переплете. Либри верил, что разбираться не станут, и, в общем-то, оказался почти прав — разобрались окончательно едва ли не через полвека. Так, в Орлеане он подменил превосходный Brévaire d'Alaric дефектным экземпляром того же сочинения, в свое время,

кстати, тоже украденным им в институте Юстиниана в Италии. Познакомившись предварительно с библиотекарем, он догадался, что тот либо вовсе не отличит одну книгу от другой, либо не станет шуметь, решив, что сам ошибся при каталогизации. Был же случай в библиотеке города Монпелье, когда какая-то ревизия обнаружила одну из подмен Либри. Во всем обвинили сотрудников библиотеки, якобы неправильно заполнивших инвентарный список. Был составлен специальный акт, узаконивший подмену.

В Туре младший библиотекарь незадолго до визита Либри за кражу нескольких книг получил два года тюрьмы. Но мелкая рыбешка подчас застревает в сети, а большая ее прорывает. Либри поживился в Туре отменно и все свалил на предшественника по воровскому набегу. Справедливости ради скажем, что и ему отплатили той же монетой. В Труа произошла такая история: когда тамошний хранитель муниципальной библиотеки Огюст Арман узнал, что против Либри собираются возбудить уголовное дело, он выступил добровольным свидетелем. Его рассказ о том, как Либри с большим портфелем под мышкой и в плаще с капюшоном пробирается ночью в библиотеку, очень живописен. Однако самому Арману это описание понадобилось лишь для того, чтобы доворовать остатки рукописных богатств в Труа, свалив все на Либри. Итог — четыре года тюремного заключения для Армана.

Каковы все же были стимулы этой беспримерной по размаху библиоманической авантюры? Только ли денежные? Сам Либри, так никогда и не признавший, что он украл хотя бы одну рукопись (окончательная цифра похищенных рукописей не выяснена, но было их, во всяком случае, несколько тысяч), утверждал, что руководствовался в собирательских трудах единственной целью — создать коллекцию, небывалую по своему значению и полноте. Все это делалось, как объяснял он позже... на благо Фран-

ции. Не раз он повторил свое обещание завещать книги и рукописи Национальной библиотеке при единственном условии, чтобы они хранились в виде отдельной коллекции с означением имени дарителя. Но вот беда — эти заявления Либри относятся к тем временам, когда против него давно уже велось судебное преследование, да и завещать мало что оставалось: большая часть коллекции была распродана. Леопольд Делиль не оставил в своих прямо-таки детективных расследованиях даже малой щелочки для спасения репутации Либри. По Делилю, Либри вообще был не библиофилом, а обыкновенным мошенником, стремившимся только к одному: вытащить из французских книгохранилищ все ценное и выгодно продать за границей. Делиль писал: «Он, Либри, должно быть, от души потешался над наивностью своих друзей, которых благополучно уверил, что вправду намеревается преподнести коллекции в дар Франции; это он-то, который, мало сказать, ограбил наши библиотеки, но нагромоздил фальшивку на фальшивку, чтобы приписать Италии честь создания прекраснейших письменных памятников, рожденных во Франции». Может быть, Делиль был не совсем последователен: мошенники мало заботятся о национальном приоритете. Да Либри и не слишком пекся об этом. И все же им двигал не только коммерческий расчет, но и коллекционерский азарт, а также тщеславие хитреца и авантюриста, безнаказанно дурачившего простаков.

*

Однако жизненная и библиоманическая дорога Либри оказалась не такой гладкой, как он рассчитывал. Слухи о странном поведении секретаря комиссии по инвентаризации письменных памятников поползли сразу же по его возвращении в Париж и к 1845 г. превратились в легко улавливаемый гул. В конце 1845 г. Либри приступил к подготовке ка-

талога рукописной части своего собрания, намереваясь с нею расстаться за солидную сумму. Первым попался на удочку бывший депутат от Северного департамента Жозеф Барруа. Впрочем, Барруа знал, что покупает ворованное. Однако его соблазнила невысокая цена за первоклассные рукописи, запрошенная Либри. А сей последний тоже хорошо знал, что делает: он продал Барруа все, что украл из Национальной библиотеки, — те ценности, которые легче всего было бы узнать при самом поверхностном расследовании. Барруа даже перещеголял Либри в цинизме: он исказил рукописи до неузнаваемости, выдирая листы с печатями, срывая переплеты, и т. д. При этом и библиографической квалификацией Либри Барруа ни в коей мере не обладал. После этих манипуляций он вывез рукописи в Англию и с большой выгодой перепродал. Кому — чуть позже. А сейчас возвратимся к Либри.

В 1845—1846 гг. он уже явственно ощущал, что французская почва под его ногами колеблется. В библиотеке Карпентра обнаружили пропажу инкунабула — Теокрита в издании Альдов, а Либри, не зная о поднятой библиотекарями тревоге, возьми и продай эту книгу за 635 франков. На Либри поступил первый анонимный донос. К счастью для него, накаленная политическая атмосфера отвлекала всеобщее внимание и оставляла надежду на спасение. Правда, и его главный покровитель — министр иностранных дел, а потом первый министр Франсуа Гизо — постепенно терял полноту власти. Но этой власти с лихвой хватило на то, чтобы положить под сукно (чуть ли не в буквальном смысле) в кабинете премьер-министра доносы на Либри. Позднее их там и обнаружили.

В этих условиях Либри, обладающий острым чувством опасности, вынужден был искать оптового покупателя награбленных богатств. Прежде всего он обратился к своему соотечественнику и старому зна-

комому Антонио Паницци, занимавшему в то время ответственный пост в библиотеке Британского музея. Паницци знал все, что творилось в книжном мире. Опытнейший конспиратор-гарибальдиец, он почуял недоброе и ворованные рукописи не купил. Отказался от них и Туринский университет, где у Либри были надежные связи, — правительство Сардинии не согласилось выделить необходимую сумму. Выручил хранитель отделения рукописей Британского музея Джон Холмс. Как раз в 1847 г. лорд Эшбернхэм, впоследствии единственный в Англии соперник Филипса по масштабам закупок рукописей, решил разом заложить основу своей коллекции. Ему-то и рекомендовал Джон Холмс человека безупречной репутации — Гульельмо Либри. Выяснилось, что лорд уже знает состав собрания Либри по выпущенному каталогу и подумывает о покупке.

Итак, в первых числах марта 1847 г. переправился через Ламанш и прибыл в Париж известный лондонский книгопродавец Родд, доверенное лицо лорда Эшбернхэма. Он уговорил Либри под честное слово лорда и под солидный залог послать с ним в Лондон несколько самых лучших рукописей, чтобы знатный коллекционер, познакомившись с ними, принял окончательное решение. Родд увез французское «Пятикнижие» (Pentateuch, XI в.) и «Книгу Часов», принадлежавшую Лоренцо Медичи (XV в.). Расчет оказался точным: лорд не устоял перед шедеврами. Уже 12 марта 1847 г. Родд снова был в Париже, а 23 апреля Либри получил 200 тыс. золотых франков (8000 фунтов). Почти две тысячи рукописей, тщательно упакованные и охраняемые, отправились в замок лорда Эшбернхэма. Тогда-то и поспешил в Лондон со своей добычей Жозеф Барруа. Лорд был последователен: он приобрел и его рукописи — числом 702 — за 6000 фунтов. Так в семейной коллекции лордов Эшбернхэмов возник ценнейший фонд Либри—Барруа. Все источники (во всяком слу-

чае, английские) свидетельствуют о том, что лорд Эшбернхэм не знал истинного происхождения приобретаемых рукописей.

Либри между тем не дремал, да и книжные закрома его не опустели. Испросив «по болезни» отпуск в Сорбонне и Коллеж де Франс, он принялся за подготовку первого каталога печатных книг. Летом 1847 г. этот каталог, включавший 496 номеров редкостей итальянской литературы, в том числе книги, совершенно неизвестные библиографам, вышел в свет. Рискнув устроить распродажу в Париже с 28 июля по 4 августа 1847 г. (тем более что итальянские рукописи он воровал и покупал за бесценок в основном все-таки в Италии), Либри выручил 100 тыс. франков. Но это был его последний успех на французской земле. Началось судебное расследование.

Собственно, попытки расследовать истинный характер деятельности комиссии, возглавлявшейся Либри, предпринимались и раньше. Из библиотек Гренобля и Карпентра уже в 1846 г. поступила такая слезная жалоба, что министр юстиции послал туда чиновника. Однако дело, как мы знаем, удалось замять. Теперь же королевский прокурор Букли подготовил и 4 февраля 1848 г. передал министру юстиции подробный доклад, обвинявший академика Гульельмо Либри в систематическом разграблении национальных богатств Франции.

Новый крутой поворот обозначился, когда французская февральская революция 1848 г. превратила королевских прокуроров и министров в частных лиц. Понимая, что все «утопленные» Гизо доносы могут «всплыть», Либри с чужим паспортом через четыре дня после революции бежал в Лондон. Несмотря на спешку, все же 18 больших ящиков с ценнейшими книгами уехали вместе с ним. Остальное, как ни страдал он, пришлось покинуть в брошенном парижском доме.

*

С тех пор началась новая эпопея Либри, втянувшая в дискуссию многих честных людей Франции, Англии, Италии и других стран. Расскажем о некоторых эпизодах этой борьбы «за честь» одного из крупнейших книжных воров в истории человечества. «Копья ломались», так сказать, post factum, поскольку Либри был уже в полной безопасности.

Прежде всего Либри, разумеется, изобразил себя жертвой революционного насилия. Это было не так сложно, поскольку в начале 1848 г. события во Франции разворачивались с калейдоскопической быстротой и непосвященному трудно было разобраться, какая именно власть начала судебное преследование «невиннейшего» из математиков и академиков. Вдобавок на заседании Института 28 февраля Либри, кажется, в самом деле получил угрожающую анонимку. После этого он и удрал «от народного гнева». Вскоре расследование возобновилось, но это был лишь шорох в сравнении с тем громом самооправданий и обвинений, который Либри из английского далека обрушил на французские официальные инстанции, на своих врагов, а заодно и многих бывших друзей.

Сотни статей, десятки брошюр, длинная череда открытых писем, написанных или инспирированных Либри, призваны были доказать, что, убедившись в вопиюще бедственном состоянии своего рукописного хозяйства, Франция вознамерилась свалить это на подвернувшегося под руку итальянца. Значительная часть этих материалов сосредоточена в упомянутом сборнике 1849 г., составленном самим «пострадавшим».

Сборник открывается пространным документом — письмом Либри министру народного просвещения и духовных дел Франции Де Фаллу. Убедительно перечислив собственные заслуги, Либри замечает, что

высокое положение, которого он достиг во Франции, вызвало ревность и зависть низких людей, занимавших высокие посты. Объединившись, они решили погубить его, Либри, при помощи самого чудовищного и нелепейшего из обвинений, которые когда-либо возводились на невинного человека. Февральская революция, утверждает Либри, выплеснула наверх его политических противников, и ему пришлось, роняя слезы, покинуть Францию.

«Представьте себя на месте чужеземца, — писал Либри министру, — который, пребывая в крайней нужде, сумел создать себе прочное положение и устоять во всех испытаниях; человека, который решительно вступался за интересы университета, когда они оказывались под угрозой; который не боялся поднимать свой голос в противоположность мнению самого господина Араго; который шел на риск, предупреждая Италию об опасностях, которые, как он видел, ей угрожают; который открыто признавался в своей приверженности господину Гизо и в своем восхищении им; человека, который неизменно и твердо, ни на шаг не отступая, сражался со своими противниками. Достаточно знать все это, чтобы предвидеть, какую ревность и ненависть станут источать враги мои, когда наступит для них подходящий момент, примазавшись к волне народного возмущения, без помех третировать меня и клеветать на меня. В газете «Монитёр» 19 марта 1848 г. был опубликован найденный в архиве пресловутый доклад Букли, но ни одна газета Франции не решилась напечатать ответ обвиняемого (само по себе это вранье — уже говорилось о печатном наводнении, устроенном Либри. — *В. К.*)».

Либри потребовал, чтобы министр восстановил справедливость и добился наказания его преследователей. «Пусть будет наказан и тот, кто заявил, что я будто бы похитил в библиотеке Гренобля рукопись, которая на самом деле никогда этой библиотеке не

принадлежала и которую я купил у месье N в Лионе; и те, кто меня обвиняет, будто я украл в библиотеке Карпентра том кастильских песен в переплете Гролье, который на самом деле попал ко мне от месье NN». И так далее, и тому подобное.

Решительно протестуя против просмотра его книг и бумаг, оставшихся в Париже, Либри заявляет, что, роясь в интимной переписке и личных вещах, удаляя из дома слуг, следственная комиссия, назначенная прокурором республики, применяет методы инквизиции. Просто поразительно, как умеют жулики использовать в своих целях политические встряски! «До меня долетают *слухи*, — пишет *Либри*, — что эксперты находят в моем доме книги, рукописи, даже отдельные листки, принадлежащие различным общественным учреждениям. Я легко мог бы доказать в каждом случае, как я их приобрел, если бы из дома не похитили моих личных бумаг». На дальнейшую его демагогическую аргументацию стоит обратить внимание, ибо в ней, как ни странно, есть рациональное зерно. Либри утверждает, что присутствие в его библиотеке книг с печатью учреждений (иногда даже с двумя печатями) ровным счетом ничего не доказывает. Он, мол, готов представить министру и опубликовать в печати данные о том, как на протяжении десятилетий и даже столетий расхищались французские библиотеки. Он назовет имена похитителей, и среди них окажутся нынешние его обвинители.

Чтобы доказать правоту этого, увы, не столь уж беспочвенного заявления, Либри попросил нескольких почтенных книгопродавцев Лондона посмотреть, есть ли у них на складах книги с печатями или со следами стертых печатей. На четырех складах при самом беглом осмотре обнаружены 82 книги из Национальной библиотеки, из библиотек Мазарини, Арсенала, Института и других. Тома с сохранившимися, вырезанными или соскобленными печатями попали в Англию из флорентийской библиотеки, Ватикана,

из книгохранилищ Пармы и Феррары. В письме приведены вполне конкретные данные обо всем этом: Либри не поленился составить каталог таким находкам, указав книготорговую фирму, название книги, цену, а также библиотеку, из которой книга похищена. Все это (после книги Делиля) нисколько не обеляет Либри в глазах потомков, но на современников произвело впечатление убедительное.

Мало того, Либри раздобыл сведения об автографах известных людей Франции (в том числе и министров), прежде хранившихся в национальных архивах, но каким-то образом попавших на аукционы и частные распродажи Лондона. В этой чаще книжного воровства нетрудно было затеряться даже такому крупному хищнику, как сам Либри. На подобный эффект он и рассчитывал. Издеваясь над оппонентами, он купил кое-какие автографы — в том числе пять писем членов семьи Наполеона Бонапарта (с соблюдением всех формальностей покупки, чтобы доказать, что они не из его коллекций) и послал их в дар Франции. Либри дошел даже до утверждения, будто специально собирал книги с печатями французских библиотек, чтобы потом торжественно и безвозмездно возвратить их по принадлежности.

В другом открытом письме — президенту Института, опубликованном в Лондоне в начале 1850 г., Либри обращал внимание на то, что бесчисленные автографы, принадлежавшие Институту, уже довольно давно появляются в продаже и, более того, составляют ядро рукописных собраний некоторых именитых современников. Пользуясь случаем, он нанес страшный удар своему бывшему другу и покровителю астроному Араго. Из аукционного каталога коллекции маркизы Доломью, известной в то время в Париже дамы двусмысленной репутации, Либри с ехидством процитировал пассажи о том, что автограф Галилея, украшенный печатью Института, был подарен маркизе... самим Араго! Маркиза, не заботив-

шаяся о репутациях, включила этот документ в аукционную распродажу вместе с сопроводительным письмом Араго. Запись в каталоге, которую цитировал Либри, гласила: «№ 14. Араго. Знаменитый астроном. Собственноручное письмо от 25 ноября 1825 г. в связи с пересылкой автографического фрагмента Галилея... «Я беру на себя смелость препроводить Вам этот достойный восхищения образец почерка великого ученого, которым гордится Италия». Фрагмент, писанный рукою Галилея, приложен к письму».

Судя по всему, не только Араго поставлял небезупречной маркизе рукописные ценности Института: в ее каталоге были представлены письмо Наполеона I руководству Института, письма Гайдна, Россини, Клопштока по поводу их избрания членами Института и т. д. Либри издевательски спрашивает: неужто и эти хищения припишут какому-нибудь заезжему итальянцу? Не лучше рукописей охранялась и библиотека Института. Либри называет 153 книги, которые были в каталогах библиотеки, но исчезли из фондов. Правда, как ни старался Либри соблюсти алиби, в число этих 153 номеров попали и те, которые украл он сам.

Еще хуже обстояло дело в Национальной библиотеке. Как писал Либри со ссылкой на английский журнал, к 1845 г. там не хватало в реальности 20 тысяч томов, означенных в каталогах. «В Париже говорят, — писал Либри, — и некоторые французские газеты это повторяют, что из каждых трех спрашиваемых читателями книг одна обязательно отсутствует, а почтенные библиографы утверждают, что в библиотеке недостает даже 50 тысяч книг». Либри объясняет министру Де Фаллу и руководству Института, что приводит примеры из практики тех парижских библиотек, которые, как утверждают клеветники, он ограбил. Что касается провинции, то там положение куда ужаснее, а грабительские традиции

устойчивее. И никого никогда это не занимало, никого не компрометировало, со вздохом замечает Либри.

Защита по методу «сами дураки!» иной раз бывает достаточно эффективной, и Либри, умело ее применяя, привлек на свою сторону общественное мнение. Но правосудие ему убедить не удалось.

22 июня 1850 г. суд заочно приговорил графа Либри делла Сомайа «за продолжительные значительные кражи книг и рукописей, осуществленные в ходе исполнения им официальных обязанностей», к десяти годам строгой изоляции и последующему бессрочному пребыванию на принудительных работах. Приговор, как догадывается читатель, никогда не был приведен в исполнение. В соответствии с принятой процедурой Либри был лишен всех своих должностей, званий, орденов и привилегий.

*

Проспер Мериме, благородный человек, страстный и компетентный библиофил, хорошо знал Гульельмо Либри. Их книжные беседы были приятны обоим. Сохранилось несколько писем Мериме к Либри. Скажем, письмо от 16 января 1847 г.: «Мой дорогой собрат! Месье Бенджамен Делессер терзает меня просьбой показать ему ваши рукописи. Если вас это не затруднит, назначьте время, когда мы могли бы навестить вас». Нужно ли говорить, что Либри принял Мериме и его друга со всем гостеприимством, на которое был способен, и показал ему товар лицом. Согласитесь, трудно, поддерживая такие библиофильские отношения с почтенным академиком, поверить в то, что он обыкновенный (вернее — необыкновенный по масштабам и ловкости хищений!) вор.

Правда, за некоторое время до этого визита произошел эпизод, несколько озадачивший Мериме. Однажды Либри, гордясь тем, что в его владении находится упоминавшаяся уже рукопись «Пятикни-

жия», решил продемонстрировать ее в салоне Делароша, где собирались литераторы, художники, ученые. Среди приглашенных был и Проспер Мериме. Каково же было его удивление, когда в иллюстрациях рукописи, принесенной Либри, он узнал те картины, которые сам в восхищении срисовывал с точно такой же рукописи, хранящейся в библиотеке Тура. С полнейшим простодушием Мериме тотчас и высказал это Либри. Тот, ничуть не смутясь, отвечал, что в Туре, видимо, хранится копия либо позднейшая подделка этой уникальной рукописи, которую он, Либри, когда-то купил в Италии. Тем разговор и завершился. Мериме настаивать не стал, а тем более проверять своего ученого собеседника. Хотя, между прочим, позже Мериме побывал в Туре и убедился, что память непостижимым образом его подвела: рукопись эта в каталоге местной библиотеки не значится. Как понимает читатель, в Туре к тому времени «Пятикнижия» давно не было, исчезла и каталожная карточка. Забегая вперед, скажем, что Леопольд Делиль впоследствии неопровержимо доказал: эта, особая по своей ценности, рукопись была нагло украдена из библиотеки Тура Гульельмо Либри. И лорд Эшбернхэм-младший в виде особого исключения бесплатно передал ее Франции.

Ничего этого не подозревал Проспер Мериме. Во всех испытаниях, выпавших на долю Либри, писатель-библиофил оставался верен «дорогому собрату», яростно боролся против возведенной на него «напраслины» и стал, по существу, представителем Либри во Франции. Дело осложнялось тем, что доклад Букли, юридически вполне доказательный, отличался вопиющей библиографической безграмотностью. Были перепутаны буквально все названия, даты, библиографические данные о книгах и рукописях. На этом основании можно было оспорить что угодно. И Мериме не поверил докладу прокурора, а поверил своему другу Либри. Когда же был

опубликован приговор, Мериме счел это политической провокацией.

Выступая с резкой, по существу антиправительственной статьей в защиту Либри в газете «Revue des Deux Mondes» 15 апреля 1852 г., он был искренне убежден, что защищает невинного. Назвав доклад сплошной фантазией, Мериме сделал вывод, что «оценка сочинения, созданного воображением, не выходит за пределы его писательской компетенции». С помощью одного из сотрудников Библиотеки Мазарини Мериме доказал, что несколько книг, упомянутых в докладе Букли как примеры хищений Либри, мирно покоятся на полках Библиотеки Мазарини. Как видим, библиографическое невежество может подвести и юристов. Кроме того, Мериме полностью согласился с печальным перечнем краж в библиотеках Франции, приведенным Либри, и вообще одобрил его защитительные брошюры. Пожалуй, больше всего возмущался Мериме тем, что Либри не позволили «ни ознакомиться с обвинительным заключением, ни выступить на суде в свою защиту». Мериме пытались убедить, что Либри ни при каких обстоятельствах, ни по каким приглашениям не ступит больше на землю Франции. Но люди порядочные с трудом верят в чужую полнейшую непорядочность.

Статья Мериме, написанная с присущим ему публицистическим пафосом, вызвала новый прилив дискуссии и... возмущение властей. 29 апреля 1852 г. Мериме написал редактору газеты «Revue...» Де Сен-Мару: «В моей статье сумели увидеть нападки на правосудие и судебное ведомство. Я этого не хотел. Я действовал, чтобы защитить невиновного, оспорить документ, который его обвинял, и, как необходимое следствие, я стремился изобличить авторов этого документа, допустивших ошибки... Я не переставал призывать господина Либри доказать свою невиновность, убежденный в том, что наши судьи, имея новые материалы, постараются найти правду!»

Вскоре Мериме получил повестку в суд, где ему было предъявлено обвинение в публичном оскорблении представителей юстиции, которых он «голословно упрекнул» в некомпетентности. Следователи подготовились к встрече с Мериме и показали ему ряд книг из парижского дома Либри, которые были опознаны сотрудниками библиотек, следы соскобленных печатей и прочие свидетельства славных деяний «дорогого собрата». Некоторые положения статьи в «Revue...» теперь выглядели неубедительными и в глазах автора. В сущности, целью всей этой беседы было не столько проучить Мериме, сколько обелить французское правосудие, отнюдь не всегда безгрешное. Все же Мериме пригрозили суровым наказанием.

Утром 10 мая Мериме отправил письмо мужу В. И. Дубенской господину Де Лагрене: «Эти господа (судьи. — *В. К.*) обязательно хотят меня повесить. Будьте так добры и дайте мне адрес г. Ножан де Сент-Лорана (известного адвоката. — *В. К.*), и если хотите довершить свои благодеяния, то также и рекомендательное письмо к нему. По вашему совету я поручу ему свою защиту, с тем, однако, чтобы он не слишком пускался в красноречие и не пытался бы перенести осуждение на «Revue...». Для меня самое важное — не быть присужденным к слишком большому штрафу».

Через десять дней был объявлен приговор Просперу Мериме — 15 суток тюрьмы и 1000 франков штрафа. В приговоре, в частности, говорилось:

«...учитывая, что действия суда или отдельных государственных чиновников могут быть подвергнуты критике только в тех случаях, когда такая критика умеренна и уместна;

учитывая, что господин Мериме позволил себе иную критику, что инкриминируемая ему статья может рассматриваться не иначе, как неоправданная критика действий судей и документов, исходящих от органов правосудия;

учитывая, что, рассмотрев статью господина Мериме, ее дух и букву, можно признать в ней публичное оскорбление чиновников...» и т. д. и т. п., редактор «Revue...» присуждался к 200 франкам штрафа и обязывался поместить в газете текст приговора.

Мериме отнесся к этому с обычным своим юмором. Сразу же получив от Дубенской предложение ссудить его деньгами, он 27 мая отвечал ей: «Сударыня, эти господа (вы знаете, о каких господах я говорю) заставляют мою голову кружиться от гордости. Я обязан им тем, что увидел, какими добрыми друзьями я обладаю, и все это как раз в тот момент, когда осторожные люди должны были бы держаться в стороне... Если бы случай не доставил мне в настоящую минуту небольшое сокровище, *наличные деньги* *, я бы с готовностью принял предложение, сделанное так сердечно... В пять часов и три четверти, то есть пять минут спустя после приговора, я убедился, что у меня украли тысячефранковый билет и что я имел неосторожность попасть в лазарет, — два злоключения, в которых я был немедленно утешен. Я воспользуюсь вторым, чтобы выучить неправильные глаголы русского языка, которыми я слишком пренебрегал, и без этого случая рисковал бы не узнать их никогда. Да будут трижды благословенны эти господа» **. Поскольку Мериме был тогда служащим министерства внутренних дел (куда входила возглавляемая им Комиссия исторических памятников), он обратился к своему начальству с запросом, не должен ли он немедленно подать в отставку. При этом он высказал соображение, что приговор вынесен писателю, а не служащему, и в этом случае, быть может,

*

Эти два слова Мериме написал Дубенской по-русски. В 1852 г. вышли «Новеллы», принесшие Мериме гонорар.

* *

Перевод А. К. Виноградова (см.: Мериме в письмах к Дубенской. М., 1937).

отставка не обязательна, а для отбытия наказания он может испросить отпуск. С ним согласились, и это был единственный в своем роде отпуск, проведенный столь оригинальным способом. В тюрьме Консьержери он не скучал, беседуя с собратьями по несчастью и запасаясь наблюдениями.

Как и следовало ожидать, собственные неприятности отнюдь не убедили Мериме в виновности Либри. Он не раз писал потом, какое неблагоприятное для Франции впечатление произвело дело Либри за границей. Когда в 1861 г. жена Либри (сам он был болен) обратилась с требованием пересмотреть «несправедливый приговор», сенатор Проспер Мериме горячо поддержал апелляцию. Так получилось, что одно из последних его писем о деле Либри также написано русскому другу, библиофилу Сергею Александровичу Соболевскому. В 1861 г. Соболевский последний раз в жизни приехал в Париж и весьма интересовался делом Либри. Он обратился к Мериме с просьбой снабдить его новыми материалами. Мериме отвечал 27 октября 1861 г.:

Мой дорогой друг!

По всей вероятности будет выпущен в свет специальный отчет о том заседании сената, в котором разбиралось дело Либри; но пока он еще не появился, У меня есть лишь клочки и отрывки документов, о которых вы говорите, но так как они не представляют большого интереса для вас, то я напишу для вас дополнения.

Все-таки возникает впечатление, что к концу жизни Мериме начал подозревать, насколько неискренен и хитер Гульельмо Либри. 19 мая 1865 г. Мериме писал Паницци: «Вы знаете, что Либри похож на человека XVI столетия, который никому не доверяет; он напоминает мне Бенвенуто Челлини, который издалека обходил перекрестки, опасаясь нападения из-за угла».

Столкнувшись с низостью Либри, благородство Мериме, несмотря на свою наивность, все-таки победило. Ибо время расставило все по местам, и мы знаем теперь истинную роль и истинные побуждения их обоих.

*

А что же делал в это время в Лондоне тот, из-за кого разгорелся небывалый книжный и юридический сыр-бор? Во-первых, как крупный знаток книги и личность незапятнанной репутации, он был назначен экспертом комитета палаты общин по обследованию публичных библиотек Англии. Казалось бы, появилась возможность повторить пройденный путь, но уже по ту сторону проливов. Однако Либри этим не воспользовался — то ли притомился, то ли замки в английских библиотеках были надежнее. Во-вторых, на аукционах фирмы Сотби и некоторых других он в 1849—1865 гг. продавал оставшиеся французские трофеи. Каждый раз выпускались каталоги — увы, неаккуратные и неточные или, как их называли, «шарлатанские». Это возмущало педантичных английских библиофилов, не склонных покупать котов в мешках. Громче всех других, вместе взятых, шумел, разумеется, сэр Томас Филипс. Разочаровавшись во многих рукописях из коллекции Либри, которые приобрел заочно — через Сотби, сэр Томас адресовался к фирме с претензиями, грозя вернуть купленное и потребовать деньги через суд. Руководители Сотби обратились к Либри. Тот отвечал 8 августа 1859 г.:

Джентльмены!

Из вашего письма явствует, что сэр Томас Филипс отказывается принять некоторые рукописи, продававшиеся вами в течение семи дней, начиная с 28 марта. При этом сэр Филипс утверждает, что их содержание не соответствует каталогу.

Не вдаваясь в рассуждения по поводу тех 4-х месяцев, которые прошли между покупкой и отправлением письма, я отвечу так: сэр Томас купил эти рукописи у вас — на открытом рынке и на общих условиях (см. Правила аукционов, § V). Этот параграф гласит, что «рукописи должны быть проданы вне зависимости от неточностей и ошибок в описании»; я никогда не возьму обратно ни одной рукописи и не соглашусь на изменение зафиксированной цены. У меня есть все основания полагать, что рукописи (описанные под наблюдением людей в высшей степени достойных и знающих) соответствуют каталогу. Но это не предмет обсуждения, ибо, в соответствии с условиями аукциона, никакие последующие жалобы не могут быть приняты во внимание.

Остаюсь, джентльмены,
преданный вам
Г. Либри.

О возвращении награбленного рукописного добра Франции впервые речь зашла сразу же после вступления в законную силу судебного приговора 1850 г. Заговорила об этом «Literary Gazette» в номере от 7 сентября 1850 г., в то время как пострадавшие библиотекари многих французских городов еще опасливо хранили молчание. Газета писала: «Официальные инстанции Франции могут потребовать (вплоть до дипломатического представления) возвращения Британским музеем и публичными книгохранилищами других стран, равно как и частными лицами, редких книг и рукописей, которые, как заведомо знали покупатели, были украдены Либри из публичных библиотек Франции и перепроданы. Однако при этом придется считаться с возражением, что Национальная библиотека, как и другие французские книгохранилища, обогащена наполеоновскими трофеями из Эскориала, Берлинской библиотеки и чуть ли не всех известных европейских библиотек». Пожалуй, тут справедливо

было бы напомнить о московских и других русских библиотеках, не оставленных в неприкосновенности наполеоновской армией в 1812 г. (см. рассказ о Д. П. Бутурлине в четвертой части нашей книги).

Между прочим, еще раньше сам Либри писал министру Де Фаллу: «Формально говоря, как это ни прискорбно, Королевская (Национальная) библиотека немало сделала для сформирования собрания, многие годы хранящегося в Британском музее. Между тем ведь Британский музей покупает книги только у тех, чья безупречная репутация ему хорошо известна». Тогдашний руководитель Национальной библиотеки господин Ноде * с негодованием возражал: «Эти почтенные и щепетильные люди, которые продали книги Британскому музею, — у кого они сами-то их купили? Хватит и того, что, отдавая деньги за ворованный товар, они посредничали между Британским музеем и ворами!» На замечание газеты о наполеоновских трофеях Ноде отвечал так: «Ах! Вы считаете возможным в этой книжной торговле награбленным и контрабанде награбленного вспоминать действия наших солдат, в начале века обогащавших французские библиотеки и музеи трофеями. Вы рискуете сравнивать их жертвы и их жизни с жертвами и жизнью господина Либри! Солдаты остаются солдатами, все другие захватчики должны считаться с перспективой отправиться на галеры». Рассуждения о книжных военных трофеях — на совести говорившего. Зато о галерах — все правильно.

Как бы то ни было, правительство Франции шагу не ступило, чтобы вернуть рукописи и книги, увезенные Либри. В том, что кое-какие из них все же возвратились во Францию, почти исключительно заслуга библиографа-патриота Леопольда Делиля.

*
Однофамилец Габриеля Ноде, о котором рассказано в очерке «Кардинал и библиотекарь»».

После смерти лорда Эшбернхэма (1878) его собрание разделилось на четыре части: фонд Либри — 1423 номера, фонд Барруа (происхождение его известно читателю) — 702 номера, собрание Стоу — 996 номеров и так называемое дополнение — 250 номеров. В начале 1880 г. сын и наследник лорда Эшбернхэма решил продать всю коллекцию en bloc — сразу и, естественно, подороже. Как только выяснилось, что такая продажа предстоит, между Британским музеем и Национальной библиотекой Франции начались переговоры о разграничении интересов. Решение было найдено без труда: фонд Стоу и Приложение, также включавшие рукописи, украденные Либри (но относящиеся к Англии), купит Британский музей; на приобретение фондов Либри и Барруа преимущественное право получала Франция. Однако решение найти оказалось проще, чем деньги. Требования молодого лорда пришли в вопиющее противоречие с возможностями библиотек.

Национальная библиотека предложила за коллекции Либри и Барруа 900 тыс. франков — вдвое больше того, что в 1847 и 1849 гг. заплатил лорд-отец. Владелец рукописных богатств посмеялся над этим предложением, заявив, что одних налогов на капитал за прошедшее тридцатилетие уплачено его семейством больше, чем им теперь предлагают. Сделка провалилась. В 1883 г. лорд вновь адресовался к Британскому музею, предлагая уступить ему все собрание примерно за 4 млн. франков, если считать на французские деньги. При этом с некоторым цинизмом он заявил, что промедления больше не потерпит, поскольку на примете у него есть «американский покупатель», готовый уплатить требуемую сумму немедленно. Узнав об этом, новый директор Национальной библиотеки Леопольд Делиль обратился к попечителям Британского музея и Национальной библиотеки с горячим призывом изыскать средства и не допустить распыления национальных богатств Франции. Однако

годы ушли, и кое-кто уже склонен был позабыть, что собрание лорда Эшбернхэма в подавляющей части состоит из книг и рукописей, украденных Либри во французских библиотеках.

Была создана новая «согласительная» комиссия для проверки утверждений Делиля. С полной достоверностью выяснилось французское происхождение всего лишь 166 номеров. В остальных случаях имелись лишь косвенные доказательства, во внимание не принятые. Британский музей подписал обязательство: в случае покупки всего собрания за 4 млн. франков он передаст эти 166 книг и рукописей Франции за 600 тысяч. Однако, как и следовало ожидать, английское казначейство выделило лишь четверть требуемой суммы, да и то на покупку фонда Стоу, по содержанию относящегося к Англии. Все попытки как-то оспорить это решение кончились ничем.

Так бы и не получила Франция обратно своих богатств, если бы не чудо. Вмешалась третья сторона — Германия. В октябре 1887 г. страсбургский книготорговец Трюбнер обратился к Леопольду Делилю с неслыханным предложением. Он готов купить у лорда Эшбернхэма 166 номеров, определенных комиссией как неоспоримо французские, и передать их Национальной библиотеке всего за 150 тыс. франков при условии, что Германии будет возвращен из Парижа знаменитый Гейдельбергский список песен Менессе (1320). Некогда этот шедевр немецкой письменной культуры находился в библиотеке Палатина во Флоренции, оттуда перекочевал в Гейдельберг, а в 1600 г. не в меру щедрые меценаты подарили его Франции. Германия много раз пыталась вернуть песни, но тщетно. И вот 23 февраля 1888 г. сделка состоялась. Делиль получил в Лондоне драгоценные 166 томов, и в тот же день в Париже немецкому послу графу Мюнстеру вручили песни Менессе. Бесценный труд немецких миниатюристов и переписчиков XIV века возвратился в Гейдельберг.

Делиль принялся за составление каталога и по ходу работы выявил еще ряд несомненных краж Либри. Он составил особый список «долгов» лорда Эшбернхэма Франции, которые не получены в значительной части и до сих пор. Торг с американцем почему-то не состоялся, и 10 июня 1901 г. в аукционном зале Сотби началась распродажа оставшейся части коллекции. Кое-что купил Британский музей, немножко Национальная библиотека, некоторые редкие научные рукописи и книги — итальянцы, а основную массу — американский миллионер Морган.

Вы спрашиваете о дальнейшей судьбе Либри? Титанические усилия не принесли ему счастья. Не старым еще человеком он тяжело захворал, потерял ко всему интерес, разорился и к концу 1860-х годов уехал в Италию. Умер он в полном одиночестве и нищете.



Иезуит в Санкт-Петербурге,
или О том,
как баварский ученый-богослов

АЛОИЗИЙ ПИХЛЕР

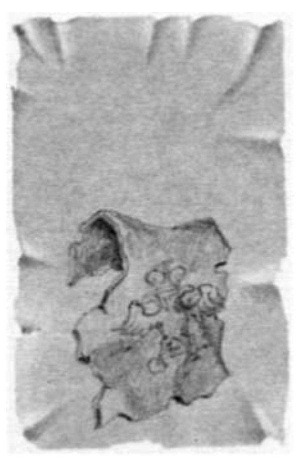
нагло обчистил
Императорскую
Публичную библиотеку




Публичная библиотека
в Петербурге

Ad
bibliothecam
Pichler

Ярлык А. Пихлера
на книгах Публичной блиотеки



Нам предстоит участие еще в одном судебном процессе, читатель. На этот раз не воображаемом посмертном суде истории, как с Уайзом, и не заочном разбирательстве, как в деле Либри, а вполне реальном, с участием подсудимых. Процесс Алоизия Пихлера и его двоюродной сестры (по крайней мере, сам он таковой ее объявлял) Кресценции Виммер состоялся в Санкт-Петербургском окружном суде 24—25 июня 1871 г.

Однако прежде чем отправиться в зал суда, расскажем о том, что привело к этому необычайному для России (во всяком случае — по масштабам содеянного) уголовному делу о похищении книг. В основном наш рассказ совпадает с материалами обвинительного заключения. Консультантами и проводниками выберем двух уважаемых и компетентных людей. Один из них — Василий Иванович Собольщиков, старший библиотекарь по отделению искусств и одновременно архитектор Публичной библиотеки, 38 лет отдавший служению книге и людям, беззаветно преданный своему призванию. Он не просто трудился в Публичной библиотеке, он и жил там. Состав-

ленная Собольщиковым 15 марта 1871 г. «Памятная записка» служит первоисточником всех сведений об ограблении библиотеки Алоизием Пихлером. То, что случилось в 1869—1871 гг., было личным горем и бедою Собольщикова. Другой — анонимный поначалу автор первого газетного репортажа о деле Пихлера, помещенного в «Санкт-Петербургских ведомостях» 12 марта 1871 г. В этой газетной корреспонденции канва событий соткана в строгом соответствии с истиной, а оценка близка к нашей сегодняшней. Это не покажется странным, если мы откроем имя писавшего — Владимир Васильевич Стасов. Да, да, тот самый — выдающийся художественный и музыкальный критик, сотрудник Публичной библиотеки. Он выступал в процессе Пихлера представителем гражданского истца, то есть библиотеки.

Как справедливо заметил Стасов, «самый факт этой покражи настолько необыкновенен, как по подробностям, так и по личности, ее совершившей, что принадлежит к явлениям, действительно заслуживающим подробного изложения». Конечно, признает Стасов, нет такой общественной библиотеки в Европе, где бы не пропадали книги, «так точно, как нет на свете хлебного амбара без крыс и мышей, несмотря ни на какие меры предосторожности, и Петербургская библиотека тоже не могла избегнуть общей участи». Но такого воровства, какое стало заметно с 1870 г., никогда еще не бывало в библиотеке. Целые издания, насчитывающие много десятков томов, стали вдруг постепенно исчезать том за томом.

Уточним кое-что (по Собольщикову и материалам процесса): в отделении полиграфии исчезло полное 73-томное собрание сочинений Вольтера в «большом сафьянном» переплете; в историческом отделении не досчитались длинного ряда томов из редчайшего собрания английских хроник; в отделении искусств пропали шесть роскошных изданий типографии Уоринга, переплетенных весьма изящно; наконец,

в богословском отделении не досчитывались сотен, а, как вскоре выяснилось, двух тысяч книг. Исчезали роскошные издания из запертых выставочных витрин; книги, еще вчера собственноручно поставленные библиотекарями на место, сегодня растворялись в воздухе. Подозрения пали на служителей, рабочих, ремонтировавших библиотеку (тем более, что пропадали книги, богато украшенные, а систему, избранную вором, так сказать, «по смыслу» угадать было трудно). Постепенно создалась атмосфера всеобщей слежки и взаимного недоверия. Младшим сотрудникам библиотеки запретили входить в залы хранения.

Сверхштатный старший библиотекарь по отделению богословия, член Мюнхенской академии, баварский подданный доктор богословия Алоизий Пихлер, узнав об исчезновении шести томов из латинского палеографического многотомника, с иезуитской усмешечкой на устах заметил: «Подобные бессмысленные кражи могут случаться только у вас в России, где люди воруют книги, как дрова, не начиная даже с первого тома...»

*

Алоизий Пихлер родился в 1833 г. в баварском городке Нассау близ Мюнхена в семье столяра и прачки. Рано обнаружившиеся выдающиеся способности к наукам помогли ему пробиться к вершинам университетского образования. Однако путь был тернист: по дороге из Нассау в Мюнхен будущий студент собирал милостыню. Как бы то ни было, Пихлер стал известным ученым-теологом и, принадлежа формально к иезуитскому ордену, прославился широтой воззрений. Одно из его сочинений («О разделении церквей на Восточную и Западную») отличалось такой силой аргументации, направленной против папы и папства, что святой отец повелел занести эту книгу в Index librorum prohibitorum — список сочинений, которые под страхом отлучения не положено читать католику.

Личность и взгляды иезуита, который не прочь был противопоставить католичеству православие, заинтересовали русское правительство. И вот в 1869 г., не получив достойной столь важной персоны должности при баварском дворе, капеллан и лектор Мюнхенского университета Алоизий Пихлер направился ко двору русскому. Чтобы как-то справляться с бытовыми трудностями, он привез с собой из Мюнхена двоюродную сестру Кресценцию Виммер. По личному повелению Александра II числился он при министерстве внутренних дел с жалованьем три тысячи рублей в год.

Пихлер просил министерство просвещения открыть ему беспрепятственный доступ к фондам Императорской Публичной библиотеки, совершенно необходимый ему для важных научных занятий. Открыли. Больше того — поскольку место старшего библиотекаря по отделению богословия, хранившему свыше 100 тыс. томов, оказалось вакантным, оно было предложено Пихлеру (правда, без жалованья и без «обязательных занятий»). В библиотеке почтенный ученый трудился с мая 1869 г. по март 1871 г. с четырехмесячной отлучкой в Рим, куда был командирован на деньги русского правительства, чтобы следить за ходом Вселенского собора. Это был собор, провозгласивший догму о непогрешимости папы, против которой баварский иезуит на русской службе ополчился в «Аугсбургской газете» с эрудицией ученого и сарказмом фельетониста.

Публичная библиотека в Петербурге удивила и обрадовала Пихлера. В беседе с ее директором И. Д. Деляновым (с которым дружил домами) Пихлер говорил, что европейские ученые и не подозревают, какие богатства хранит главная библиотека России, и он, Пихлер, когда слегка освободится от своих главных теологических штудий, удивит мир цитатами из книг, имеющихся в единственных экземплярах в Петербурге. Делянов улыбался, благодарил

за внимание к вверенному ему учреждению и обещал предоставить капеллану и академику все необходимые условия для плодотворной деятельности.

Деятельность оказалась более чем плодотворной: за неполных два года работы Алоизий Пихлер на собственном горбу (почти в буквальном смысле, ибо к сюртуку на спине сестрица искусно подшила ему для этой цели специальный мешок) вынес из библиотеки по меньшей мере 4600 томов, в том числе необычайно тяжелые — по пуду весом; он вырвал из алфавитного каталога несколько сот карточек, лишая библиотекарей возможности проверить фонды; он вырезал из различных изданий, которые считал недостаточно ценными, чтобы красть целиком, тысячи статей и гравюр; питая особое пристрастие к библейским сюжетам, он выдрал из новой английской Библии 56 гравюр, из Библии французского издания — 236 гравюр, голландского — 135. Всего, по подсчетам Стасова, Пихлер прослужил в библиотеке «чистых» 450 дней. Значит, он утаскивал в среднем по 10 книг в день, не считая «мелочей». Какой же нужен энтузиазм, какие сила и ловкость! Недаром потом, когда в библиотеку были доставлены на семи возах 4600 искалеченных фолиантов, служители, переносившие книги в хранилище, шутили: самой страшной карой для Пихлера было бы заставить его на руках перетащить назад все украденное. Но, как увидим, наказание оказалось помягче.

Вообще к Пихлеру в библиотеке относились хорошо. Высокий улыбчивый брюнет, застенчивый и постоянно отводящий глаза — видно, от смущения, вполне объяснимого полным незнанием языка и обычаев страны, в которой *очутился*, — он вызывал симпатию. Правда, репортер «Судебного вестника» в свое время несколько иначе описал внешность Пихлера: «Подсудимый... высокого роста, чрезвычайно тощ; у него маленькая голова, узенькие, чрезвычайно бле-

стящие глаза; он смотрит исподлобья, не прямо в лицо, постоянно улыбается и краснеет, говорит с большою энергией, жестикулируя, часто поднимает глаза и руки к небу и произносит имя бога...» Но ведь это репортаж из зала суда: угол зрения писавшего был определен положением Пихлера на скамье подсудимых. Что касается библиотекарей, то они, похоже, оказались плохими физиономистами. Да и кто знал, что в глаза Пихлер не смотрит неспроста и божье имя поминает всуе? В богословии он был более чем сведущ, начитанность его была изумительна, а с русскими, не знавшими по-немецки, понятное дело, он не беседовал.

Очень скоро, правда, в поведении Пихлера обнаружились некоторые странности, видимые, так сказать, простым глазом. Во-первых, он зимой и летом появлялся в библиотеке в пальто (которое категорически отказывался оставлять в гардеробе), надетом поверх длинного мешковатого патерского сюртука, а главное — в резиновых галошах, их он тоже не желал снимать. Во-вторых, за те несколько утренних часов, которые ежедневно проводил в библиотеке, он обязательно раза два-три покидал ее на краткий срок и вновь возвращался. Когда дело зашло так далеко, что за Пихлером вынуждены были следить, выяснилось: галоши нужны ему, чтобы бесшумно появляться в отделениях второго этажа библиотеки в отсутствие должностных лиц; пальто — чтобы скрывать прямоугольную от засунутых в мешок огромных книг спину и карманы сюртука, набитые книгами форматом поменьше. В памятной записке 15 марта 1871 г. Собольщиков, между прочим, замечал: «Проходя по залам, он приподнимал руки, как будто они были запачканы пылью. При этом он пощелкивал пальцами и слабо посвистывал или напевал. Это положение рук позволяло ему выпячивать грудь и выгибать спину, чем и объясняется возможность проносить те объемистые фолианты».

Когда весть о постоянных пропажах, начавшихся в 1869 г. и принявших характер форменного бедствия в начале 1871 г., стала всеобщим достоянием, многие заподозрили Пихлера. Собольщиков прямо сказал, что «подозревает его и боле никого». Летом 1870 г. произошел такой случай. Пихлер уходил из библиотеки и отворил уже было дверь на улицу, как лопнул у него какой-то шов или тесемка в сложной воровской конструкции, и на пол вестибюля упало несколько книг. Швейцар бросился помогать ученому подбирать книги, а тот поступил по меньшей мере странно: самолично отнес упавшие книги в хранение на второй этаж, как будто они оказались у него в сюртуке совершенно случайно, и после этого степенно удалился. Конечно, Пихлера потом деликатно и учтиво расспросили, откуда, мол, у него книги под полой. На это он с раздражением и негодованием отвечал, что ему, знаменитому ученому, очень даже странны подобные намеки: надо же ему дома заниматься, а летом библиотекари многих отделений в отпуске и спросить разрешения на вынос книг не у кого; он ведь здесь «свой человек», да и в Европе везде так делается. В последнем пункте он отчасти был прав: как мы видели, в Европе и не такое случалось (между прочим, на суде гражданский истец В. В. Стасов упомянул о Либри как о «славном» предшественнике Пихлера и о приговоре, ему вынесенном). Что касается некоторого противоречия с заявлением Пихлера, будто только в России «тащат книги как дрова», то это, право, мелочь. Он, по его словам, и в Мюнхене поступал точно так же, а уж там ли не строгие блюстители библиотечных порядков. «Известное русское почтение и даже подобострастие перед иностранцами, — горестно вздыхает Стасов, — да еще вдобавок знаменитостями, и притом состоящими на службе у правительства, взяло свое, и Пихлера долее не допрашивали».

И все же подобострастие — свойство у нас не

всеобщее. Собольщиков настоял на принятии некоторых мер. Посылали сторожей потихоньку следить за Пихлером во время его ежедневных кратковременных отлучек из библиотеки: куда направляется? Оказалось — только на свою квартиру, в дом финской церкви на Большой Конюшенной улице. Там не задерживается больше пяти минут и, слегка похудевший, бодрым шагом поспешает в библиотеку. Наконец, к декабрю 1870 г. дошли до крутых мер: потребовали от Пихлера, чтобы он оставлял пальто в гардеробе. В ответ появились два любопытных документа. Один — письмо Пихлера В. И. Собольщикову от 19 декабря 1870 г.; второй — его письмо директору И. Д. Делянову от 11 января 1871 г. *

Собольщикову Пихлер представил себя как жертву незаслуженной обиды: «Милостивый государь! Вы, вероятно, согласитесь со мною, что для молодого человека, к тому же иностранца, мысль о том, что он дал почву для подобных подозрений, совершенно невыносима... Позвольте заверить вас, милостивый государь, что мои занятия в библиотеке ни сейчас, ни в прошлом не имели иных целей, кроме тех, которые с самого начала служили основанием моего пребывания в ее стенах в качестве старшего библиотекаря. Прежде чем предложить библиотеке тот или иной труд для теологического отдела, я должен убедиться в том, что он уже не был приобретен либо этим отделом, либо другим... Именно отсутствие такого рода предварительной проверки привело к тому, что в прошлом библиотекой неоднократно приобретались дорогостоящие дублеты...» Иными словами, прежде чем комплектовать библиотеку, то есть исполнять свои служебные обязанности, ее надо раз-

*

Помимо сообщений в русской прессе 1871 г. и стенографического отчета о судебных заседаниях (на немецком языке), мы пользуемся подборкой архивных документов о «пихлериаде», опубликованной Н. Черниковым в журнале «Человек и закон» (1974, № 1—2).

грабить до основания. Именно на это намекает Пихлер, требуя свободного доступа во все отделения. «Считаю также своим долгом, милостивый государь, — пишет он, — поставить вас в известность, что для работы над весьма серьезным исследованием, которое я в настоящее время подготавливаю к печати, мне необходимо иметь более свободный доступ к фондам библиотеки, чем тот, которым пользуются обычные читатели. Ведь именно заинтересованность в появлении этого труда побудила господина министра и господина директора библиотеки представить на утверждение Его Величеству государю императору мою особу в качестве старшего библиотекаря, ибо если бы не это обстоятельство, у меня не было бы оснований претендовать на занятие столь важной должности. Эта честь была мне оказана с целью облегчить работу над моими сочинениями. И если раньше я был счастлив оказанной мне высокой милостью, то теперь готов отказаться от своей должности и своих прав, если пользование ими ставит под угрозу мою репутацию».

Демагогия Пихлера была тоньше, чем может показаться спервоначалу. В этом письме не только наглость, достойная Томаса Уайза, но и иезуитский расчет: испугаются упоминания государя императора (как бы не вышло осложнений и жалоб, если будут продолжать слежку!); и уж во всяком случае удастся выиграть время и кое-что еще «урвать». Что касается упрека в приобретении дорогостоящих дублетов, то он имеет двойной смысл. Во-первых, Пихлер объясняет тем самым, зачем понадобилось ему в резиновых галошах, кошачьей походкой, переходить из отделения в отделение — на дублетность, видите ли, проверял! Во-вторых, упрек Собольщикову и его коллегам в некомпетентности и расточительстве казенных средств заставит их призадуматься: стоит ли выносить сор из избы? Не заметил ли ученый баварец еще каких непорядков и злоупотреблений, за которые

может нагореть от начальства? К счастью, Собольщикова Пихлер понял совершенно неправильно — этот человек был из числа подлинных книжников и патриотов библиотеки, чуждых побочных соображений и заботы о собственной безопасности. Вообще принцип «сами виноваты» («не умеете работать», «запутали библиотечное хозяйство», «библиотека полна невежд» и т. п.) был излюбленным демагогическим приемом Пихлера и на суде, и на следствии, и на той ранней стадии всего дела, о которой мы рассказываем. В его оборонительных «логических построениях» все время слышалось при этом презрение «цивилизованного» человека к «азиатам».

Письмо к И. Д. Делянову выглядит уж вовсе комическим, но, как ни странно, оно оказалось вполне эффективным и помогло Пихлеру выиграть более двух месяцев. «Ваше Превосходительство, — взывал он. — Повод, по которому я вынужден обеспокоить Ваше Превосходительство, сам по себе может оказаться совершенно незначительным, но, как отмечал еще великий Лейбниц и как подтверждает наш повседневный опыт, при определенных обстоятельствах даже самая незначительная мелочь может иметь большое значение.

Как вам известно, я принадлежу к числу последователей прославленной Салернской школы медиков, традиции которой восходят к глубокому прошлому. Исходя из того, что это учение предписывает человеку одеваться примерно одинаково в любое время года, я продолжаю носить пальто и в летний период, хотя и надеваю несколько более легкое пальто, чем зимой (даже и легкое пальто Пихлера оказывалось необычайно тяжелым, ведь он под ним иной раз утаскивал тома в роскошных переплетах, оправленных в серебро! — *В. К.*). С точки зрения моих занятий в библиотеке это не лишено удобства, ибо кабинет, предоставленный в мое распоряжение в теологическом отделении, недостаточно отаплива-

ется и, кроме того, выложен холодными каменными плитами. Оставлять же пальто в своем кабинете при посещении других отделов библиотеки в свете происшествий последнего времени считаю неблагоразумным, ибо тот, кто способен воровать книги, не остановится и перед кражей одежды». Великолепный образец казуистики, не правда ли? Грабитель кричит «держите вора!»

Однако продолжим: «С другой стороны, как честный человек, оказавшийся под подозрением, я считаю необходимым принять определенные меры предосторожности, чтобы оградить себя от нападок тех, кто ополчился на мое ни в чем не повинное пальто. Поскольку у меня впервые за все время моего пребывания здесь потребовали оставить пальто в гардеробе, я намерен отныне, в соответствии с предписанием апостола Павла «быть всем для каждого», надевать под зимнее пальто еще и летнее и оставлять в гардеробе первое, а второе брать с собой в свой кабинет, но не оставлять его в кабинете, а каждый раз уносить с собой». Итак, выход найден — искуснейший книжный иллюзионист XIX столетия продолжает представление! В конце письма Пихлер снова не останавливается перед едва скрытой угрозой — ведь и директора библиотеки могут одернуть сверху: «Учитывая, что отрицательный ответ на это прошение будет равнозначен отсутствию у Вашего Превосходительства доверия к моим чести и достоинству, несомненное наличие которых Вы, Ваше Превосходительство, изволили подчеркнуть в разговоре со мной всего несколько дней тому назад, я в любом случае смогу точно уяснить свое положение во вверенной Вашему Превосходительству библиотеке и определить, насколько возможным будет для меня продолжать выполнять в ней обязанности старшего библиотекаря». Умри Фома Опискин, лучше не сказал бы! Поистине русские классики создавали типы интернациональные по своему значению.

Как поступил Делянов? Утешил Пихлера. Уверил, что никто его не подозревает, что все разъяснится, как только будет найден истинный похититель книг. Пошутил насчет «проблемы пальто», разрешил ходить в библиотеку в чем заблагорассудится и пожелал дальнейших успехов в научных занятиях.

Объясняя эту странную, казалось бы, позицию Делянова, Стасов писал: «Как, в самом деле, вдруг заподозрить человека с европейской репутацией, великого ученого, богослова, страшного даже самому папе, человека, облеченного необыкновенным доверием и поминутно толкущегося в высших наших кругах». К тому же, как выразился Делянов, Пихлер был еще и «представитель тайн божьих».

*

Торопясь и наглея, Пихлер продолжал красть книги. Собольщиков подозревал и наблюдал. Наконец, сердце его не выдержало, и он решился на поступок, который поставил бы в случае неудачи под удар его собственную безупречную репутацию. Василий Иванович поручил швейцару Ермакову при выходе Пихлера из библиотеки ощупать под каким-нибудь предлогом его пресловутое пальто со спины. И вот 3 марта Ермаков против обыкновения стал подавать Пихлеру пальто в гардеробе (мы помним, что немец выбрал иллюзионный вариант «пальто поверх пальто»). Почетный посетитель библиотеки отказывался от услуги швейцара, даже увертывался, но это не помогло. Ермаков нащупал на спине Пихлера большую толстую книгу, оказавшуюся «Сочинениями св. Амвросия» (базельское издание 1686 г., т. 1).

В памятной записке Собольщиков потом отметил: «Книга эта так велика и тяжела, что поднять ее одной рукою, держа за край, просто невозможно». Пихлер между тем ухитрялся в буквальном смысле «одной левой» запихивать такие фолианты в свой

заспинный мешок, демонстрируя мастерство не только фокусника, но и циркового силача. Тут же из сюртука его были извлечены и еще несколько книг.

Итак, швейцар позвал старшего библиотекаря Собольщикова, тот — помощника директора, хранителя отделения старопечатных и рукописных книг Афанасия Федоровича Бычкова. К нему, отлично владевшему немецким, Пихлер обратился с гневной речью, обвиняя русских в неумении управлять таким учреждением, как библиотека, бюрократизме, нелепой подозрительности и т. д. и т. п. «Вот, например, хоть этот св. Амвросий, — возмущался богослов, — мне очень нужен только на один вечер, и завтра он уже будет стоять на своем месте. Но для того чтобы унести домой эту книгу на один вечер, я должен просить разрешения. И получить пропускной билет от чиновника, который никогда не бывает на своем месте». Тут же Пихлер заявил, что, утаскивая св. Амвросия без пропуска, оставил на месте книги в хранилище записку, где сказано, кто взял и когда. Пошли, проверили — записки не оказалось. Заодно не было на месте и второго тома св. Амвросия. Это переполнило чашу терпения, и порешили немедленно отправиться на квартиру в дом финской церкви на Большую Конюшенную. Уже по дороге Пихлер признался, что дома у него несколько книг из библиотеки. «Но сколько все-таки? Сто будет? — Какие там сто, штук пять или шесть».

Дома была сестрица Пихлера, она же — экономка и секретарь, Кресценция Виммер. Занимаясь приготовлением скромной трапезы, она разделывала продукты на большом ящике, заменявшем кухонный стол. В нем аккуратно были сложены книги из Публичной библиотеки. Беглый осмотр показал, что на всех книгах уничтожены — стерты, соскоблены, смыты знаки принадлежности библиотеке: шифры, различные пометы, экслибрисы прежних владельцев и даже срезаны с корешков рельефные «орлы» — эм-

блема библиотечной переплетной мастерской. На их месте были приклеены аккуратные белые бумажечки с надписью «Ad bibliothecam Pichler» (из библиотеки Пихлера). Послали за директором Деляновым. Тот прибыл, поразился увиденному и спросил Пихлера, что сей сон значит? Тот стал горячо доказывать, что брал книги исключительно для занятий и без малейшей мысли о присвоении. Директор решил перенести разбирательство в свой служебный кабинет и удалился. Пихлер вышел его проводить без шапки и без пальто и... исчез.

Между тем служащие библиотеки, запарясь в душной маленькой комнатке Пихлера, решили проветрить помещение. С этой целью отворили дверь в смежную, холодную комнату и увидели приготовленные к отправке в Германию ящики с книгами — общим числом, как потом выяснилось, более четырех тысяч томов. Здесь разумеется, оказался и второй том св. Амвросия, и «История Пражского университета» на латинском языке, которую долго искали в библиотеке, и редчайшая польская книга с серебряными накладками на переплете, пропавшая из-под замка с выставки. Правда, теперь она была уже без накладок! Сестрица ученого постаралась на славу: титаническая работа по уничтожению шифров, штемпелей, «орлов» и экслибрисов и замене их пихлеровскими ярлычками была проведена почти до конца! Лишь небольшая стопка «новых поступлений» лежала на полу, приготовленная к «обработке». Книги были весьма разнообразны по тематике (от Библии до руководства по токарному ремеслу), но отличались общей чертой — высокой ценностью и роскошью переплетов. Пихлеру явно не повезло: он собирался отправить книги в Германию водным путем, что обошлось бы гораздо дешевле, чем по суше, но не дождался летней навигации.

Вызвали полицию. Произвели тщательный обыск — обнаружили около трехсот карточек, выр-

ванных из алфавитного каталога; среди платья Пихлера нашли особо скроенный сюртук с мешком для книг. Составили протокол; опечатали квартиру; отправили сестрицу Пихлера в участок для производства дознания и стали поджидать главного виновника происшествия. Тот, однако, не являлся. Боялись крайностей — как бы не наложил на себя руки или не удрал тайно на родину. Чтобы предупредить побег, передали описание примет богослова на Варшавскую железную дорогу. Однако получилось все проще: Пихлер где-то отсиживался и ночью, пробираясь домой, был задержан дворником и препровожден в полицию. После допроса его и Кресценцию отпустили, предупредив о грозящем им уголовном преследовании. На другой день, в ответ на призыв Делянова о чистосердечном раскаянии как единственном средстве избежать тюрьмы, Пихлер обратился к нему с письмом:

«Нижеподписавшийся приносит горестное добровольное сознание, что он в качестве библиотекаря Императорской Публичной библиотеки тайно взял домой более $4^1/_2$ тысяч книг и на большей их части уничтожил библиотечные знаки. Принося это чистосердечное сознание вины, он просит не передавать этого дела в суд и дозволить ему беспрепятственный обратный выезд за границу».

Любопытно, что, публикуя в 1911 г. впервые этот единственный в своем роде архивный документ, известный библиофил и историк книги А. В. Петров сообщал читателям: «В том же марте последовало увольнение Пихлера от службы в Публичной библиотеке, и он немедленно выехал из пределов России». Получалось, что судебного процесса будто бы и не было и грабителя отпустили с миром. Журнал «Русский библиофил» скоро напечатал уточнение, рассказав о суде. И все же странно, что всего через 40 лет громкий процесс Пихлера был забыт даже книговедами. А ведь о нем и газеты писали, и стено-

графический отчет, правда, в малотиражной брошюрке на немецком языке, был напечатан. А. В. Петрова поправили, и о Пихлере напомнили русскому читателю в 1911 и 1916 гг. Но удивительное дело — в биографической книге о Стасове, изданной его племянницей под псевдонимом Вл. Каренин в 1926 г., снова говорится об отъезде Пихлера за границу без суда. Как-то быстро забываются книжные судебные процессы. А про них стоит напоминать...

Заканчивая свой рассказ о деятельности Пихлера в библиотеке и его разоблачении, Стасов писал: «Остается теперь еще один последний вопрос: что будет дальше с ученым иезуитом, неужели он спокойно уедет восвояси, тогда как постоянно подвергались суду и уголовному наказанию разные мальчики, от глупости или крайней нужды стянувшие из библиотеки несколько книжек на какой-нибудь десяток рублей? Мало разве таких людей, которые много лет искупают ссылкой и поселением в Сибири минутное заблуждение и увлечение насчет казенных денег. Мы не охотники до наказаний и уголовной кары, но, кажется, что должны терпеть разные мальчики или юноши, того не должны избегать и баварские богословы».

*

Суд состоялся. Ему предшествовало письмо прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты В. А. Половцева министру юстиции К. И. Палену: «Вследствие собранных мною лично сведений оказалось, что обвиненный в краже книг из Императорской Публичной библиотеки иностранец Алоизий Пихлер состоял в должности сверхштатного библиотекаря оной, которой (т. е. должности. — *В. К.*) не было присвоено никакого содержания, был допущен к занятиям в богословском отделении библиотеки, не состоявшем в его заведовании, и притом похитил книги не из одного этого отделения, но из всего

верхнего этажа императорской библиотеки. Посему и не находя в этом признаков преступления по должности, а усматривая в нем признаки простой кражи на сумму более 300 руб., предусмотренной 3-й частью 1655 статьи Уложения о наказаниях, я признал возможным поручить прокурору С.-Петербургского окружного суда предложить надлежащему судебному следователю о производстве по сему делу предварительного следствия, причем ввиду важности падающего на Пихлера обвинения, полного изобличения его в оном и возможности, которую он имеет, скрыться за границу, лицо это тотчас после первоначального допроса заключить под стражу».

Раскроем подоплеку этого документа, которая может ускользнуть от читателя за паутиной чиновничьего стиля. Ежели Пихлер обвиняется как частное лицо, обокравшее казенное учреждение, то вся вина падает на него, и только на него. Этого и добивается прокурор судебной палаты Половцев. Ибо стоило определить содеянное Пихлером как преступление должностное, это сразу потянуло бы за собой служебную, если не уголовную ответственность многих людей — не только служащих библиотеки (их интересами, разумеется, начальство могло бы пренебречь), но и разных птиц высокого полета. Вспомним, что восторженный прием Пихлера в России был организован двумя министрами и санкционирован самодержцем. Сей последний теперь, видно, и счел нужным довести дело до суда, но только в виде «обыкновенной кражи». Такой подход, как рассудили наверху, в тот момент соответствовал высшим национальным интересам России и был тактически полезен с точки зрения отношений с Баварией. Во всяком случае, неожиданное присутствие на суде великих князей Константина Николаевича и Николая Константиновича придавало делу политическую окраску.

Итак, 24 июня 1871 г. в $11^1/_2$ часов утра в пере-

полненном зале 2-го отделения Санкт-Петербургского окружного суда началось рассмотрение дела баварского подданного доктора теологии Алоизия Пихлера и Кресценции Виммер — первого по обвинению в краже книг из Императорской Публичной библиотеки, второй — в пособничестве ему. Председательствовал И. И. Шамшин, обвинение поддерживал товарищ прокурора Кобылин, интересы библиотеки представлял присяжный поверенный В. В. Стасов, Пихлера защищал адвокат К. К. Арсеньев, Виммер — адвокат Герке, переводчиками были приглашены адвокаты Фосс и Дорн. На вопросы о том, виновны ли подсудимые во вменяемых им преступлениях и, если виновны, то заслуживают ли снисхождения, должны были ответить присяжные, меру наказания — определить суд.

Надо отдать должное Пихлеру: в трехмесячном предварительном заключении он времени не терял, продумывая в деталях версию полной собственной невиновности. Он даже отправил из тюрьмы два письма. Коллеге-профессору в Мюнхен Пихлер сообщил, что покидает Публичную библиотеку (сугубо добровольно, разумеется), ибо случилось ужасное недоразумение: поступая туда, он не знал, что правилами запрещается брать книги на дом; а поскольку ему хотелось заниматься вечерами дома, он... выносил книги тайно. Итак, появился первый аргумент: Пихлер, не зная русского языка, не мог познакомиться с правилами Публичной библиотеки и не ведал, что творит. В том же письме намечен и второй аргумент, не менее анекдотичный, подробно развитый в ходе судебного следствия; попросив свою сестрицу время от времени стирать пыль с хранившихся дома книг (которые, конечно же, он собирался вскоре вернуть в библиотеку), Пихлер отбыл в Рим на Вселенский собор. Сестрица же, как на грех, стирала пыль столь усердно, что содрала знаки принадлежности библиотеке на многих томах. Может быть, там, вда-

леке, в Мюнхене это кому-то показалось правдоподобным. Но для российского суда, как понимал Пихлер, этих доводов будет маловато. Однако он был убежден, что сумеет выстроить версию столь натурально, что обманет петербургских болванов и невежд.

Начал он с того, что еще в письме из тюрьмы дал завуалированные указания сестрице, остававшейся на свободе, как вести себя на суде. Она должна была неколебимо утверждать, что знаки, шифры и «орлов» на переплетах уничтожала в отсутствие Пихлера и вовсе не по его приказу. Могла ли она, бедная немецкая девушка, догадаться, что книги принадлежат какой-то русской библиотеке! В ящики книги положила тоже она, Кресценция Виммер, поскольку они собирались переехать в более просторную квартиру. «Как мог я знать, — наставлял Пихлер родственницу в письме (обнаруженном во время повторного обыска), — что ты станешь наклеивать ярлычки на книги, принадлежащие библиотеке. Ты ведь проделывала эту работу ночами в своей комнате, а я увидел книги уже с наклеенными ярлычками». По-видимому, он рассчитывал, что, свалив все на сестрицу, окончательно запутает суд, и это спасет их обоих. Не признав себя виновными, Пихлер и Виммер с величайшей наглостью гнули на суде общую линию. Затягивая заседание, Пихлер с бесконечными подробностями рассказывал о том, что еще в Мюнхене студенты часто заимствовали его собственные книги. Поэтому он завел экслибрис-ярлычок. В Петербурге, понятия не имея, что книги на дом не дают, он приносил домой все, что ему нужно для работы, без малейшей мысли о присвоении. Тут его прервали вопросом.

Председательствующий. Не мог бы подсудимый объяснить, тайком или явно выносил он книги из библиотеки?

Пихлер. Если для выяснения обстоятельств

дела это хоть в какой-то мере важно, то мой долг дать объяснения.

Председательствующий (просит переводчика разъяснить Пихлеру). Подсудимый не может быть понужден к даче каких бы то ни было показаний, но если он считает это возможным, суд охотно бы выслушал его разъяснения.

Пихлер. Отвечаю с полной готовностью. Вначале я уносил книги открыто, но вскоре я догадался по жестикуляции привратников — слов я понять не мог — что они не прочь меня задержать. Тогда я перешел к тайному выносу книг.

В том же «парламентском» духе все шло и в дальнейшем. Пихлер распространялся о трагической ошибке сестрицы, принявшей библиотечные книги, оставшиеся в доме из-за поспешности отъезда брата, за его собственные и пожелавшей сделать ему сюрприз к возвращению из Рима; о том, в каком ужасном положении он оказался, не имея возможности, вследствие ее, Виммер, нелепых действий, вернуть книги в библиотеку; о том, как увязал все глубже и т. д. «Итак, что же мне было делать?! — патетически воскликнул Пихлер. — Сообщить о содеянном директору? Будь я в Европе, я так бы и поступил, ибо там я известен как человек безупречной репутации, а моя сестрица как честная, домовитая и работящая девушка. А здесь? На нас тотчас пало бы подозрение».

Распространившись о своем полном одиночестве в мире религиозных и светских врагов, Пихлер продолжал: «Так оказался я в ужасном положении, голова моя раскалывалась, много дней я был простотаки болен. Тут моя сестра дала мне совет: «Если у нас дома обнаружат несколько книг с уничтоженными «орлами» и наклеенными ярлыками «Из библиотеки Пихлера», тебя могут обвинить в краже. Но если ты принесешь в дом значительно большее число библиотечных книг (чтобы вернуть их впослед-

ствии), никому и в голову не придет заподозрить тебя в воровстве. Неужели нас, ни в чем не повинных, бог накажет как преступников?» Я решил попросить какой-нибудь, пусть самый незначительный, пост за границей и, покидая Петербург, оставить книги в своей квартире вместе с письмом к директору. В этом письме я бы во всем признался, попросил бы прощения и изъяснил бы свои мотивы. Уже сама моя готовность променять блестящее положение в России на скромную (500—600 гульденов в год) должность за границей — лишь бы иметь возможность возвратить книги с честью — говорит о моем бескорыстии». И дальше в том же духе. Пихлеровская издевательская «логика» опровержения не требует. Остановимся только еще на одном эпизоде из допроса обвиняемого, характерном для его тактики.

Председательствующий (просит дать объяснения насчет вырезывания статей, гравюр и отдельных страниц из различных изданий).

Пихлер. Этот пункт обвинения я не могу отрицать и полностью его признаю. Однако дело в том, что я вырезывал статьи, иллюстрации и страницы только из тех книг и брошюр, которые были в библиотеке в дефектном состоянии и не обладали для нее никакой ценностью. В первые же месяцы моего пребывания я заметил, что на лестнице, ведущей в служебные помещения, громоздится множество брошюр в неудовлетворительном состоянии, никто не обращал на них внимания; я стал время от времени просматривать эту макулатуру и находить в ней истинные перлы для моих научных занятий.

Дело в том, что как на дознании и следствии, так и на самом процессе Пихлер довольно умело, с ухмылкой на устах подмечал истинные и мнимые промахи библиотечного начальства в рамках своего не высказанного прямо, но все время подразумевавшегося общего тезиса: «Русские не могут управлять культурным учреждением, грабить их не грех,

а доблесть». Кстати, в ходе судебного заседания, да и впоследствии в статьях о Пихлере, эта сторона «методологии» иезуита-книгокрада как-то осталась в тени. На нее следует обратить внимание.

В связи с вопросом о вырезках и выдирках председательствующий обратился к свидетелю И. Д. Делянову.

Делянов подтверждает, что на лестнице валялась макулатура, но утверждает, что Пихлер вырывал листы из совершенно целых изданий, значащихся в каталоге и стоявших в шкафах книгохранилища. Пример: «Исторический журнал Зиделя». Будь этот журнал дефектен, замечает Делянов, мы бы его не переплетали.

Председательствующий (Делянову). Знал ли обвиняемый, что вырезывая статьи и рисунки, обесценивает годовые комплекты журналов?

Делянов. Без сомнения.

Пихлер уверяет, будто понятия не имел, что режет полные, бездефектные комплекты. «У меня никогда не хватило бы на это хладнокровия и жестокости. Иначе меня пришлось бы обвинить в вандализме и зверствах, чего, я уверен, высокий суд не думает».

Книжный вор преувеличивал наивность русского «высокого суда». Судьи думали именно так.

Задача обвинителя на процессе была сравнительно несложной. Деятельность Пихлера настолько изобличалась материалами дела, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами (пресловутым специально оборудованным сюртуком, карточками, вырванными из каталога, изуродованными книгами, вырезанными гравюрами и т. п.), что оставалось только обратить на все это пристальное внимание присяжных, что прокурор и сделал. Однако в первой части речи он дал и общественную оценку действиям Пихлера, которую имеет смысл воспроизвести: «Преступление, которое подлежит в на-

стоящее время вашему суждению, господа присяжные заседатели, — начал свою речь Кобылин, — от момента возникновения до настоящего времени не перестает привлекать внимание и волновать все русское общество. В самом деле, если вдуматься в значение факта, если припомнить, что дело идет о Публичной библиотеке, то в этом нет ничего удивительного... Каждому из нас известно, какое образовательное значение имеет Публичная библиотека, в которой собрано 900 тысяч разных сочинений на разных языках по всем отраслям знаний; тут находится все, что кем и когда-либо писалось о России, так что можно найти все сведения для изучения нашего Отечества... Наконец, Публичная библиотека постоянно открыта для всех желающих пользоваться ее богатствами, следовательно, она является учреждением чисто народным, в котором каждый человек, не имеющий средств к образованию, может получить его бесплатно; наконец, наша Публичная библиотека есть одно из самых замечательных учреждений Петербурга, привлекающая внимание всех иностранцев, бывающих у нас, и может быть названа хранилищем русской науки и просвещения, которое есть достояние всего русского народа. Поэтому виновный в краже книг из этого учреждения посягал на одно из самых дорогих народных достояний». Оставив на совести товарища прокурора, может быть и желанное для него, но утопическое в то время уравнение всех сословий перед лицом просвещения, отметим невиданный случай: впервые в России гимн в честь Библиотеки и Книги произносит представитель обвинения на суде!

Перейдя затем непосредственно к Пихлеру, обвинитель продолжал: «...самая личность деятеля преступления также вполне заслуживает общего внимания. Вы привыкли видеть на скамье подсудимых людей бедных, которых нужда и голод часто заставляют совершать преступления; наконец, людей, не име-

ющих достаточного нравственного развития, которое помогает человеку бороться с преступным побуждением. Понятно, что к этим людям вы, как судьи совести, не можете не относиться с известным сожалением и, произнося над ними свое «да, виновен», — которым решается участь преступника, вы признаете его заслуживающим снисхождения. Но не такой человек предстоит перед вами и ожидает решения своей участи. Перед вами находится новое лицо, совершенно другой человек, который получил высокое образование, был совершенно обеспечен в материальном отношении, человек ученый — доктор богословия... Если сопоставить эту личность с тем преступлением, в совершении которого этот человек обвиняется, то вам представятся совершенно несовместимые вещи: с одной стороны, Пихлер как духовное лицо, служитель алтаря, должен был бороться всеми силами своего просвещенного разума с тем грехом, который он совершил как ученый человек, которому известно, какие сокровища он похищает из учреждения, составляющего достояние целого народа, как человек, общественное положение которого блестяще и доверие к нему почти безгранично. С другой стороны, сопоставьте те побуждения, которые вызвали совершение настоящего преступления, и ту корыстную цель, с которою оно было совершено. В этом отношении, независимо от общественного значения настоящего преступления, мы имеем дело с обыкновенною кражею, а деяния Пихлера ничем не отличаются от деяний обыкновенных преступников».

Речь произвела на присяжных и публику в зале самое благоприятное впечатление. Конечно, можно посетовать, что оратор и словом не обмолвился ни о подобострастии высоких инстанций к иезуиту — противнику папы, заигрывавшему с православной церковью; ни о головотяпстве и трусости библиотечного начальства (не будь Собольщикова, Пихлер вполне мог ускользнуть с книгами), ни о некоторых дей-

ствительных беспорядках в Публичной библиотеке. Но, право, было бы странно требовать всего этого от представителя царской юстиции. И сказанного им довольно!

Положение защитника, согласитесь, оказалось незавидное. Прокурор умело всколыхнул патриотические чувства присяжных, да и фабула дела не оставляла простора для казуистики. К тому же, наглая и абсурдная версия самозащиты, избранная Пихлером, только раздражала тех, кому доверено было решать его судьбу. Кому же хочется выглядеть доверчивым провинциалом в глазах вороватого иностранца?

Тем не менее логическая цепь, выкованная К. К. Арсеньевым, при всей слабости ее звеньев, не лишена интереса — во всяком случае для нас, рассматривающих весь процесс с точки зрения истории библиофилии и библиомании.

1. Пихлер мог давно отправить книги по частям в Германию, но не сделал этого. 2. Не зная правил библиотеки и нуждаясь в самых разнообразных справках, Пихлер сначала брал книги исключительно для занятий, а потом потерял над собой контроль. 3. Пихлер был до смешного беззаботен и неосторожен при похищении — так не мог бы поступать истинный преступник. 4. Мотив корысти отсутствует в действиях Пихлера. Продать эти книги, даже вывезя их за границу, было бы ему весьма не просто. В этом отношении его дело коренным образом отличается от дела Либри.

Из всего этого Арсеньев сделал неожиданный, во всяком случае для присяжных, вывод: совершая свои действия, Пихлер находился под влиянием известной психической аномалии, которая проявляется в том, что человек просто не в состоянии «спокойно смотреть на какую-либо книгу, если она не принадлежит ему». Современная медицина, утверждал Арсеньев, недвусмысленно рассматривает подобное состояние как душевную болезнь. «Если Пих-

лер не был психически болен, — воскликнул адвокат, — как иначе объяснить его поразительное поведение, столь не соответствующее его общественному положению?!» Далее Арсеньев попытался показать, сколь благородна личность Пихлера во всех ее проявлениях, кроме странного эпизода в русской библиотеке, и сколь значительны его ученые труды. Резюмировал защитник так: «Приходится прийти к вполне обоснованному выводу, что он действовал под чарами безумной страсти к книгам, которой не мог сопротивляться и которую не в состоянии был побороть. В действиях Пихлера не было мотива корысти и наживы, и совершенное им деяние не может квалифицироваться как кража». Обращаясь к присяжным, Арсеньев заключил: «Если сказанное не послужит для вас основанием счесть моего подзащитного невиновным, то примите все это во внимание как смягчающее его вину обстоятельство».

К сожалению, полный текст речи Арсеньева не сохранился и приходится прибегнуть к обратному переводу ее основных положений с немецкой стенограммы.

В краткой реплике, положенной ему по правилам уголовного процесса, обвинитель отметил несостоятельность доводов защитника. Ведь если Пихлер психически болен, то это надо было сообщить до процесса и ходатайствовать о медицинском освидетельствовании. Однако ни защита, ни подсудимый с подобными просьбами к суду не обращались. Зачем нужно было терять два дня на столь сложное и утомительное разбирательство, если перед судом предстал безумец? И к чему тогда «смягчающие обстоятельства»? Умалишенных не судят!

Защитник Кресценции Виммер трогательно охарактеризовал подсудимую как слепое орудие в руках ее родственника и наставника, которого она боготворила как ученого и человека и которому беспрекословно подчинялась.

Наконец, гражданский истец В. В. Стасов обосновал претензии библиотеки на возмещение нанесенного ей ущерба и отвел многие клеветнические измышления обвиняемого Пихлера. Библиотека, сказал он, не может быть до конца уверена в возвращении всех похищенных книг, поскольку из каталога были вырваны карточки, а проверка по инвентарным записям — дело долгое и сложное. Но даже если все книги возвращены, библиотека понесла большие убытки, так как многие тома испорчены, лишены иллюстраций и т. п. Стасов продолжал: «Как человек образованный, он, Пихлер, должен был знать, что нигде, даже у диких народов, не существует какого бы то ни было общественного учреждения, в котором не было бы какого-нибудь устава, каких-нибудь правил, и если Пихлер не знал правил нашей библиотеки, он должен был спросить о них. Пихлер старается доказать, что порядки Библиотеки очень дурные, что у нее нет настоящего каталога, что в Библиотеке делаются такие стеснения, которых за границей нет, что за границей можно брать книги, сколько нужно...» Не значит ли все это, резонно заметил Стасов, что из русского книгохранилища можно «таскать книги как дрова», по выражению самого Пихлера?

Затем присяжным заседателям были заданы в письменном виде два вопроса:

1) Виновен ли подсудимый, баварский подданный Пихлер, в том, что в продолжение 1869, 1870 и 1871 годов с целью присвоить себе уносил тайно из Публичной библиотеки принадлежащие библиотеке и найденные потом в его квартире книги, вырезывал из книг библиотеки гравюры и из периодических изданий статьи, всего на сумму более 300 рублей?

2) Виновна ли подсудимая, баварская подданная Виммер, в том, что, не принимая участия в самом похищении книг, гравюр и статей, но зная, что все означенные вещи, всего на сумму более 300 рублей, похищены из библиотеки, с целью сокрытия следов

означенного преступления, уничтожила на похищенных книгах знаки принадлежности Публичной библиотеке?

Истомленным двухдневным процессом присяжным понадобилось всего десять минут, чтобы вынести свой вердикт. На первый вопрос они ответили: «да, виновен»; на второй — «да, виновна, но заслуживает снисхождения».

Через полтора часа суд вынес приговор: «Лишить Алоизия Пихлера всех особых прав состояния, а также ордена Станислава 2-й степени и сослать в Тобольскую губернию на один год, после чего поселить в Сибири без выезда на два года. Решение представить на благоусмотрение государя императора». Кресценцию Виммер суд приговорил к заключению в исправительное заведение на 4 месяца и к последующей высылке за границу, «а если ее там не примут, то отдать под надзор полиции на два года». Чтобы распроститься с Кресценцией Виммер. скажем сразу, что ее «приняли». Отбыв свой срок, она возвратилась в Баварию.

*

Пихлер обратился с прошением о помиловании к Александру II. Он полагал, что его прежняя «полнейшая незапятнанность» дает ему право на «всемилостивейшее милосердие». Как ни в чем не бывало он хвастался своей «неподкупной и сильной любовью к истине», жаловался, что в Сибири его литературная деятельность, столь полезная человечеству, будет вовсе прекращена и, наконец, ссылаясь на «слабую конституцию» и хрупкое здоровье (как только он книжные пуды перетаскал?!), умолял освободить его от наказания. Однако дело зашло слишком далеко, и император решил повременить с освобождением: пусть Бавария хорошенько попросит. Пока Бавария собиралась с мыслями, Пихлера 23 декабря 1871 г. с партией арестантов отправили в Сибирь.

23 апреля 1873 г. поверенный в делах Баварии в Петербурге Г. Лерхенфельд направил министру юстиции Палену следующее письмо: «Господин граф! Имею честь представить вашему сиятельству повторное прошение на имя Его Величества императора о помиловании баварского подданного доктора Алоизия Пихлера, осужденного за кражу и порчу книг, принадлежащих Императорской библиотеке в С.-Петербурге».

После этого самодержец всероссийский сжалился над баварским книгокрадом, который, судя по его слезным письмам, «в Сибири в крайней беспомощности и в полном оставлении находился», и помиловал его, как писали газеты, «вследствие ходатайства принца Леопольда Баварского».

В самом конце 1873 г. Пихлер возвратился на родину, а 22 мая 1874 г. был найден мертвым в своем доме в городке Зигсдорф близ Мюнхена. 28 мая 1874 г. газета «Сын Отечества» сообщила: «Накануне вечером Пихлер был здоров и лег спать. Когда утром слуга вошел к нему, чтобы разбудить его, он нашел Пихлера мертвым. Полагают, что совершено самоубийство. Пихлер, по-видимому, тяготился жизнью, которая после скандального его дела в Петербурге становилась для него невыносимою». Однако 31 мая газета «Голос» поместила более точную информацию: «По заявлению медиков, доктор Пихлер скончался от апоплексического удара. Ему было 40 лет...»

Кем же все-таки был он, доктор богословия Алоизий Пихлер — безумным маньяком, одержимым слепой и необъяснимой страстью к книгам, или же обыкновенным вором, но, так сказать, на книжной почве? Что интересовало его в самих книгах — их научное содержание, или их цена, или же вправду был он болен, и прохладные сафьяновые переплеты охлаждали его разгоряченное сердце и пылающий разум? Казалось бы, Санкт-Петербургский окружной

суд дал однозначный ответ, резонно отвергнув доводы адвоката Арсеньева как не заслуживающие внимания и выдвинутые исключительно потому, что защита не нашла иных, более серьезных, аргументов в пользу Пихлера. Однако, перелистывая материалы о Пихлере в специальной книговедческой печати (в журнале «Русский библиофил» или немецком «Zeitschrift für Bücherfreunde») мы встречаем все ту же ссылку на «болезненное книголюбие» — сиречь библиоманию. Например, А. В. Петров пишет: «Скорее всего, Пихлер был одержим библиоманией в такой степени, что, будучи во всех отношениях честным и солидным человеком, утрачивал в моменты утайки книжных сокровищ всякое представление о границах дозволенного и преступного. Пагубная страсть, как это бывает со всяким безрассудным увлечением, заставила Пихлера позабыть и свой духовный сан, и ответственное положение, и непоправимый ущерб, наносимый общественному книгохранилищу, предназначенному для удовлетворения интересов науки на пользу и благо всего человечества». Несколько иначе ставит вопрос П. Столпянский: «Но и в настоящее время (1911) трудно безапелляционно ответить на вопрос: была ли тут простая кража или действовала больная воля. Но, принимая во внимание, что А. Пихлер вообще не брезговал средствами, что он находил возможность совмещать деятельность ученого с деятельностью тайного политического агента, можно думать, что он, выражаясь вульгарно, крал книги, чтобы извлечь выгоду, надеясь, что его авторитет, его положение отклонят от него всякие подозрения».

Значит, Пихлер все-таки не был библиоманом? По нашему разумению, именно библиоманом он и был. Ибо библиоман — не тот, кто, будучи психически больным, с бессмысленным восторгом гладит книжные корешки — такие люди, если и были в истории, пусть остаются предметом внимания психиатров, — а тот, кто видит в книге не величайшее

из духовных орудий человечества, не средство распространения добра и истины, а нечто иное — вещь, имущество, товарную ценность. Поэтому законченными библиоманами, извратившими само понятие Книга, считаем мы Либри, Уайза, Пихлера. Последний отвратителен еще и тем, что, приехавши в чужую страну, с презрением отнесся к ее духовному богатству и интеллектуальным возможностям ее народа. С высокомерием фанатика он считал, что в России, где и по-немецки-то не все понимают, не нужны запечатленные в книгах мысли великих людей. Именно ему, представителю высшего интеллектуализма, думал Пихлер, по праву должно принадлежать то, что хранят в шкафах своей неуместной здесь библиотеки дикие люди дикой страны. Но презрение к тем, кого не понимаешь, есть один из верных признаков вандализма и варварства, а в применении к интересующему нас предмету — библиомании. И потому Алоизий Пихлер не заслуживает ни снисхождения, ни доброй памяти.

*

Не Либри и Пихлером началась печальная история книгокрадства, не ими и кончилась. Особенно распространены, многообразны, так сказать, малые формы этого бесславного «искусства». Немецкий автор, предпринявший в начале нашего века монографическое исследование темы книжного воровства (G. Bogeng) приходит к пессимистическому выводу: «Какие бы меры ни принимались, пока существуют коллекции, частные и общественные, книжные воры всех сортов останутся с нами».

К чести суда присяжных в Петербурге, он все-таки не последовал примеру тех органов правосудия, которые вообще отказывались считать кражу книги преступлением. Пихлеру предстояли три года изоляции от общества. Прошло более века, и вот московский журнал («Вопросы литературы», 1984, № 6) помещает следующую заметку Р. Уралова:

«В одной из библиотек... случилась кража. Исчезли все двести томов «Библиотеки всемирной литературы». Пожилой интеллигентный читатель... по ночам пробирался в читальный зал, где хранилось сокровище. За шесть ходок он справился с поставленной перед собой трудоемкой задачей... На ручном компьютере он подсчитал, что двести объемистых томов можно осилить, если читать с чувством, с толком и расстановкой, за три года. Именно на этот срок народный суд... изолировал любителя мировой литературы».

Век иной, но сроки, определенные судом, как видим, прежние. Что ж, библиоворам, как и всем преступникам, страшна не тяжесть наказания, а его неотвратимость.

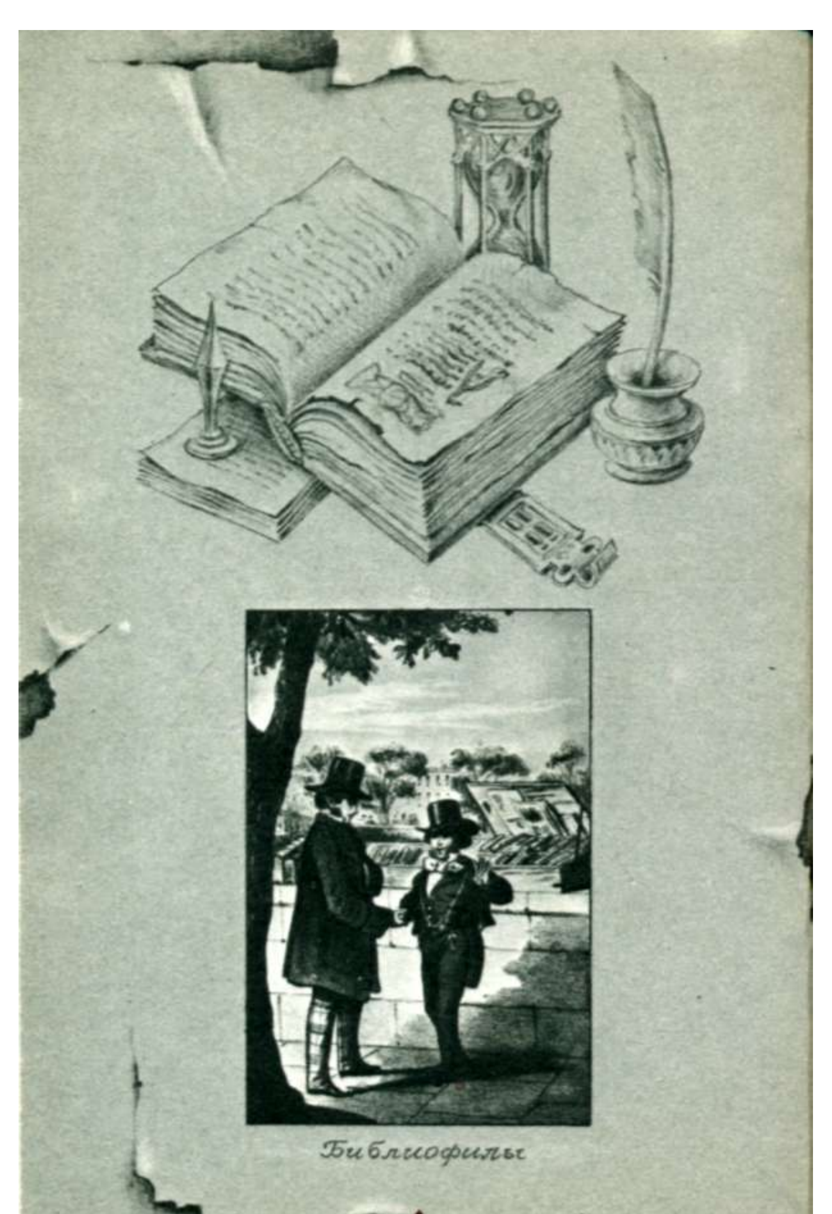




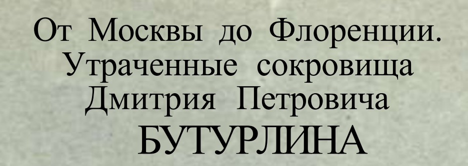
Часть четвертая

СТРАНИЦЫ РУССКОГО СОБИРАТЕЛЬСТВА



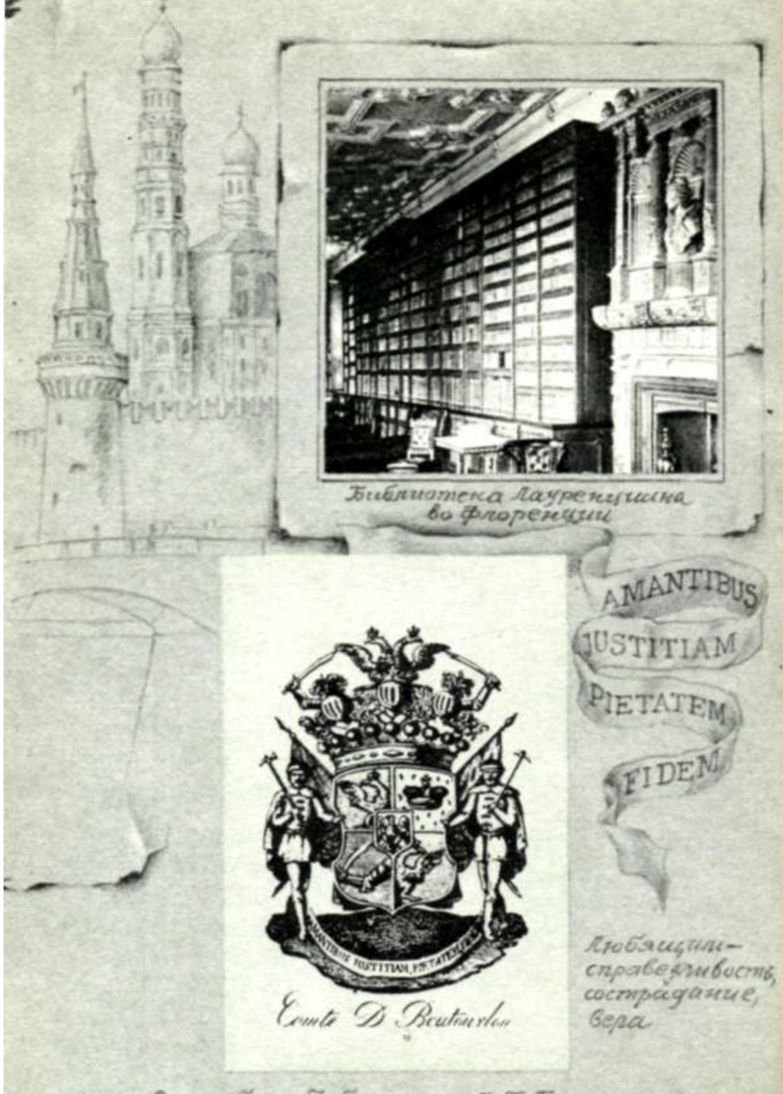


Библиофилы



От Москвы до Флоренции.
Утраченные сокровища
Дмитрия Петровича

БУТУРЛИНА



Экслибрис библиотеки Д. П. Бутурлина



В начале 1973 г. в Москве во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы отыскалась удивительная книга: она и в свет-то, в сущности, никогда не выходила, потом сгорела вместе с огромной коллекцией во время московского пожара 1812 г., позднее в составе другого знаменитого книжного собрания была продана с аукциона в Лейпциге в 1873 г. и вдруг появилась в букинистическом магазине на ул. Качалова в Москве в 1960-х гг., где и была куплена библиотекой.

Речь идет о библиофильском каталоге. Этот род литературы выпускался ничтожно малыми тиражами, носил на себе особенно заметную печать индивидуальности библиофила-составителя и распространялся прежде всего не среди случайных покупателей, а среди друзей и знакомых, соратников по библиофильскому цеху. Все это предопределяло чрезвычайную редкость и особую ценность каждого экземпляра, снабженного, по обычаю, либо автографом составителя, либо пометами и примечаниями разных владельцев, либо тем и дру-

гим вместе. Множество любопытных библиографических историй приключалось с этими каталогами, некоторые из них хорошо известны, другие ждут еще своих рассказчиков. В данном случае дело осложняется тем, что каталог так и не был официально напечатан. Сохранился, по-видимому, не только тот экземпляр, который купила библиотека, но и еще несколько. Читатель скорее оценит значение этой старой, редчайшей, хотя, как увидим, далекой от совершенства книги, представит себе истинное чудо ее сохранения, когда узнает судьбу коллекций Д. П. Бутурлина. Но сначала два предварительных замечания.

Во-первых. Хорошо известны и подробно описаны (хотя теперь весьма редки) четыре каталога библиотек Д. П. Бутурлина: два каталога его московской библиотеки и два — флорентийской. Но упомянутая книга представляет собой не один из этих четырех, а редчайший из редких — пятый каталог.

Во-вторых. Хранящийся в библиотеке экземпляр «таинственного» каталога снабжен экслибрисом и объяснительной запиской другого знаменитого русского собирателя книг — Сергея Александровича Соболевского. Это еще раз говорит и о том, сколь многим мы обязаны спасителям книжных сокровищ, и о том, сколь тесно бывают связаны между собой собиратели книг, принадлежащие к разным поколениям.

Крестник императрицы

Дмитрий Петрович Бутурлин (14. XII. 1763 — 7. XI. 1829) происходил из рода знаменитого, чиновного и очень богатого. Дед его, Александр Борисович Бутурлин за взятие Берлина в Семилетнюю войну был возведен в графское достоинство и получил звание фельдмаршала. Родня со стороны

рано умершей матери Марии Романовны Воронцовой хорошо известна в истории России — канцлер Александр Романович Воронцов, дипломат Семен Романович, президент Академии наук при Екатерине II — Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова.

Крестник Екатерины II, Дмитрий Петрович мог рассчитывать на карьеру для того времени поистине головокружительную. Так оно поначалу и пошло — окончив петербургский кадетский корпус, он был определен адъютантом к Потемкину. Но уже через несколько недель перешел в гражданскую службу, а вскоре вышел в отставку и занялся садоводством, устройством домашних спектаклей и составлением библиотеки, слава которой вскоре стала общеевропейскою. Бутурлин уже никогда более не служил: в 1803 г. был назначен российским послом при папском дворе, но посольство так и не состоялось; вскоре, несмотря на настоятельные уговоры канцлера Н. П. Румянцева, отказался возглавить русскую миссию в Штутгарте, потом числился директором Императорского Эрмитажа, куда совсем не показывался. Ни Екатерина II, ни Павел I, ни Александр I его не жаловали: сенатор и тайный советник, Дмитрий Петрович не имел ни одного российского ордена.

Что же произошло с отпрыском столь знатного рода? В своих воспоминаниях младший сын его, Михаил Дмитриевич Бутурлин, сообщает: «Увлекшись в молодости либеральными теориями, вызвавшими Французскую революцию, отец умолял императрицу отпустить его в Париж, в чем она ему отказала, и за что он, рассердившись, оставил службу и переехал на жительство в Москву». Известно, что старшие родственники Д. П. Бутурлина проявляли живой интерес к идеям Французской революции, а любимый дядюшка и воспитатель А. Р. Воронцов был одним из первых чи-

тателей и почитателей Вольтера в России, так что направление мыслей юного Дмитрия Петровича вполне объяснимо.

Небезынтересное свидетельство о его ранней молодости, проливающее свет на дальнейшую его судьбу, встречаем в знаменитых записках Л. Н. Энгельгардта. Автор рассказывает: «В течение сего времени (1785 г. — *В. К.*) случилось следующее происшествие: фрейлина Эльмт, госпожа Дивова, брат ее флигель-адъютант кн. Потемкина гр. Д. П. Бутурлин и некоторые другие сделали на многих знатных людей сатиру в рисунках с острыми, язвительными и оскорбительными надписями для многих лиц, в которой не пощажена и сама императрица. Долго не находили сочинителей сего пасквиля, а в удовлетворение более потерпевших бесславия оный сожжен был на эшафоте палачом. Но по некотором времени парикмахер, убирая фрейлину Эльмт и имея надобность в бумагах на папильоты, взглянул в угол и, видя разорванные лоскуты бумаги, хотел оные употребить, но, взявши их, увидел рисунки лиц, подобрал все и представил обер-гофмаршалу, который узнал ту сатиру, надписанную рукою фрейлины Эльмт, донес императрице, почему и открылись все авторы. Фрейлину Эльмт, как говорили, обер-гофмейстерина высекла розгами... Дивова с мужем удалены из столицы; граф Бутурлин отставлен с запрещением въезжать в местопребывание государыни».

Так, закончив карьеру в возрасте 22 лет, крестник императрицы поселился в собственном московском доме в Немецкой слободе, где, как писал Пушкин, «пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству». Здесь, на берегу Яузы, прожил он безвыездно (не считая летних поездок в подмосковное Белкино и редких наведываний в

столицу) более четверти века и сумел собрать богатейшую универсальную библиотеку. За долгие годы, при трех императорах, ему не раз представлялась возможность вернуться в службу, но он твердо предпочел библиофильское отшельничество, ибо принадлежал к «поколению русских дворян, воспитавшихся в сумерках XVIII века, несших в своем сознании идеи великих французских просветителей, но уже отмеченных печатью неверия во всемогущество разума. Они могли быть историками и естествоиспытателями, социологами и политическими деятелями — но сладостной и недостижимой мечтой их оставался мир «уединения, молчания и любви...», мир чувств и нравственных размышлений» *.

В отличие от многих других людей того поколения Дмитрий Петрович Бутурлин свой идеал воплотил с полной последовательностью, и прежде всего — через собирательство книг. Обладая немалыми средствами и связями, он сосредоточил в Москве книжную коллекцию, с которой по подбору ценных библиофильских изданий мало какая другая частная коллекция в Европе могла бы сравниться. При всем том, что в так называемом «аристократическом библиофильстве» всегда сказывались и веяния моды, и духовная пресыщенность, а нередко и собственнический элемент, все же многие из этих собирателей сыграли свою роль в истории культуры. Заметнее всего это проявилось в тех случаях, когда их коллекции оказались в конце концов основой публичных библиотек и поныне служат народу. Собрания Д. П. Бутурлина постигла иная судьба, но и они заслужили право на внимание книговедов и историков культуры.

*
Эту точную характеристику заимствую из книги В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона «Сквозь „умственные плотины"» (М.: Книга, 1972, с. 48, 49).

Вся библиотека (по каталогу 1805 г.) делилась на шесть больших разделов: 1. Теология (319 номеров). 2. Юриспруденция (88). 3. Науки и искусства (926). 4. Беллетристика (1213). 5. История (1446). 6. Рукописи (24).

Знаток и любитель-садовод, Бутурлин хранил в особом здании в глубине своего большого московского сада единственную в своем роде библиотеку изданий по садоводству, выпущенных в разные времена.

В целом его библиотека — это типичное собрание крупного европейского библиофила XVIII века, стремившегося иметь у себя на полках «все лучшие книги в лучшем виде по всем отраслям знаний». И хотя классической литературе и истории уделялось преимущественное внимание, ни одна наука не оказывалась забытой. Кстати, порядок в библиотеке Бутурлина был образцовый: универсальность не оборачивалась хаосом Филипсианы. Стремясь прежде всего к полноте подбора, Бутурлин в то же время позволял себе несомненное библиофильское щегольство: он собрал, например, столько изданий Вергилия, что они одни представляли собой достойную коллекцию; у него было до полусотни изданий Библии, в том числе редчайшие экземпляры; гордость библиотеки составляло полное собрание церковных летописей — 40 томов in folio, а также знаменитые путешествия, изданные фирмой Де Бри. С особым тщанием Дмитрий Петрович собирал издания прославленных типографщиков: Альдов, Эльзевиров, Дидо, Бодони, Баскервилля и других. Впрочем, по этой части еще богаче оказалась его вторая, флорентийская библиотека. Инкунабулов в московской коллекции было несколько сот названий. Хотя вся библиотека была на европейских языках — французском, английском, итальянском, испанском, — а русские книги, если и комплектовались, ни в один каталог не вошли,

но с традиционным для русских библиофилов энтузиазмом Бутурлин отыскивал и покупал «Россику» — все, что написано о России учеными и путешественниками других стран.

Собрать библиотеку и сосредоточить все эти книжные сокровища в Москве помогала Д. П. Бутурлину прежде всего свобода в средствах — к тому времени накопленные предками богатства еще полностью сохранялись в роде Бутурлиных, они были безвозвратно утрачены лишь в следующем поколении. К тому же на протяжении очень долгих лет на посту русского посла в Лондоне пребывал дядя Д. П. Бутурлина — С. Р. Воронцов.

Вот что писал, например, С. Р. Воронцов брату из Лондона в самый разгар революционных событий в Париже: «Посылаю Вам... брошюры о Франции, между которыми имеются ужасы насчет несчастной королевы. Будьте убеждены, что не оставлю Вас в неизвестности ни об одной работе, которая имеет отношение к теперешнему положению Франции и Европы». Собирательская деятельность С. Р. Воронцова и в еще большей степени — русского посла в Париже Г. Симолина, который систематически переправлял императрице первоклассные книжные редкости, привела к тому, что наши книгохранилища и поныне обладают неповторимой коллекцией редких изданий времен Французской революции. Позже книги привозили в Россию нелегально, поскольку Павел I вообще запретил ввоз какой бы то ни было иностранной литературы. Д. П. Бутурлин горько сетовал в письме к А. Р. Воронцову: «Указ... запретил ввоз всех французских книг на любую тему, так же как и нот со словами и без слов и все это до нового указа. Книгопродавцы в отчаянии. Мы знаем, вы и я, что это можно сказать и о любителях книг».

Содержимое книжных посылок С. Р. Воронцова попадало, конечно, прежде всего в знаменитую

коллекцию самих Воронцовых, но кое-что доставалось и Бутурлину. Главное же, с помощью лондонского дядюшки он завязал прочные связи с зарубежными книжными фирмами. Это было особенно важно в тот период потому, что, как знает уже читатель из рассказа о Филипсе, многие и многие книжные чудеса Запада оказались разнесенными по свету Французской революцией. Сам Бутурлин писал в предисловии к каталогу 1805 г.: «Смутам на Юге Север обязан стяжанием многих редкостей по всем отраслям наук. Без этого эти сокровища остались бы на месте, не достигли бы до нас. Несколько их погибло в дальнем пути, многие же, почитаемые погибшими, может быть, снова появятся далеко от своего отечества. Все в природе подвержено таким переменам, и книга имеет свою судьбу». Автор предисловия и в самом деле как в воду глядел: судьба его книг менее чем через десятилетие после публикации каталога сложилась трагически. Привезенные некогда из Франции, они либо погибли в Москве от рук французов, либо вновь оказались на Западе, и время от времени то одна, то другая из них возвращается в Россию.

Д. П. Бутурлин никогда не гнушался дублетами в своей коллекции, он долго собирался, да так и не успел полностью расстаться с ними. Своеобразно решал он и возникающую для каждого крупного коллекционера проблему, одалживать ли книги друзьям и знакомым. Об этом вспоминал П. А. Вяземский: «Дмитрий Петрович никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда по каким-либо уважениям он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгою для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято однако соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища». Правда, есть свидетельства, что

библиофильская скупость была у Бутурлина не столь уж абсолютной. Вот что писал он своему приятелю и сотоварищу по библиографическим интересам А. Н. Оленину: «Вы хорошо делаете, что приводите в порядок ваши собственные книги, потому что, действуя таким образом, вы мне возвратите мои книги». И несколько позже, уже встревоженно: «Вы меня обяжете, наконец, присылкою моих книг. Это заблудшие овцы, которым нужно возвратиться в овчарню». Между прочим, свою «овчарню» Бутурлин и не думал держать запертою. Один из путешественников (Рейнбек), побывавший у Бутурлина в Москве в начале прошлого века, отмечает: «Библиотека... несмотря на огромность зал, зимою постоянно отоплена. Довольно легко получить дозволение пользоваться ею. Здесь книги собраны не только для тщеславия; хозяин сам пользуется ими и предоставляет их другим. Заведует библиотекою г. Ронка и получает за это значительное жалованье...»

Добавим, что, подобно западноевропейским библиофилам своего времени, Бутурлин завел переплетную мастерскую, где проявляли свое искусство и приглашенные иностранцы, и переплетчики из крепостных. Переплеты, выполненные ими, отличались не показной роскошью, а, скорее, добротностью и несомненным художественным вкусом.

По отзывам современников, Бутурлин был высокообразованным человеком, способным многое почерпнуть из собираемых им книг. П. А. Вяземский, например, вспоминает: «В страсти его к книгам была отличительная черта: он сам читал их на разных языках. Книжная память его была изумительна, он помнил, на какой странице находились мало-мальски замечательные слова». Действительно, памятью русский библиофил отличался поразительной и мог бы сравниться в этом, пожалуй, даже со знаменитым флорентийским библио-

текарем Мальябекки, который, как гласит легенда, знал наизусть всю библиотеку, вверенную его попечениям. Впоследствии, оказавшись на родине Мальябекки и заканчивая свой жизненный путь, Дмитрий Петрович говаривал, что с юных лет до старости «ни разу не ложился спать без того, чтобы не приобрести какого-нибудь нового познания в течение дня». Любил он там, в Италии, повторять известные слова Петрарки: «Нельзя держать книги запертыми, словно в тюрьме, они должны непременно переходить из библиотеки в память».

Ну, а пока в допожарной Москве Дмитрий Петрович Бутурлин, облачившись в длиннополый широкий сюртук толстого белого пике, с белыми пуговицами, в строго определенный час отправлялся из своего слободского дома на Кузнецкий мост к книгопродавцу Рису и, потолковав с ним и с обычными его посетителями, знатными московскими библиофилами, о библиографических новостях, продолжал свой путь далее — к часовщику Феррие, антиквару Негри, потом на Лубянку к знаменитому впоследствии в Москве продавцу художественных и антикварных вещей Лухманову. Этот Лухманов открыл свою торговлю в конце XVIII в. с легкой руки Бутурлина, одолжившего ему небольшую сумму на покупку какой-то вещи. Закончив объезд посещением своей сестры Дивовой, он возвращался в Немецкую слободу и более уже не выезжал, занимаясь чтением, библиографией, уходом за редкостным своим садом, беседой с многочисленными гостями...

Здесь мы прервем идиллическое описание библиофильских развлечений богатого московского барина, чтобы привести одно высказывание, которое хотя и прозвучит резким диссонансом со всем предыдущим и последующим, но, надо надеяться, поможет установить действительную цену собира-

тельской деятельности крупнейшего русского библиофила последней четверти XVIII — первой четверти XIX века.

Был ли прав Батюшков?

В известной статье «Прогулка по Москве» (1811) совсем юный еще поэт Константин Николаевич Батюшков, который, впервые знакомясь под руководством П. А. Вяземского и А. И. Тургенева с древней русской столицей, побывал и у Бутурлина, писал: «...здесь пред нами огромные палаты с высокими мраморными столбами, с большим подъездом. Этот дом открыт для всякого, кто может сказать роскошному Амфитриону:

Joignez un peu votre inutilité
A ce fardeau de mon oisiveté *.

Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его все в движении: роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия. В этом человеке все страсти исчезли, его сердце, его ум и душа износились и обветшали. Самое самолюбие его оставило. Он, конечно, великий философ, если совершенное равнодушие посреди образованного общества можно назвать мудростью. Он окружен ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которых он презирает от всей души, но без них обойтись не может. Его тупоумие невероятно. Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни; зато знает по пальцам все подробности двора Людовика XIV по запискам Сен-Симона, перечтет всех любовниц его и ре-

* Прибавьте немножко вашей бесполезности к бремени моей праздности (*фр.*).

гента, одну после другой и назовет все парижские улицы. Его дом можно назвать гостиницей праздности, шума и новостей, посреди которых хозяин осужден на вечную скуку и вечное бездействие. Вот следствие роскоши и праздности в сей обширнейшей из столиц, в сем малом мире!»

Социальная точность и острота характеристики московского барства, данная в статье Батюшкова, зрелость мысли и наблюдательность юного поэта заслуживают признания. Но прав ли Батюшков в оценке именно личности Дмитрия Петровича Бутурлина, не допустил ли он здесь, как сказали бы теперь, полемического преувеличения? И самое главное — была ли собирательская деятельность тем смягчающим вину обстоятельством, которое дает Бутурлину право хотя бы на частичное оправдание в глазах потомства?

Зададимся в связи с этим и более общим вопросом: оставляет ли достойный след в культурной истории библиофил, коллекция которого по тем или иным причинам исчезла или распылилась? Ведь всякое собирательство для себя одного, лишенное «выхода» к современникам или потомкам, бесплодно. Но в том-то и дело, что пример Бутурлина, как и опыт Филипса, доказывает, что книжное собирательство само по себе, даже не связанное с какой-либо другой деятельностью библиофила, подчас оказывается важной страницей культурной истории его страны.

Имеет смысл уточнить: что за круг людей пользовался библиотекой Бутурлина, кто именно черпал из того источника мысли, знания, благородства, какой являют собой книги, и как эти люди относились к Бутурлину.

П. А. Вяземский писал о Бутурлине: «...были у него два особенные свойства, лингвистическое и топографическое. Не только знал он твердо многие европейские языки, но и различные их обла-

стные наречия... Никогда еще не выезжавши из России, он хранил в памяти планы первейших столиц и городов в Европе... Это служило часто поводом к забавным мистификациям над иностранцами, посещавшими Москву. Он закидывал их сведениями и выдавал себя за человека, объехавшего всю Европу... Каково же было изумление слушателей, когда узнавали они, что этот полиглот, что этот наблюдательный странствователь никогда не переступал русской границы».

Иностранцы восхищались библиотекой, познаниями хозяина, традиционным московским хлебосольством и разносили славу русского библиофила далеко по свету. Среди иностранных посетителей дома в Немецкой слободе были люди небезызвестные. Например, в октябре 1800 г. в Москве побывала знаменитая французская художница Е. Л. Виже-Лебрен, работавшая тогда в Петербурге. Ее мемуары живым примером подтверждают общую характеристику, данную Вяземским: «Граф Бутурлин был одним из самых выдающихся людей по своей учености и знаниям, — пишет Виже-Лебрен. — Он говорил с удивительной легкостью на многих языках, а разнообразнейшие сведения придавали его разговору чрезвычайную прелесть; но это его преимущество нисколько не мешало ему отменно держаться просто, равно как и принимать радушно всех своих гостей. У него была в Москве огромная библиотека, состоявшая из различных иностранных и самых дорогих книг; память его была такова, что если он упоминал о каком-нибудь историческом факте, то он сейчас же прибавлял, из какой именно книги он это знает и где именно, в какой зале и на какой полке стоит эта книга... Я это испытала на себе, когда он говорил со мною о Париже, о его памятниках и достопримечательностях, и даже вскричала: не может быть, чтобы вы не были в Париже!»

Что же касается москвичей, то на субботах у Бутурлина собирался весь цвет дворянской интеллигенции. Сам он в юности ездил с отцом в деревню к опальному Н. И. Новикову, а теперь к нему привозил сыновей директор Московского университета И. П. Тургенев, заезжали И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин; старших детей обучал русской словесности будущий составитель знаменитых словарей Евгений Болховитинов, и частенько наведывались братья Василий Львович Пушкин и Сергей Львович Пушкин с семейством. Сохранились воспоминания старого москвича, оставившего много ярких зарисовок московского быта, М. Н. Макарова.

«Подле самого Яузского моста, т. е. не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе в каком-то полукирпичном полудеревянном доме жил Сергей Львович Пушкин, и вот все гости, которые бывали тогда на субботах у Бутурлина, бывали и у Пушкиных. Дом Бутурлина и дом Пушкиных имели какую-то старинную связь, стену о стену, знакомство короткое...» Действительно, связи были достаточно тесные: Пушкины — дальние родственники Бутурлиных, жена Бутурлина Анна Артемьевна — ближайшая подруга Надежды Осиповны, а отец ее Артемий Иванович Воронцов — восприемник будущего поэта при крещении.

Однако у Макарова есть и еще более любопытные для нас строки, связанные с пребыванием одиннадцатилетнего Пушкина в библиотеке Бутурлина. Мемуарист свидетельствует: «В теплый майский вечер мы сидели в московском саду Бутурлина. Молодой Пушкин тут же резвился как дитя с детьми. Известный граф П. упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Артемьевна Бутурлина, необыкновенная женщина в светском обра-

щении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта может быть нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтобы он показывал нам свои стихи. Зато множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина со своими альбомами и просили, чтобы он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто N, желая поправить это замешательство, прочел детский катрен поэта и прочел по-своему, по образцу высокой речи на *о*. Александр Сергеевич успел только сказать mon Dieu! и выбежал... Я нашел его в огромной библиотеке Дмитрия Петровича, он разглядывал затылки сафьяновых переплетов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и сказал что-то о книгах. Он отвечал мне: поверите ли, этот господин так меня озадачил, что я не понимаю даже книжных затылков.

Вошел Дмитрий Петрович с детьми, чтобы показать им картинки какого-то фолианта, Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой».

Если вспомнить, что в девять лет Пушкин читал во французских переводах Плутарха и «Илиаду», а в одиннадцать хорошо знал французскую литературу, то можно будет с большой долей вероятности предположить, что с библиотекой Бутурлина он в последний предлицейский год знакомился вовсе не только по книжным затылкам. Это была первая по времени большая библиофильская коллекция в ряду тех, с которыми повстречался на своем жизненном пути великий поэт (если не считать библиотеки Василия Львовича Пушкина, которую, как признанный знаток, осматривал и высоко оценил Бутурлин).

Таким образом, культурная среда, существовавшая вокруг библиотеки Бутурлина, была средой не только богатых собирателей книг — Разумовских, Демидовых, Головкиных, Юсуповых, а также иностранных путешественников, ученых, литераторов, посещавших Москву, но и самых образованных людей эпохи — Карамзина, Дмитриева, Вяземского, Тургеневых, средой, воспитавшей Пушкина.

Каталоги, или Психология книжного собирательства

Память о культурных ценностях сохраняется поразному: писатель счастлив, когда рукопись стала книгой и ушла к читателю, живописец — когда картина выставлена для обозрения, музыкант — когда произведение его обрело слушателей. Для библиофила был и остается только один путь сохранения своих трудов — составление и публикация каталога, лучше всего с комментариями и подробными библиографическими сведениями о собранных изданиях и конкретных экземплярах. Есть, конечно, и другой, казалось бы, более надежный способ — сохранение самой коллекции в полном составе. Но о скольких книжных собраниях, частных и государственных, погибших на дорогах истории, мы можем судить по сохранившимся каталогам! Дмитрий Петрович Бутурлин едва ли не раньше всех в России понял это, во всяком случае первый каталог его библиотеки, выпущенный в Петербурге в 1794 г., был и первым русским изданием такого рода.

«Я работал над своим трудом в течение трех лет и вот теперь я вижу свое вознаграждение в *каталоге*», — писал он А. Р. Воронцову. В каталоге 1794 г. нет еще ни рубрикации, ни

оглавления, ни номеров у каждой записи, но он интересен как первая попытка подвести итог собирательским усилиям. Ценно и то, что в нем раскрыто содержание нескольких тематических сборников (конволютов), составленных самим Бутурлиным. Редчайшие сохранившиеся экземпляры каталога подписаны владельцем библиотеки и преподнесены им в дар знакомым (в Библиотеке имени В. И. Ленина хранится, например, экземпляр с дарственной надписью Бутурлина — А. Головкину). Такова уж судьба всех каталогов московской библиотеки Бутурлина — до наших дней дошли лишь экземпляры, подаренные владельцем друзьям, поскольку весь остальной тираж хранился у него в доме и погиб вместе с библиотекой.

Разумеется, Бутурлина, хорошо знакомого с достижениями европейской библиографии и каталогизации, не мог удовлетворить «глухой», лишенный пояснений, каталог 1794 г. Кроме того, и сама коллекция росла с каждым годом, поэтому в начале XIX столетия он обращается к знаменитому французскому библиографу А. Барбье с просьбой приехать в Москву, познакомиться с библиотекой и подготовить второй, аннотированный ее каталог. К этому изданию Бутурлин рассчитывал написать предисловие — сформулировать свои взгляды на собирательство книг, и подготовить библиографические справки к некоторым номерам каталога.

Все эти планы были исполнены, и в 1805 г. отредактированный Барбье каталог вышел в свет в Париже с предисловием владельца. В нем на 604 страницах описаны 4003 книги и 24 рукописи, входившие к тому времени в состав библиотеки. Дана превосходная дробная схема содержания и азбучный указатель имен авторов и заглавий анонимных сочинений.

Приведем здесь хотя бы одно библиографическое примечание Бутурлина, относящееся к № 46 по каталогу 1805 г.:

Новый завет. Параллельный текст на голландском и славянском языках. Гаага, 1717. 2 тома в одной книге.

Редкость чрезвычайная, почти неизвестная библиографам. Этот Новый завет был заказан Петром I. Будучи в Голландии, Петр поручил печатание книги типографу Ван-Дюрену, о чем свидетельствуют титульный лист и посвятительная надпись. Книга была выпущена, голландский текст был отпечатан на половине каждой страницы, другая половина оставалась пустой. В таком виде книга была перевезена из Голландии в Россию. Петр повелел немедленно набрать и отпечатать славянский текст на оставленных незаполненными частях страниц. Однако вскоре выяснилось, что и по объему и по содержанию голландский текст не соответствует славянскому. В дело вмешался святейший синод, объявивший, что реформированная церковь никак не может считаться ортодоксальной. Против этого резюме возражать было нельзя, и все экземпляры, прибывшие из Голландии, были уничтожены.

«Сомнительно, — замечает Бутурлин, — чтобы существовало более 4-х экземпляров этой книги». Прошли годы, странный Завет стал диковинкой и раритетом из раритетов. Владелец редкости с гордостью добавляет: «А мой экземпляр отменной сохранности!» В наше время все петровские издания хорошо известны, все сохранившиеся экземпляры наперечет, но тогда библиографические примечания такого рода, основанные не только на знании дела, но и на первоклассных находках, представляли исключительный интерес.

Бутурлин вообще много и глубоко занимался библиографией. Он писал А. Н. Оленину: «У меня хранятся целые стопы, написанные мною в течение 25 лет по библиографическим предметам. Это лишь докажет моим детям, что я много читал и более ничего, но в свое время такая работа забавляла меня. Мне показалось, что была тут польза и некоторая слава». Увы, почти ничего из записок Бутурлина не досталось ни его детям, ни ценителям библиографии; все это безвозвратно утрачено, но его письмо к Оленину лишний раз показывает, что серьезный собиратель книг не может не быть библиографом: формируя коллекцию, он неизбежно совершает постоянную библиографическую работу.

Разумеется, каждый сохранившийся экземпляр каталога 1805 г. любопытен для библиографов и историков. Назовем два из них. Один, купленный известным русским библиофилом Н. Смирновым и оказавшийся теперь в Библиотеке имени В. И. Ленина, принадлежал некогда самому редактору издания А. Барбье и хранит на титульном листе его собственноручную запись. Сожалея о гибели библиотеки Д. П. Бутурлина, Барбье пишет: «Очевидно, что за исключением экземпляров этого каталога, подаренных Бутурлиным своим друзьям, все издание, присланное в Москву, разделило судьбу библиотеки. Поэтому можно рассматривать этот каталог как большую редкость».

Второй экземпляр (он хранится ныне в Библиотеке иностранной литературы) представляет не меньший интерес. На оборотной стороне переплета сохранилась надпись Д. П. Бутурлина «Платону Петровичу Бекетову». П. П. Бекетов был историком, первым председателем Общества истории и древностей российских, издателем и знатоком книги. Этот экземпляр заставляет вспомнить еще об одном «библиофильском центре» допожарной

Москвы, что помещался в доме на Кузнецком мосту. Уже упоминавшийся М. Н. Макаров рассказывает: «Дом Ларивона Ивановича Воронцова достался богатой помещице Бекетовой. Тихо жила старушка, но на половине пасынка ее Платона Петровича Бекетова, мужа, известного любовью к наукам, родилась сладкая беседа с Карамзиным, с Дмитриевым; все литераторы, все артисты нашли приют у Бекетова. В одном из флигелей своего дома он завел типографию, лучшую в то время по всей Москве, в другом флигеле между чепцами и шляпками открывалась его книжная лавка — сборный путь писцов и писателей того же времени». Вот о чем напоминает этот экземпляр каталога. И еще — о нерушимой цепи времен: описание библиотеки, в которой мальчиком побывал Пушкин, сохранилось в семье близкого знакомца Радищева и одного из предков (пусть и не прямого) Александра Блока. Кстати, ведь и библиотека Бекетова погибла в пожаре 1812 года. Может быть, каталоги, как и рукописи, «не горят»?

*

Каталог 1805 г. для каждого его читателя в прошлом, да и в наши дни, интересен не только сам по себе, но и тем ярким психологическим портретом библиофила, который нарисован в предисловии к нему. В сущности, это предисловие дает основание считать Бутурлина не только одним из первых крупных русских собирателей, но и одним из первых теоретиков собирательства в России.

Бутурлин, например, достаточно четко определял мотивы собирательства:

1. Книги — инструмент для научных занятий собирателя: «Вышедши из детского возраста, я находил удовольствие в науках, и учение всегда для меня было не только отдохновением, но

истинною необходимостью. Это одно из важнейших побуждений».

2. Книги дополняют, а в иных обстоятельствах и заменяют собирателю общение с живыми людьми: «В возрасте страстей и заблуждений я постоянно находил спокойствие и истину в беседе с моими книгами. Они тогда заменяли мне друзей, наставников и руководителей».

3. В преклонном возрасте библиофил найдет в своих книгах утешение и сможет с их помощью осмыслить опыты жизни: «От них также ожидаю советов, подпор и утешений в летах, в которых живет человек одними воспоминаниями. Эти причины, думаю, довольно оправдывают мою нежную, сердечную и всегдашнюю любовь к ним».

4. Книжная коллекция дорога собирателю еще и тем, что она есть плод его собственных усилий, она никогда не становится для него мертвым складом сокровищ, а всегда являет собой развивающийся организм: «Вероятно, кроме пользы и признательности, внушивших мне страсть к моим книгам, присовокупляется еще другое побуждение, которого действие я чувствую, не углубляясь никогда в основание или корень его. Это собрание все мною составлено от первой и до последней книги, а свое дело всякому приятно».

Выпуск каталога 1805 г. Бутурлин вовсе не считал завершением своих собирательских трудов. Напротив, он справедливо видел в каталоге справочное пособие, облегчающее дальнейшую работу коллекционера: «Он послужит мне для будущих приобретений, потому что я не думаю отказаться от этого наслаждения, и только надеюсь быть еще внимательнее в выборе издания и самих оттисков: при всяком благоприятном случае, как спокойный хозяин, постараюсь увеличивать и украшать свое добро». По данным

журнала «Сын Отечества» за 1812 г., коллекция Бутурлина в момент ее гибели насчитывала 40 тысяч томов.

Думается, что приведенных выдержек из «библиофильского монолога» Бутурлина достаточно, чтобы читатели увидели благородство побуждений московского книжника и оценили его библиографические труды.

Теперь расскажем о последнем памятнике московской коллекции Бутурлина, о том каталоге, экземпляр которого неведомо где добыл и сберег Соболевский.

История неудачного каталога

В предисловии Бутурлина к каталогу 1805 г. сказано: «В моем каталоге найдутся некоторые издания XV века. Они записаны на своих местах и там остались; но я гораздо богаче по этой части, у меня находятся более 300 номеров, из коих некоторые весьма ценны. Я им сделал особую роспись с примечаниями и надеюсь ее издать». Это было написано за семь лет до гибели библиотеки и всех трудов. Но обещанный каталог инкунабулов — первый и чуть ли не единственный каталог русской частной коллекции такого рода, все же существовал. Известный немецкий библиограф Петцольд в журнале «Serapeum» впервые упоминает о каталоге изданий XV столетия из московской коллекции Д. П. Бутурлина. Впрочем, о двух «листовых книгах» с перечнем изданий XV столетия, виденных им в доме Бутурлина, рассказывает и автор «Путешествия в Россию», англичанин Кларк, но он видел рукопись каталога, а не печатное издание. В этом каталоге, хранившемся, по словам Петцольда, в публичной библиотеке Дрездена, 467 страниц (в 4-ю долю); в нем описано 379 инкунабулов.

В конце дрезденского экземпляра сделана приписка: «Этот каталог не имеет заглавия, на нем не обозначено имя владельца библиотеки и он исполнен ошибок, которые странно видеть при очевидной начитанности, высказываемой редактором во многих местах. Эту странность я сейчас объясню. Он составлен неким уроженцем Люцерна в Швейцарии, господином Р., который в продолжении нескольких лет заведовал библиотекою графа. Он изготовил для составления описи материалы, которые, будучи написаны на листках, могли затеряться и поэтому он переплел их. Бутурлин, желая сделать свою библиотеку доступною для публики и дать ей указатель своих книг, решился напечатать труд г. Р. Не просмотрев рукописи, которую считал верною копиею заглавий, он поручил отпечатать ее одному лейпцигскому типографу, который исполнил это поручение с такой точностью, что даже напечатал все описки, все ненужные повторения и не выставил заглавия... Владелец решился не распространять этот неудачный каталог, и все экземпляры, ему доставленные, остались и погибли у него. Так что если сохранилось их несколько в библиотеках и частных руках, то они розданы из типографии без ведома владельца библиотеки». Автор этой неожиданной библиографической справки, написанной в Дрездене и датированной 1 декабря 1813 г., Реми Жилле — «капитан на службе императора России» (Петр Иванович, как называли его русские), впоследствии стал профессором и ректором Ришельевского лицея в Одессе, где встречался с Пушкиным. Справка, составленная Жилле, полезна, но все-таки он не во всех своих утверждениях прав.

В 1906 г. неутомимый ловец книжных диковинок Д. В. Ульянинский купил в Москве и позднее описал в своем труде «Библиотека Ульянин-

ского» под № 2938 еще один интереснейший экземпляр этого издания. Вот какие две пояснительные надписи обнаружил Ульянинский на своем экземпляре. Одна из них написана по-немецки почерком начала XIX в. на отдельной полоске старинной синеватой бумаги, наклеенной на форзац: «Каталог инкунабулов и старинных изданий гр. Бутурлина. Все это бесценное собрание сгорело в 1812 г. в Москве, а вместе с ним и все издание этого каталога, к которому ни заглавного листа, ни предисловия еще не было отпечатано. Этот экземпляр получен от самого гр. Б., и является, может быть, единственным подносным».

Из этого следует, что некоторые экземпляры «неудачного каталога» Дмитрий Петрович все-таки подарил знатокам-книжникам.

Вторая надпись, пониже, сделанная на самом форзаце также по-немецки, гласит: «Все изложенное в предыдущих строках о высокой ценности этой книги написано рукою моего покойного тестя действительного статского советника Фридриха Ф. Аделунга, что сим и удостоверяю. 18 ноября 1851 г. Академик Петр Кеппен».

На первой странице экземпляра штемпель — «Александр Николаевич Неустроев». Итак: Бутурлин — Аделунг — Кеппен — Неустроев — Ульянинский. Вот через скольких славных ученых, библиографов, библиофилов прошла эта редчайшая книга!

Однако, как уже знает читатель, история спасшихся от огня экземпляров не вышедшей в свет книги на этом не кончается. В каталоге библиотеки Соболевского под № 421 показан еще один экземпляр каталога инкунабулов Бутурлина. Об этом каталоге Соболевский рассказывает в примечании к библиографической записи № 560 в книге Г. Н. Геннади «Литература рус-

ской библиографии» (в это издание Соболевский внес целый ряд уточнений и дополнений). Соболевский сообщает примерно те же сведения, которые приводились выше, и отмечает чрезвычайную редкость издания. В 1873 г. библиотека Соболевского была продана с аукциона в Лейпциге. Каким образом возвратился в Москву тот экземпляр каталога инкунабулов, который находится сейчас в Библиотеке иностранной литературы, кто принес его в букинистический магазин, не знаю, а хотелось бы знать: может быть, это помогло бы отыскать еще какие-нибудь книги из библиотеки Соболевского, хранящие много тайн. В этот экземпляр Соболевский вклеил лист с записью, полностью повторяющей примечание, попавшее в книгу Геннади; на переплете — книжный знак Соболевского.

К какой же категории редкостей следует отнести хранящийся в московской библиотеке каталог изданий XV века, столь небрежно подготовленный, почти полностью исчезнувший, лишенный титульного листа и заглавия и все же существующий на свете?

Горестный конец

Лето 1812 г. Бутурлины проводили, как всегда, в подмосковном Белкине. Всеобщая уверенность, что французы не будут допущены в Москву, была очень сильна, и Дмитрий Петрович не разрешил вывозить что бы то ни было из московского дома, хотя 40 подвод были для этого заранее пригнаны из костромского имения. Это решение стоило Бутурлину детища всей его жизни — книжного собрания и миллионных потерь.

Уже 4—5 сентября Немецкая слобода полыхала огнем. В собранных П. И. Щукиным бума-

гах 1812 г. есть запись: «В числе ужасных обстоятельств сего пожара наипаче поражало несчастное положение жителей Немецкой слободы. Будучи из места в место преследуемы пламенем, они были принуждены укрыться в кладбищи, состоящи близ военного госпиталя. Воззрение на сих несчастных среди могил и при свете пламени представляло их наблюдателю сего великого злоключения столькими страшилищами, вышедшими из своих гробов! Мюрат, столь нечувствительный на бранных полях, был тронут жалобным положением сим и велел сделать им некоторые вспоможения». Эти-то дни и следует считать днями гибели бесценной библиотеки Бутурлина со всеми рукописями (среди которых, как считается, была подлинная переписка Генриха IV со своим министром Сюлли), инкунабулами, тиражами каталогов, библиографическими записями собирателя. Уже в номере 2 (ч. 1) журнала «Сын отечества» за 1812 г. была помещена заметка, начинавшаяся так: «Здесь получено достоверное известие, что прекрасная библиотека... Бутурлина в Москве сожжена французами... Библиотека сия была украшением Москвы и известна всем любителям словесности... Не один сей памятник просвещения истреблен дерзкою рукою варваров XIX века!» Действительно, не одна только библиотека Бутурлина, но и замечательные собрания К. Ф. Калайдовича, Демидовых, Мусина-Пушкина, Василия Львовича Пушкина погибли от огня. Толстыми фолиантами из коллекции сенатора Баузе мостили утопавшие в грязи улицы, книги рубили в куски, грабили... Да что говорить, если Стендаль в одном из своих писем из России замечает: «Прежде чем уйти из дома, я присвоил себе том Вольтера, тот, который называется „Фацеции"». Впрочем, не возьми он тогда эту книгу, она, возможно, погибла бы в пламени.

Несмотря на все это, Бутурлину совершенно чужда была позиция, высказанная в «Русском вестнике» Сергеем Глинкою: «Все мои французские книги разграблены французами, о чем не жалею. Полюбя искренно свое отечественное, обойдемся без книг иноплеменных». Как увидим, Бутурлин вскоре после обрушившегося на него удара уже в новых условиях занялся собиранием книг, в том числе и французских...

А тогда, в 1812 г., узнав о гибели библиотеки, Дмитрий Петрович, как вспоминает его сын, сказал кратко: «Бог дал, бог и взял», хотя в письме к С. Р. Воронцову высказался подробнее: «Уничтожение моей библиотеки лишило меня всех моих привычек, а приобретать новые в 50 лет уже невозможно. Однако неизбежно появятся бессвязность и пустота в моем внутреннем существовании и в мыслях, что вынуждает меня заполнить пустоту избытком моральной силы. Но с другой стороны, есть своего рода компенсация в чувстве достоинства и в примере, который я должен показать моим детям».

Зиму Бутурлины провели в Петербурге, где Дмитрий Петрович, лишенный своих книг, деятельно помогал А. Н. Оленину готовить к открытию Публичную библиотеку. В переписке Бутурлина с Олениным сохранилась любопытная сатира на тему о фондах и штатах будущей публичной библиотеки. Знаменитый библиофил, видно, не был лишен и литературного дара (кстати, он «грешил» французскими стихами). Жена Бутурлина с детьми побывала на пепелище московского дома, где в грудах развалин и мусора подбирала осколки любимых севрских чашек. Между прочим, в доме оставалось несколько пудов столового серебра, однако никаких темных слитков на пепелище не нашлось. Это делает достоверными слухи о том, что отнюдь

не все сгорело и что книги из библиотеки Бутурлина попадались на брошенных французскими войсками бивуаках и в отбитых русской армией неприятельских обозах. Это подтверждает и такой авторитетный свидетель, как дальний родственник Бутурлиных, библиофил, знакомец Пушкина А. С. Норов. Он участвовал в войне 1812 г., потерял ногу при Бородине и, находясь на излечении в Москве, видел книги с фамильным гербом Бутурлиных на лотках уличных торговцев. Так что какие-то остатки московских книжных сокровищ Бутурлина существуют и время от времени могут обнаруживаться.

На этом кончается рассказ о первой библиотеке Дмитрия Петровича Бутурлина. И завершить его можно словами знаменитого русского собирателя позднейших времен А. Бахрушина: «...раз человек собирает что-либо, влагает в свое собрание душу свою, то сохрани бог, если все это погибнет от огня — никакие деньги... не пополнят того, что занимало сердце человека, — не пополнят его осиротевшую душу, не воротят его собрания! И начни человек собирать те же книги, ту же бронзу, картины, монеты и т. д. — он того же не соберет, и будет у него собрание, пожалуй, со временем и не хуже первого, но первого, на котором он учился, на которое тратил лучшие годы своей жизни, с которым связано столько воспоминаний... того собрания уже не будет и никакими деньгами его не воротишь...»

И снова начало...

В августе 1817 г. две кареты, шестиместная и четырехместная, бричка с кухонною посудою и несколько подвод тронулись в дальний путь из Петербурга во Флоренцию. В экипажах разместилось все семейство Бутурлиных, десяток слуг

и столько же живших у Бутурлиных иностранцев. Лишь в начале ноября добрались до благоухающей в это время года Флоренции. Д. П. Бутурлину уже не довелось вернуться в Россию, последние 12 лет жизни он провел в Италии. Обосновавшись во флорентийском палаццо Гуичардини, неподалеку от дворца Питти — резиденции тосканских герцогов, он ревностно принялся собирать новую книжную коллекцию. В 1824 г. Бутурлины купили старинный четырехэтажный дворец Никколини, и новая библиотека обрела просторное пристанище.

Почти ежедневно посещал Бутурлин с детьми книжный магазин Ланди, где вступал в длительные беседы с хозяином, и редко уходил без большого заказа. Не раз совершал он «книжные экспедиции» в Вилламброзианский монастырь. Во Флоренции не было тогда ни запрета, ни пошлины на ввоз иностранной типографской продукции. Да и многие разорившиеся итальянские аристократы рады были задешево расстаться с фамильными библиотеками. Все это превращало Тоскану 20-х годов прошлого века в подлинный библиофильский рай.

М. Д. Бутурлин вспоминал: «Немало собрал мой отец и рукописей, из которых особенно отличалась коллекция церковно-латинских служебников, писанных на пергамене до изобретения книгопечатания, с ярко-колерованными миниатюрными с золотом рисунками, орнаментами и арабесками, составляющими рамку на каждой странице. Между флорентийскими нашими рукописями были и палимпсесты, т. е. пергаменные рукописи с вытравленным или выскобленным на них первоначальным текстом...» Долго, но тщетно искал Бутурлин две редкие книги, отсутствовавшие и в его московской коллекции: первое издание Данте, напечатанное форматом in folio в конце XV в.,

и знаменитую славянскую Библию Ивана Федорова, вышедшую в Остроге в 1581 г.

Однако случались у Дмитрия Петровича в Италии и отличные находки. Так, посчастливилось ему приобрести старинную рукопись «Божественной комедии» в массивном переплете, на котором был отчеканен золотой герб семейства Маласпина. В самом тексте поэмы имелись многочисленные поправки, сделанные быстрым, легким почерком. Семейство Маласпина некогда покровительствовало изгнанному из пределов отечества великому флорентийскому поэту, некоторые произведения Данте посвящены членам рода Маласпина. Знатоки полагали, что пометы в рукописи, приобретенной Бутурлиным, принадлежат самому Данте.

Как вспоминал М. Д. Бутурлин, «из Венеции в Пизу в 1819 или 1820 году переселился лорд Байрон. Нрава нелюдимого, он избегал шумной Флоренции... Не любил он встречаться со своими соотечественниками и жил в малолюдной и скучной Пизе в кругу трех-четырех интимных товарищей». Д. П. Бутурлин долго мечтал добыть автограф Байрона, а когда ему это удалось, отправил автограф в Россию, известному коллекционеру Г. В. Орлову с сопроводительным письмом: «Вот материалы для вашего собрания автографов. Падайте ниц и говорите мне: аллах! аллах! за автограф Байрона. Мне пришлось устроить настоящий заговор, чтобы зацепить этот автограф». На обороте самого письма Байрона есть пояснение Бутурлина: «Автографическая записка Байрона, единственная, которую он, по собственному признанию, написал по-итальянски. Я получил ее непосредственно от самого адресата». И хотя на самом деле это далеко не единственное письмо, написанное Байроном по-итальянски, все же забота Бутурлина о пополнении русских коллекций заслуживает доброй памяти.

А всего во флорентийской библиотеке Бутурлина было 33 тысячи книг и рукописей — по данным каталога, выпущенного во Флоренции в 1831 г. сыновьями «с единственной целью, — как они пишут в предисловии, — возвести памятник отцу — библиофилу мудрому и мужественному».

В каталог 1831 г. вошли 244 рукописи (в том числе автограф Торквато Тассо, прижизненные списки творений Петрарки и Боккаччо); 642 инкунабула; 390 альдин; 368 номеров коллекции «Бодониана»; 1868 — итальянских классиков; 568 книг по отделу теологии и истории религий; 974 — науки и искусств; 1217 — беллетристики; 1260 — истории (в самой широкой трактовке этого понятия).

Двенадцать лет работал Бутурлин над своей новой коллекцией. День за днем он проводил в кабинете вместе с переплетчиками и библиотекарем, шлифуя добытые сокровища. Весна 1829 г. была его последней весной. Д. П. Бутурлин, и прежде страдавший астмой (это было одной из причин переселения в Италию), тяжело заболел и, хотя прожил до осени, библиотекой больше не занимался.

Похоронен он в Ливорно, в православной церкви, где покоились и многие другие русские. Во время второй мировой войны в церковь попала бомба.

Дело его жизни — библиотека — оставалась нераспыленной еще десять лет. Все попытки сыновей продать ее в полном составе успехом не увенчались. Собиралась купить библиотеку жившая в Италии княгиня З. А. Волконская. Но и это не получилось. Тогда в Париже фирмой Сильвестр был устроен аукцион, на котором начиная с 25 ноября 1839 г. 30 партиями в течение трех лет распродавалась флорентийская библиотека русского собирателя. К этому аукциону был выпущен трехтомный каталог (1839—1841), в котором обозна-

чена цена каждого номера. Это был один из наиболее долгих и замечательных книжных аукционов в Европе. В числе самых дорогостоящих книг и рукописей были упомянутая выше рукопись «Божественной комедии» — 1065 франков; флорентийское издание Гомера (1488) — 1000 франков; Библия, изданная на польском языке в Бресте в 1563 г., — 627 франков; Вергилий, выпущенный в Модене в 1475 г., — 500 франков; венецианское издание Петрарки (1473) — 392 франка; латинская рукопись Библии начала XIV в. (экземпляр изумительной сохранности) — 320 франков; собрание латинских поэтов с гравюрами (1728) — 315 франков и т. д. Всего было выручено около 300 тыс. франков, сумма, как считает М. Д. Бутурлин, вдвое или втрое меньше той, которую израсходовал собиратель.

Прочитав опубликованный в 1867 г. в журнале «Русский архив» очерк М. Д. Бутурлина об отце, тонкий и «беспощадный» знаток библиографии С. А. Соболевский не согласился с заключенной в нем сравнительной оценкой московской и флорентийской коллекций. В коротком возражении он писал: «Не могу разделить мнение гр. М. Д. Бутурлина о сравнительном достоинстве библиотек его отца. Первая была *составлена* со тщанием из книг, разнесенных французскою революцией; вторая *собрана,* пользуясь без разбора всяким случаем. От этого проданные с аукциона книги не имеют особенного уважения между библиофилами, и заметка в каталоге «Экземпляр Д. П. Бутурлина» не есть бесспорная рекомендация в торговле. Многие экземпляры были худо сбережены, худо переплетены, обрезаны, неполны, замараны, исписаны неизвестными и так далее. Поэтому не думаю, чтобы это собрание стоило владельцу (как пишет его сын) вдвое или втрое вырученной цены. Во всем этом со мной согласен Брюне».

Что ж, авторитет Соболевского в библиофиль-

ских вопросах, да еще подкрепленный мнением знаменитого французского библиографа, непререкаем. Но эта объективная оценка не меняет отношения к собирательской деятельности Бутурлина, которого советский историк культуры академик М. П. Алексеев считал «просвещенным библиофилом и настоящим ценителем, который подбирал себе книги со вкусом и хорошим пониманием их действительной ценности».

На аукционе в Париже в феврале 1841 г. побывал бессменный ходатай по русским книжным делам в Европе Александр Иванович Тургенев. Вот что писал он в Петербург К. С. Сербиновичу: «Здесь продавали библиотеку Бутурлина, я перекупил два редких фолианта издания Альдов, весьма хорошо сохраненные! Origenis Homiliae (1503) и Choriolani in S. Augustini (1481). Обе книги редкие и примечательные. Я желал сохранить для России памятник ее библиомана, собравшего две славные библиотеки...»

Эта последняя весточка о библиотеке Д. П. Бутурлина любопытна и употреблением термина «библиоман» в том старинном смысле, о котором говорилось в начале книги. После посещения аукционного зала Тургеневым состоялись еще десять распродаж, и все было кончено.

Памятником обеих библиотек остались их каталоги. Но задача того коллекционера, который задумал бы собрать у себя все каталоги Бутурлина, оказалась бы практически невыполнимой: ведь ему пришлось бы к весьма редким петербургскому (1794) и парижскому (1805) каталогам присоединить не только «неудачный» каталог инкунабулов, отпечатанный в Лейпциге, но и флорентийский 1831 г., и парижский трехтомный аукционный каталог 1839—1841 гг. Мало того, чтобы коллекция стала полной, нужно прибавить к ней «Алфавитный список изданий XV века, входивших

в библиотеку Д. П. Бутурлина», выпущенный во Флоренции в 1830 г. Один из двух экземпляров этого списка, отпечатанных на пергамене, хранится в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Однако не только библиофилы, но и ни одно государственное хранилище в мире не обладает всеми шестью каталогами обеих библиотек.

Родственник из Флоренции

Мы оставили одиннадцатилетнего Александра Пушкина в московской библиотеке Бутурлина в мае 1811 г. Через несколько месяцев дядя Василий Львович Пушкин отвез его в царскосельский Лицей. В июне 1817 г. Пушкин, окончив Лицей, приехал в Петербург, где жили его родители, домами дружившие с Бутурлиными. Но уже в первых числах июля поэт выехал в Михайловское, где пробыл до конца августа. Он воротился в Петербург всего через несколько дней после отъезда Бутурлиных за границу: в гостиных, где бывал поэт, еще не утихли разговоры о многолюдных проводах этого семейства...

В мае 1824 г. Д. П. Бутурлин, соскучившийся по России, не желавший терять связь с отечеством, решился отправить 17-летнего младшего сына в Одессу на службу к родственнику М. С. Воронцову. Юношу сопровождал гувернер, англичанин Слоан. 25 июля 1824 г. В. Ф. Вяземская писала мужу из Одессы: «Мое мужское общество, которое ограничивалось Пушкиным, увеличилось за счет маленького Бутурлина, скучного, каким может быть молодой человек в 17 лет, если у него мало ума и невероятная живость».

М. Д. Бутурлин потом вспоминал: «Проживал тогда в Одессе под присмотром М. С. Воронцова Александр Сергеевич Пушкин, дальний наш по

женскому колену родственник; по доброму старому обычаю, мы с первого дня знакомства стали называть друг друга cousin. Нередко встречаясь с ним в обществе и в театре... я желал сблизиться с ним; но так как я не вышел еще окончательно из-под контроля моего воспитателя, то и не мог вполне удовлетворить этому желанию. Александр Сергеевич слыл вольнодумцем и чуть ли почти не атеистом, и мне было дано заранее предостережение о нем из Флоренции, как об опасном человеке. Он, видно, это знал или угадал и раз, подходя с улицы к моему отпертому окну... сказал: «Не правда ли, cousin, что твои родители запретили тебе подружиться со мной?» Я ему признался в этом, и с тех пор он перестал навещать меня». (Между прочим, как-то встретив Бутурлина в театре, Пушкин пошутил: «Мой Онегин — это вы, cousin».)

Пушкин, разумеется, хотел уберечь юношу от ненужных раздоров с родителями, от упреков в непослушании и потому отдалился. Но с какой жадностью слушал он «язык Италии златой», рассказы Бутурлина о Флоренции, о памятнике Данте, украшенном изображением орла («душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел»). Ведь уже тогда мечтал Пушкин о побеге, мечтал взглянуть

На рай полуденной природы,
На блеск небес, на ясны воды,
На чудеса немых искусств
В стесненье вдохновенных чувств.

Конечно, «маленький Бутурлин», увезенный из России в Италию десятилетним, не столь уж многое мог поведать, но все же он, несомненно, передал Пушкину и Вяземской атмосферу флорентийского житья Бутурлиных, не мог промолчать и о книгах.

Но не только Бутурлин своими рассказами

связывал Пушкина с Флоренцией, не только от него мог узнать Пушкин о русской колонии в Тоскане, о новой библиотеке Д. П. Бутурлина. В год приезда Бутурлина во Флоренцию поверенным в делах России при герцоге Тосканском был А. З. Хитрово. Жил он во Флоренции вместе с женой Елизаветой Михайловной и ее дочерьми от первого брака Екатериной и Дарьей (Долли). Это семейство после смерти Хитрово наезжало, а потом и совсем переселилось в Россию. Пушкин стал их ближайшим другом, а Италия и Флоренция — темой постоянных бесед.

Во Флоренции в 1820 г. умер и похоронен лицейский товарищ Пушкина Н. А. Корсаков, тот самый «кудрявый... певец... с гитарой сладкогласной», о котором вспоминал поэт.

Гораздо позже, в 1831 г., из Флоренции в Петербург возвратился близкий знакомый Бутурлиных, шесть лет проживший в Италии Н. М. Смирнов. Пушкин как-то завтракал у него, осматривал коллекции редкостей искусства и библиотеку, вывезенные из Италии. Они много говорили о Байроне, о Флоренции, об общих знакомых, о книгах. Пушкин был шафером на свадьбе Н. М. Смирнова (которого он называл «боярин-итальянец») с А. О. Россет.

Наконец, сведения о флорентийской жизни и библиотеке Бутурлина могли сообщить Пушкину его знакомые (впоследствии известные библиофилы) А. Д. Чертков и А. С. Норов. Оба они были в палаццо Никколини у Бутурлина, восхищались библиотекой, рассказывали о России.

*

19 ноября 1876 г. в Москве, в городской больнице для бедняков умер Михаил Дмитриевич Бутурлин. Он прожил бурную и, в общем-то, безалаберную жизнь, давно разорился, потерял горячо

любимую дочь и существовал в последние годы на пособие, аккуратно высылавшееся из Англии наследниками того самого гувернера Слоана, который сопутствовал ему в 1824 г. в Одессе. М. Д. Бутурлин не раз еще бывал в Италии, но на похороны отца не попал, так как участвовал в турецкой военной кампании.

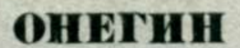
Незадолго до смерти он вспоминал: «Во время даже разгульной моей жизни я следил (хотя отрывочно) за отечественными литературными новинками, из коих немало покупал, и если бы не добрые люди, зачитывавшие иногда с моего ведома, а иногда без спросу, мои книги, у меня была бы теперь порядочная библиотека... Замечательно, между прочим, что хранится у меня по сие время итальянская книжка прошлого столетия, заключающая в себе описание Венеции, наполненное хорошими гравюрами. Мне было от роду двенадцать или тринадцать лет, когда я взял ее на полке, куда откладывались бракованные книги флорентийской библиотеки моего отца; не помню, чтобы я с тех пор особенно заботился о ней или даже обращал на нее особое внимание, а между тем эта книжка с верностью и преданностью легавой собаки, неотлучно, без моего ведома следует за мною, тогда как столь многие из ее подруг, за которыми я имел особое попечение, исчезли...»

После М. Д. Бутурлина остались несколько работ, посвященных русско-итальянским связям, и обширные, оборванные на полуслове «Записки», которые через двадцать лет после смерти автора опубликовал в журнале «Русский архив» П. И. Бартенев. М. Д. Бутурлину нелегко было писать по-русски, но с какой настойчивостью преодолевал он эту трудность, какой выразительности, простоты, ясности слога добился! В этих записках такое множество метких характеристик, тонких замечаний, ярких бытовых картин, что трудно понять, почему

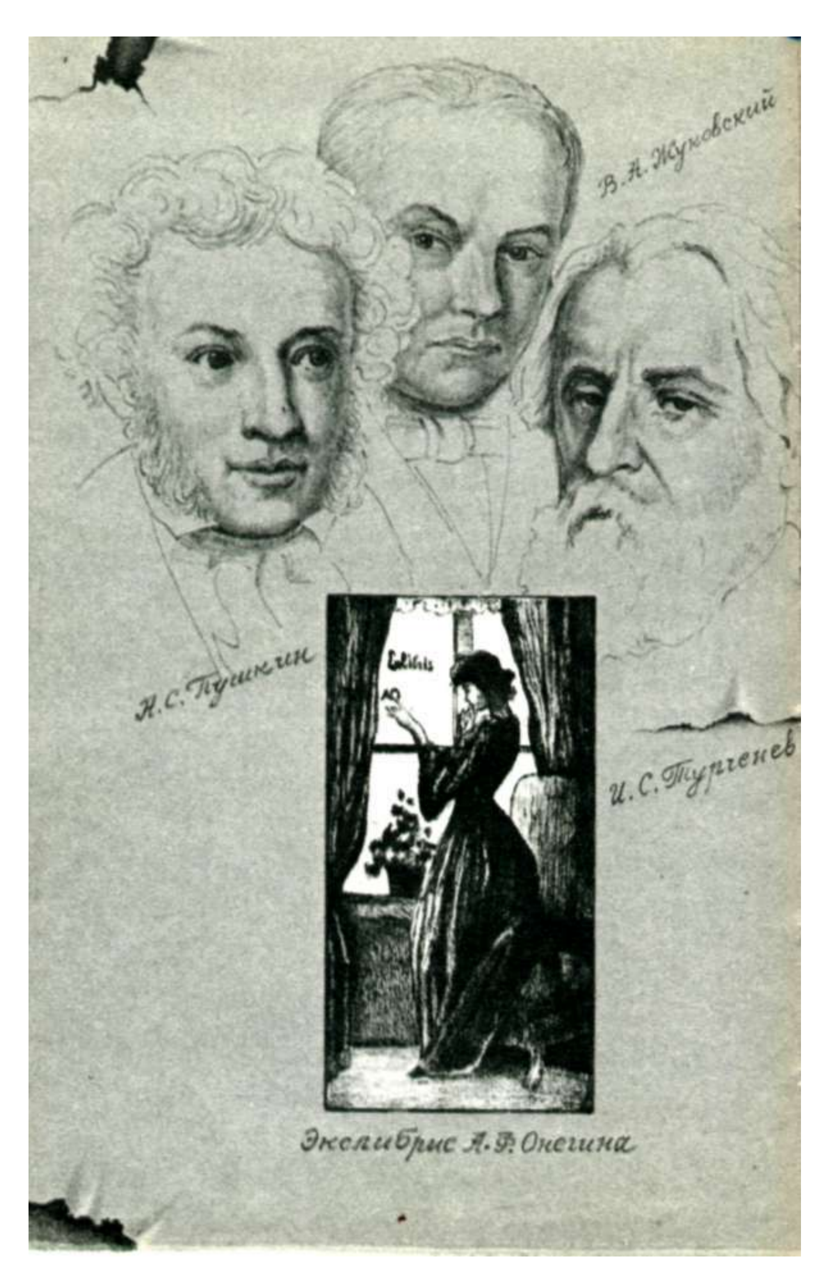
они так и не выходили никогда отдельной книгой. Но, конечно же, они послужили историческим источником для многих работ, в том числе, в немалой степени, и для этого очерка.

Сама жизнь и усилия историков дописали эпилог к рассказу о Дмитрии Петровиче Бутурлине. Журналисты и ученые И. Бочаров и Ю. Глушакова, долго работавшие в Италии, предприняли поиск реликвий русской культуры, хранящихся в частных итальянских коллекциях. Побывали они и у потомков Бутурлиных (по линии одной из дочерей). Гостям показали изумительные портреты Дмитрия Петровича, Анны Артемьевны и их детей, в том числе работы Александра Брюллова. Прошло более полутора веков со дня смерти русского библиофила, но память о нем, запечатленная не только в портретных миниатюрах, но и в книгах двух его библиотек, разлетевшихся по свету, жива.

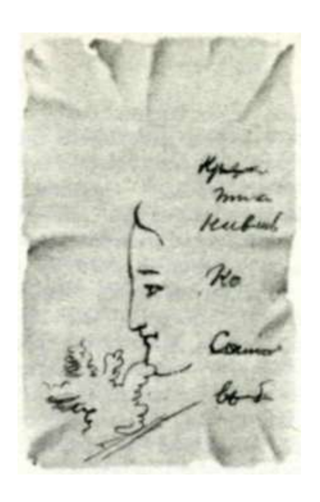




жил
в Париже



Экслибрис А.Ф. Онегина



Бывают загадочные и странные людские судьбы, так и не раскрытые ни современниками, ни потомками. Сначала у историков все как-то руки не доходят, а потом уж и свидетелей не найдешь. К счастью, архив Онегина существует и надежно сохраняется в Пушкинском Доме в Ленинграде. И когда-нибудь появится у парижского русского коллекционера свой биограф, который воссоздаст картину его жизни и трудов. Однако так ли они значительны? Нуждаются ли в подробном рассказе? По нашему убеждению, безусловно: как страница истории книжного собирательства, входящей естественной частью в историю культуры.

Печатных каталогов разных частей коллекции Онегина по меньшей мере шесть. Выпущены они в 1909, 1922, 1923, 1926, 1958 и 1981 гг. * Пер-

*

Имеются в виду издания: Пушкин и его современники. Вып. 12 (описание Б. Л. Модзалевского). Спб., 1909; Неизданный Пушкин. Пг., 1922; Неизданный Пушкин. 2-е изд. Пг., 1923; Гофман М. Л. Музей Онегина в Париже. Париж, 1926; Описание материалов Пушкинского Дома. Т. 4. И. С. Тургенев. Л., 1958; Библиотека Жуковского. Т. 2. Описание В. В. Лобанова. Томск, 1981.

вые три вышли при жизни собирателя, но если к каталогу 1909 г. он еще имел некоторое отношение, то к двум последующим — ни малейшего. Более того — был весьма удивлен, увидев их в парижском книжном магазине.

Сама жизнь его, по-своему отразившая эпоху, — это целый роман (в малой степени — детективный, в большей — психологический). Впрочем, Александр Федорович Онегин однажды уже послужил прототипом главного героя известного русского романа. Повторим вслед за исследователями творчества И. С. Тургенева, что совпадают элементы биографии и черты характера, но не политические взгляды Александра Онегина и Алексея Нежданова, главного героя тургеневской «Нови».

У Онегина не было ни особняков и отцовской ренты, как у Филипса, ни наследственных капиталов, как у Бутурлина, ни патологического честолюбия и корыстных помыслов, как у Уайза, а была только болезненная и горькая любовь к России — отвергнувшей его (так, по крайней мере, самому ему казалось) родине и к Пушкину — ее олицетворению. Большую часть жизни — свыше 40 лет — Онегин посвятил собиранию своей коллекции, «музейчика», как он ласково ее называл, заключая это слово в кавычки. Жизнь его сложилась так, что ему удалось собрать в трех скромных комнатках на улице Мариньян, 25, близ Елисейских полей, в Париже такие значительные ценности русской культуры, которыми вряд ли могла похвастаться какая-либо еще частная книжная, рукописная или музейная коллекция — во всяком случае, посвященная Пушкину.

Читатель убедился уже, что отношение к библиофилам и коллекционерам обычно бывает двойственным, противоречивым. Видимо, противоречие таится уже в самой их деятельности: накопление для себя одного культурных ценностей, которые,

собранные вместе, послужат многим людям (или — не послужат, как это бывало в истории!). А. Ф. Онегина осуждали многие. Приведем две, наиболее авторитетные оценки. Одна принадлежит писателю и пушкинисту В. В. Вересаеву (правда, он вкладывает ее в уста другому пушкинисту — М. А. Цявловскому, но в какой мере объективна такая переадресовка, трудно теперь сказать) *. Итак, версия Вересаева — Цявловского (?): «Этот Онегин-Отто был владельцем музея со многими неопубликованными рукописями Пушкина, полученными им от наследников Жуковского. К рукописям он никого не подпускал и опубликовывать их отказывался... Отвратительный тип коллекционера-скряги, собирателя для эгоистического самоуслаждения, „собака на сене"» **.

Вторая осуждающая оценка, пусть не столь категоричная, но не менее неприятная для Онегина принадлежит В. Я. Брюсову (1922). Приведем ее полностью: «Как бы то ни было, Александр Федорович Онегин владел богатым собранием пушкинских рукописей. Заезжавшим в Париж пушкинистам, мне в том числе, он их охотно показывал... но только издали и каждый листок лишь на одно мгновенье, чтобы нельзя было прочитать ни слова (а то запомнят наизусть, да и напечатают!). Точно так же в печати из своих сокровищ А. Ф. Онегин оглашал лишь немногое, ровно настолько, чтобы возбудить интерес к своему собранию, но не обесценить его. Бóльшую часть хранившихся у него рукописей Пушкина Александр Федорович читал исключительно сам, а массе рус-

*
Рассказ В. В. Вересаева о М. А. Цявловском «Священнослужитель божества» см. в сб. «России первая любовь (Повести и рассказы о Пушкине)». М., 1983.

* *
Не думаю, что Вересаев нарочно допустил здесь каламбур, хотя Онегин в самом деле жил на *Сене,* в Париже.

ских читателей как бы говорил: «Потерпите, когда-нибудь дойдет очередь и до вас». И целое поколение терпело и вымерло, а Александр Федорович, дни коего продлил господь, все продолжал себя услаждать пушкинскими страницами, не доступными никому больше из русских читателей. И было это вполне естественно: А. Ф. Онегин был человек не богатый — его единственное достояние заключалось в его музее, и надо было не ронять ему цены, чтобы в свое время продать его как можно дороже и тем обеспечить себе приличную ренту на остаток дней. Над кем не властно «человеческое, слишком человеческое»! И А. Ф. Онегину, конечно, важнее были его завтраки в Кафе де Пари, где я имел честь познакомиться с А. Ф., нежели интересы русских читателей. Особенно негодовать на А. Ф. Онегина не приходится». Не знаем, удастся ли нам доказать, насколько несправедливой и односторонней была эта характеристика, но, по крайней мере, наша обязанность — здесь же уравновесить слова В. Я. Брюсова противоположными по смыслу.

Их много — иных суждений. Выберем несколько. У Онегина в «музейчике» была памятная книга-календарь «Дума за думой», в которой оставляли свои автографы посетители квартиры. В 1907 г. Алексей Николаевич Толстой записал в ней: «Показывая, Вы сказали: „Да, вот какая была Россия". Мне же показалось — „вот какое начало у нашей великой России"». Онегин уже тогда видел только прошедшее, обломком которого себя ощущал; Толстой смотрел в будущее. Вот еще важное свидетельство — крупнейшего пушкиниста П. Е. Щеголева, отчасти опровергающее Брюсова. Посылая свою книгу о Пушкине, Щеголев обращался к Онегину в 1912 г.: «Немало страниц этой книги я мог написать только благодаря бумагам и документам Вашего собрания. Позвольте поблагода-

рить Вас за него». В 1907 г. другой видный литературовед, П. Н. Сакулин, писал Онегину: «Приношу Вам самую искреннюю благодарность за Ваше любезное письмо и авторитетные замечания на мою скромную работу о М. А. Протасовой» (племяннице и нежнейшей привязанности В. А. Жуковского).

В книге «Дума за думой» есть и поэтические отклики. Поэт Вячеслав Иванов почувствовал в квартире на ул. Мариньян присутствие самого Пушкина:

...И верь: не раз в сию обитель
Он сам таинственно слетал,
С кем ты, поклонник, ты, хранитель,
Себя на вечность сочетал.

И чует гость благоговейный,
Как будто здесь едва затих
Последний отзвук сладковейный,
Последний недопетый стих...

Русские, побывавшие в разные годы в Париже у Онегина, ощущали, как много значит для самого хозяина и для тех наших соотечественников, которые волею судеб надолго оказались на чужбине, этот русский уголок в столице Франции. Но, может быть, не менее важно, что присутствие самой России на улице Мариньян чувствовали и некоторые французы. Кто-кто, а Анатоль Франс знал толк в коллекциях. Осмотрев «музейчик», он записал в альбоме Александра Федоровича: «Выражаю мое восхищение и мою признательность русской мысли, явившей миру истинную простоту, безграничную самоотверженность и глубокую доброту». Вот на какие обобщения наводил осмотр онегинских коллекций!

Кто только не восхищался музеем, кто только не благодарил его создателя и хранителя. В 1907 г. Онегин получил, например, письмо от поэта и пушкиниста, чьи стихи и пушкиноведческие труды

глубоко уважал. Тот писал: «Многоуважаемый Александр Федорович!.. Я очень тронут Вашим вниманием к моей книге и очень рад Вашим дружеским словам о моих работах». Под письмом стояла подпись... «Валерий Брюсов». А его книга — «Лицейские стихи Пушкина» (1907).

Завершим наш «противоречивый» обзор словами блестящего знатока русской культуры и ее интернациональных связей академика М. П. Алексеева, под которыми хотелось бы подписаться: «Взамен родины, взамен семьи, которой у него не было, он создал себе в самом центре Парижа свой особый мир, мир русской литературы во главе с Пушкиным, на служение которому ушла большая часть его жизни».

Жизнеописание Александра Федоровича Онегина — дело будущего. Здесь же, в кратком очерке, мы ставим скромную цель — отметить значение его труда и соединить вместе некоторые сведения о нем, разбросанные по старым журналам и мемуарным книгам *.

*

У всех историй есть предыстория. Александр Федорович родился в 1845 г. Был он подкидыш. Любил шутить, будто нашли его под памятником Пушкину. Это была именно шутка, и напрасно некоторые последующие авторы приняли ее всерьез, поскольку в 1845 г. памятников великому поэту еще не было. Впервые ходатайство о сооружении памятника Пушкину было подано только что вступившему на престол императору Александру II в 1855 г.

Тайна появления на свет будущего библиофила не раскрыта по сей день, и те несколько

* Привлеченные автором архивные материалы в каждом случае оговариваются в подстрочных примечаниях.

строк, которые мы посвящаем этому пункту, есть лишь повторение предположений с некоторыми (также предположительными) дополнениями. Кажется, младенца и в самом деле нашли в Александровском парке Царского Села. Правдоподобная легенда гласит, что был он сыном кого-то из династии Романовых, скорее всего наследника престола, будущего императора Александра II. Поскольку младенец был в буквальном смысле выброшен за порог, «высокое родство» на личности его не сказалось. А вот печать незаконнорожденности, отверженности — осталась неизгладимой. Он вырос человеком раздражительным, болезненно самолюбивым, «криво и неловко поставленным», как говорил И. С. Тургенев.

Как помнит читатель, воспитателем и учителем наследника престола долгое время был поэт Василий Андреевич Жуковский, тщетно пытавшийся внушить своему питомцу идеалы добра и справедливости. И хотя в 40-х годах Жуковский не имел уже никакого влияния при дворе, но все же в 1845 г. Александр удостоил поэта особой милости: стал крестным отцом его сына Павла Васильевича. Несомненно, Жуковский, а потом и его семья знали тайну происхождения подкинутого в том же 1845 году младенца. Во всяком случае, будущий художник и архитектор Павел Жуковский и будущий коллекционер Александр Онегин с гимназических лет стали ближайшими друзьями и даже, можно сказать, названными братьями. Правда, Онегиным он стал позже, под влиянием безмерной любви к Пушкину. А в 1840—1850-х гг. назывался Александром Отто — по фамилии своей крестной матери и воспитательницы. Кто была его настоящая мать? Этого мы не знаем, но решимся привести отрывок из «Нови», где говорится о происхождении Нежданова. Конечно, герои литературных произведений не равнозначны прототипам.

В данном случае это следует и из самого текста. Но все же ассоциация Онегин — Нежданов подсказана самим Тургеневым в первоначальных набросках к роману; а потом уж литературоведы отыскали прямые повторения в романе и в письмах И. С. Тургенева к А. Ф. Отто-Онегину. «Отец никак его не ждал, — говорит единокровный брат тургеневского героя, — оттого он и Неждановым его прозвал». А вот более пространное разъяснение: «Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя Г., богача, генерал-адъютанта и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов». Может быть, здесь и разгадка: матери Онегин знать не мог, а отец знать не хотел его. Еще из «Нови» о Нежданове: «...все в нем изобличало породу: маленькие уши, руки, ноги, несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос, слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен; фальшивое положение, в которое он был поставлен в детстве, развило в нем обидчивость и раздражительность; но прирожденное великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, он силился быть циничным и грубым и на словах; идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий в одно и то же время, он, как позорного порока, стыдился и этой робости своей и своего целомудрия, и считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежное и чуждался людей; легко озлоблялся — и никогда не помнил зла». Слишком мало у нас прямых характеристик А. Ф. Онегина, чтобы пренебречь этой, пусть и заведомо не буквальной.

Александр Федорович закончил гимназию в Петербурге (как сказано, вместе с П. В. Жуковским), потом университет. Путешествовал по России, в частности верхом объехал Крым *. Натура деятельная и ранимая, он искал пути сближения с народом, служения ему. Однако в условиях тогдашней России отыскать такие пути было непросто. В 1869 г. он впервые покинул Россию, побывал в Швейцарии, Германии (где познакомился с Тургеневым), Франции. Потом надолго уехал в Англию; собирался было в Америку — чуть ли не навсегда, но передумал. Бедствовал. Пенсии, или стипендии, которую он от «кого-то» получал, всегда нехватало, приходилось репетиторствовать (как Нежданову), кое-как перебиваться. При этом он вовсе не чужд был общественных интересов и не замедлил стать объектом доноса и попасть «под колпак» III отделения. Автор работы «О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева „Новь"» И. Чистова отыскала в архиве среди «справок на неблагонадежных лиц» и опубликовала следующий документ: «Отто Александр Федоров — с.-петербургский мещанин. В 1872 г. Отто проживал за границей в качестве гувернера при детях вдовы действительного статского советника Власовой. По заявлению бывшего Херсонского вице-губернатора Карповича, встречавшего Отто за границей, последний неоднократно говорил ему о необходимости ниспровержения существующего в России государственного строя».

По приезде из-за границы Отто какое-то время жил в Москве, откуда и пошли в Петербург агентурные сведения о том, что он личность дурной нравственности и в политическом отношении вполне не благонадежен; вследствие сего за Отто было учреж-

*

Об этом он упомянул в письме к А. Я. Дерману, которое хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее — ОР ГБЛ), ф. 356, д. 49, л. 1.

дено негласное наблюдение, которое продолжалось до 1877 г. В 1877 г. Александру Отто было разрешено выехать за границу. Как видим, некоторые позднейшие авторы, ехидно называвшие Онегина «неполитическим» эмигрантом, несколько заблуждались. Просто к политическим мотивам эмиграции прибавлялось еще желание «кое-кого» отправить «подкидыша» подальше.

Александр Федорович еще приезжал в Россию в начале 80-х годов, но с 1882 г. поселился в Париже навсегда. Фамилия Отто казалась ему чужой, нерусской. Боготворивший Пушкина, прекрасно знавший родной язык и литературу, он с 60-х годов стал подписываться «А. Онегин». Обращения на высочайшее имя об официальной перемене фамилии долго не давали результата; появился вариант Онегин-Отто; наконец, в 1890 г., против всех правил, разрешение было дано, и Отто исчез, превратившись в Онегина. Иногда, правда, он шутя называл себя «по географическому признаку» Александр Невский.

В 1882—1883 гг. Онегин исполнял обязанности литературного секретаря и библиотекаря Ивана Сергеевича Тургенева. Последние письма больного писателя написаны рукою Онегина (только подпись — Тургенева). Онегин был, кажется, последним из русских, кто говорил с Тургеневым и ухаживал за больным. Автор мемуаров о встрече с Тургеневым перед самой кончиной писателя Е. Кавелина пишет: «Мы застали Тургенева на покрытой постели, одетого в серый костюм и с бутоньеркой фиалок в петлице. Около него был Онегин, сын поэта Жуковского *; он ухаживал за Тургеневым до самой его смерти». 8—10 сентября 1883 г. он писал Павлу Васильевичу Жуковскому: «Я получил твою, милый друг, теле-

*

Эта несостоятельная версия, основанная на тесной близости Онегина и семьи Жуковских-Рейтернов, до сих пор кочует по статьям и книгам.

грамму по поводу нашего общего горя, „общественного несчастья", как выразились русские газеты, весьма справедливо... Теперь то, что было Тургеневым, лежит в склепе русской церкви и через несколько недель повезется в Петербург, где положится около Белинского, по его желанию. Он хотел, чтобы его положили „у ног Пушкина", но боялся, что назовут это „претензией"». Уход Тургенева Онегин пережил болезненно и откликнулся как истинный коллекционер, стремясь собрать свидетельства о жизни и смерти писателя. 11 сентября 1883 г. он обратился к П. В. Жуковскому, жившему тогда в Германии: «Прошу тебя, милый, собирать для меня все немецкое о Тургеше, как бы ничтожно оно ни казалось. Мне это будет нужно. Также и портреты, особенно давнишние... Господи, какое горе! После Державина и отца твоего он все-таки из писателей умер самым старым... Вообще, что можешь, то и собирай... Помоги, друг».

Призывая Онегина покончить с рефлексией и отыскать собственную дорогу в жизни, Иван Сергеевич Тургенев писал ему еще в 1869 г.: «Своею наружностью и некоторыми чертами характера вы мне напоминаете Белинского, но тот был молодец, пока болезнь его не сломила. Самолюбив он был так же, как вы; но он не истреблял самого себя — а главное: он никогда не беспокоился о том, что о нем подумают, так ли его поймут и т. д. Он шел полным махом вперед, радостно и резко высказывая все, что думал — а кто его не понимал или понимал ложно — ну, наплевать! Вот этой-то безоглядочности я желал бы Вам побольше. И не говорите Вы мне, что это в Вашем положении невозможно, что Вы сызмала поставлены криво и неловко; — человек образованный, самостоятельно, внутренно свободный — по этому самому — находится в тысячу раз более выгодном, менее ложном положении, чем человек с нормально устроенной обстановкой — и с темной или

спутанной головой. Правда, для того, чтобы легче сносить жизнь, весьма хорошо иметь игрушку, которая бы забавляла, дар, талант. Белинский имел эту игрушку, а у Вас ее, быть может, нет; но зато у Вас есть возможность деятельности общественной, хоть и низменной, но полезной, и понимание ее, и примирение с нею; этого у Белинского не было».

Александр Федорович Онегин не имел ни таланта, ни общественного темперамента Белинского. И все же Тургеневу в этом письме не изменила прозорливость. Сперва по стечению обстоятельств, потом — целенаправленными усилиями — и немалыми! — Онегин выполнил важнейшую культурную (общественную) миссию и в конечном итоге с честью послужил отечеству. Был он счастлив еще и тем, что жизнь его прошла под знаком трех негасимых звезд — Пушкина, Жуковского, Тургенева. Эти имена составляют звенья неразрывной цепи русской культуры. Теперь все хорошо знают, чем был Жуковский для Пушкина и Пушкин для Жуковского. Что касается Тургенева, то он писал в 1874 г.: «Пушкин — это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец».

*

Собирать книги Пушкина и о Пушкине, рисунки, портреты и т. д. Онегин начал еще в 60-х гг. Но в 1883 г. произошло событие, все перевернувшее в его жизни и все определившее. Павел Васильевич Жуковский навсегда передал Онегину большой пакет с рукописями Пушкина, хранившимися у его покойного отца Василия Андреевича.

Во владении Онегина оказались 75 рукописей Пушкина — начиная с пяти совершенно неизвестных прежде, вполне отделанных стихотворений до черновых отрывков «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», поэмы «Езерский»; импровизация итальянца о Клеопатре из «Египетских ночей» («Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо»); автографы сти-

хотворений «Чу, пушки грянули!», «Воевода», «И я слыхал, что божий свет», «Тебе, певцу, тебе, герою» и других; продолжение седьмой главы «Арапа Петра Великого», прежде совершенно неизвестное; предисловие к «Капитанской дочке», не вошедшее в окончательный текст, — письмо состарившегося Петра Андреевича Гринева к своему внуку Петруше; первоначальная редакция «Графа Нулина», озаглавленная «Новый Тарквиний». И черновики, черновики... Первая редакция романса «Жил на свете рыцарь бедный»; первая редакция стихотворения «Близ мест, где царствует Венеция златая»; клочок писчей бумаги с черновиком стихотворения «О нет, мне жизнь не надоела». И еще — черновые варианты (в том числе до опубликования материалов Онегинского музея совершенно неизвестные) критических статей, библиографических заметок, нескольких писем. Все это находилось у Василия Андреевича Жуковского: часть рукописей с жандармскими пометами, следами посмертного обыска у Пушкина; часть — без жандармских помет, т. е. листки, по тем или иным причинам оказавшиеся в руках старшего поэта и друга. Жуковский завещал все это сыну, а тот передал другу-брату, положив тем самым начало «музейчику» на улице Мариньян, 25. Согласитесь, что ни один музей в мире за исключением, разумеется, нынешнего национального хранилища пушкинских рукописей — Института русской литературы (Пушкинского Дома), не мог бы похвастаться подобным богатством. Правда, в те годы рукописи Пушкина начали сосредоточиваться в Румянцевском музее в Москве, но на втором месте сразу же был Онегинский — в Париже.

Вскоре, года через два, Жуковский младший вручил Онегину еще один бесценный подарок — все бумаги отца, имевшие касательство к дуэли и смерти Пушкина; к первому посмертному изданию его сочинений, которое готовил Жуковский; к делам Опеки

над детьми и имуществом Пушкина. Чтобы читатель представил себе, чем владел Онегин, приведем начальные строки совершенно никому тогда не известной конспективной записи № 3 из числа тех пяти, что Жуковский делал для себя еще при жизни или сразу же после смерти Пушкина.

«Встал (Пушкин в день дуэли. — *В. К.*) весело в 8 часов. — После чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. — Потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. Взошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. — Возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извощика. Это было ровно в 1 ч. — Возвратился уже темно. В карете. Данзас входит, спрашивает: Барыня дома — вынесли из кареты люди. — Камердинер взял его в охапку. Грустно тебе нести меня — попросил». Осознающий величие Пушкина и его значение для России человек, каким несомненно был Онегин, оказавшись единственным владетелем подобных документов, не мог не ощущать своей ответственности. Делом жизни его стало сохранить реликвии для русской нации. Как многие и многие коллекционеры, он рассматривал варианты передачи собрания в национальное хранилище, которые дoлжно осуществить после его смерти, а не при жизни. Судить ли его за это? С опубликованием тоже все не просто: такие важные документы нельзя публиковать кому попало и как попало. Онегин долгое время был недоволен работой пушкинистов (иногда не без причин); не обладал и сам достаточной подготовкой для исправной публикации. Наконец — из песни слова не выкинешь — блюл приоритет «музейчика» и стремился обеспечить средства для его поддержания и расширения...

Итак, Онегин получил также черновики письма

Жуковского к Сергею Львовичу Пушкину — о смерти его сына; письмо друга Пушкина С. А. Соболевского к П. А. Плетневу и В. А. Жуковскому из Парижа о материальных делах семьи Пушкина; письма С. Л. Пушкина к Жуковскому и многое другое.

Еще в 1879 г. П. В. Жуковский продал часть библиотеки отца для только что учрежденного Томского университета. Но приблизительно 600 томов, те, что хранили черты времени и дружбы, — книги с автографами, прижизненные издания русских поэтов и т. п. — Павел Васильевич оставил у себя, а в 80-х годах передал Онегину. Это сокровище неоценимое! Судите сами: там были издания с автографами Баратынского, Гоголя, Дельвига, Н. И. Тургенева, Языкова и других русских писателей; многие книги с записями Жуковского на полях. Например, в первом томе 12-томного собрания Сочинений Шиллера Александр Федорович сделал помету: «Большая драгоценность вследствие переводов Жуковского прямо на полях XI тома и отчеркиваний...»

В последние годы своей жизни (он скончался в 1913 г.) П. В. Жуковский начал передавать Онегину огромный личный архив отца. 1700 писем, адресованных Василию Андреевичу; дневники поэта; десятки неизданных произведений; черновики ряда других. Материалами для биографии Жуковского Онегинский музей был богат как никакое другое хранилище. В опровержение некоторых излишне категоричных суждений об Онегине скажем, что автор первой монографии, посвященной Жуковскому (1904), академик А. Н. Веселовский широко использовал в своей работе парижское собрание Онегина, что и отражено в многочисленных ссылках. Большой интерес для характеристики педагогических взглядов Жуковского и его мировоззрения представляют хранившиеся у Онегина планы и материалы занятий с наследником престола.

Наконец, третий первоначальный отдел музея — тургеневский. И хотя наследники Ивана Сергеевича — семейство Виардо — не склонны были отдавать кому-либо документы и черновики писателя, у Онегина собралась все-таки довольно содержательная коллекция. Здесь 42 письма Тургенева к другу Онегина — первому переводчику «Дворянского гнезда» на английский язык У. Ролстону *; 40 писем и записок к самому Онегину; 29 писем к П. В. Жуковскому; корректуры нескольких сочинений Тургенева с авторской правкой; последняя записка Тургенева, написанная им в бреду (пояснение Онегина: «воображал, что телеграфирует П. Виардо из Буживаля»); том собрания сочинений с надписью на шмуцтитуле: «А. Ф. Онегину на память старинной приязни, от Ив. Тургенева. 1874»; книги В. М. Гаршина и Э. Гонкура с дарственными надписями И. С. Тургеневу; целая коллекция фотографий Тургенева — более 40 экспонатов. В музейчике «поселился» шкаф-шифоньер из дома писателя в Буживале. И, наконец, горестный сувенир: прядь седых с желтизной, тонких волос. На пакете, в котором они хранятся, надпись Александра Федоровича: «Волоса И. С. Тургенева (1883), Буживаль».

Такова была основа музея, доставшегося Онегину благодаря его дружбе с выдающимися людьми века. Все остальное за долгие годы он добыл сам — неустанным трудом коллекционера. Варианты будущей судьбы музея были самые различные. После того, как Томскому университету была продана основная часть библиотеки Жуковского, Онегин задумал было

*

Онегин попросил Ролстона прислать вырезки из английских газет с некрологами и другими статьями об И. С. Тургеневе. Ролстон выполнил эту просьбу и, кроме того, подарил Онегину несколько автографов английских писателей: Диккенса, Булвер-Литтона, Рёскина, Теннисона. Вот какие неожиданные «библиофильские сближения» возвращают нас к именам, упоминавшимся в первых частях книги!

передать туда и весь свой музей. В 1888 г. Онегин обратился к вдове Ф. М. Достоевского Анне Григорьевне с просьбой прислать ему автограф какого-либо сочинения Федора Михайловича. 10 июля 1889 г. он разъяснил: «Не знаю, говорил ли я Вам в своем письме, которое впрочем и не предвидело ответа, что если бы нахождение автографа в моих руках и не считалось особенно желательным, то утешение существует, а именно следующее: всю свою библиотеку, картины и бумаги я — по всей вероятности — завещаю Томскому университету, хотя сам никогда не бывал в Сибири ни вольно ни невольно. Ergo и автограф Федора Михайловича будет помещен и верно и почетно» *. Просьбу Онегина Анна Григорьевна исполнила.

По-видимому, была мысль и о возвращении на родину вместе со всеми богатствами, ей принадлежащими. Именно ей — России. Так всегда считал Онегин. Он говорил французскому слависту Полю Буайе: «Я всего лишь хранитель. Рукописи Пушкина — не мои и ничьи: по естественному праву, если не по букве закона, они принадлежат русскому народу; именно русскому народу они должны быть возвращены». Павел Васильевич Жуковский 24 января 1892 г. писал Онегину: «А когда-нибудь тебе надо все-таки приехать в Москву. Нет, как ни трудно жить тут, все-таки я счастлив, что живу тут, а не в другом месте, и именно неподалеку от Собачьей площадки, куда я с самого детства стремился. Несмотря на всякие трудности и печали (где их нет?), все у нас велико и таинственно. И зло, и добро громадно и как-то неизмеримо, и можно любить и страдать, а главное — жить». Но слишком многое уже встало между Онегиным и родиной. Он не решился даже на короткую поездку, хотя в письме к Брюсову с грустью говорил о своей «насильственной отщепен-

*
ОР ГБЛ, ф. 93/11, к. 7, ед. 57 (цит. л. 3 об.).

ности... в прекрасном далеке от злободневия нашей родины» *.

Как бы то ни было, Онегин навсегда остался в Париже.

*

Став парижанином и в полной мере усвоив французские обычаи и жизненный уклад, Александр Федорович ухитрялся при этом оставаться русским человеком, даже подчеркнуто русским, с чертами ушедшей старины. Жуковский, Пушкин, Тургенев, Герцен и люди, их окружавшие, настолько были ему родными, как будто он сам прожил бок о бок с ними долгие годы. Не умея разобраться в бурных событиях конца XIX века и начала XX, Онегин прекрасно знал все, что связано с пушкинским временем.

Профессор Тартуского (Юрьевского, Дерптского) университета Е. В. Петухов, побывавший у Онегина в 1906 г., точно уловил его сущность: «Это был цельный, оригинальный обломок 60-х годов прошлого века, в юности эмигрировавший за границу и удивительно хорошо сохранившийся в условиях чужеземного быта, вне непосредственных влияний русской действительности». В старости он тяготился жизнью на чужбине и в то же время не мог и не хотел от нее оторваться.

Письма Онегина к Петухову, при всей их сбивчивости, отражают его своеобразное восприятие истории русской словесности. Приведем два отрывка из письма от 26 января 1908 г. Первый — о Герцене. «Как это приятно узнать, — радуется Онегин, — что, наконец, читается о Герцене **. Когда я в 1870 г. вернулся, возвращался, скорее, в Россию, на пароходе встретил русскую учащуюся молодежь, которая и

* ОР ГБЛ, ф. 386 (Брюсова), к. 97, ед. 7, л. 3 об.

** В 1906/1907 г. Е. В. Петухов впервые читал в Дерптском (Тартуском) университете курс лекций о Герцене.

имени его не слыхала, хотя и была нашей преемницей, т. е. шестидесятников. Именно можно было воскликнуть: «Кто виноват?» А через тридцать лет — о! — не месяцев все-таки и уже недовольны неполнотою издания сочинений Герцена *... А что нет биографии, в этом виновны «мы» — я не «мы», но понимаю их, ибо тогда при отрицании авторитетов, на все и на всех смотрели как на нечто одинаково обыкновенное и должно-обязательное. Лично я даже жертва этого направления в том отношении, что занимаюсь именно тем, материалами, к чему пренебрегал, имея их перед глазами и под рукою в необъятном изобилии». Отметим неизменно коллекционерский подход Александра Федоровича к явлениям культуры и его трезвую оценку роли собирательства в сохранении облика прошлого.

Второй отрывок посвящен Наталье Николаевне Гончаровой-Пушкиной-Ланской и русским женщинам вообще. Обсуждая записки-воспоминания А. О. Россет-Смирновой и А. П. Араповой — дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской от второго брака, Онегин пишет: «Да, Наташа крайне интересна (занимательна), да и вообще русские женщины прелесть (любимое слово Пушкина). Вот их попросту следует и заметить и оценить, не вертясь около салонных Смирновых, Свечиных и Крюднер ** и т. п. Начало сделано с Машенькою Протасовою *** (кстати: ну вот видите: разве это политика: украсть медную доску с гробовой плиты!? Бедность, более сильная даже, чем невежество, а плод политического строя. Не надо вос-

*

В 1905 г. в Петербурге вышли 7 томов: Герцен А. И. Сочинения и переписка с Н. А. Захарьиной.

* *

А. О. Смирнова, С. П. Свечина, А. М. Крюднер (Крюденер) — хозяйки светских салонов.

* * *

В 1904 г. вышла книга А. Н. Веселовского о Жуковском, где много сказано о М. А. Протасовой.

становлять доску, а на камне высечь ту же самую надпись в тех же размерах — мой совет... *).

Мне, однако, такой фотографический снимок **, о котором упоминаете, был бы приятен, ибо в Машеньку — быть может, уже писал, я загробно влюблен.

Араповой записки еще нелепее Смирновой и Павлищева-сына ***, т. е. сочинены и приноровлены. О стихах, читаемых (Пушкиным. — *В. К.*) будто Смирновой, а не жене, прямо взято у Смирновой-дочери. У Павлищева, например, говорится о стихах, которые прочитаны публикою только тогда, когда я их напечатал... А защищать одну сестру, пачкая другую, так, как она (А. П. Арапова) сделала относительно шейного крестика Александры Николаевны, найденного случайно (!) в кровати Пушкина и т. п. — черт знает что такое! Но Саша эта довольно загадочное существо и едва ли тоже восстановимое... **** Она (Арапова) бы должна была, напротив, описать жизнь матери, только на глазах ее протекавшую во время ее сознательного возраста... Жуковский, Плетнев, Нащокин (!), Соболевский не так о Наташе думали, да и вообще хронологически, как у Смирновой (почти все) невозможно... А Катю Дантес очень любил, по крайней мере как жену впослед-

*
В 1906 г. с могилы М. А. Протасовой-Мойер на Дерптском кладбище украли доску с эпитафией, сочиненной В. А. Жуковским. В 1908 г. доска была восстановлена.

* *
Портрет М. А. Протасовой.

* * *
Записки А. О. Смирновой о Пушкине были скомпонованы ее дочерью по материалам, частично предоставленным А. Ф. Онегиным, и лишь в позднейших изданиях очищены от выдумки; воспоминания племянника Пушкина Л. Н. Павлищева расцениваются специалистами как не заслуживающие доверия.

* * * *
А. Н. Гончарова-Фризенгоф стала менее загадочной после книг Н. А. Раевского «Портреты заговорили» и И. Ободовской и М. Дементьева «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина».

ствии. Говорил я вам, что Дантеса я обрел, но вскоре утратил; надеялся на сына, который одно время — случайность-то какова — жил даже в том доме, где мой «музейчик» теперь, но и он, здоровенный малый, — умер, и теперь едва ли что можно восстановить будет, ибо все это сделалось семейным интересом людей, чуждых Пушкину и России вообще».

Если верить сведениям, просочившимся в газеты, Александр Федорович Онегин отправился к Дантесу в день пятидесятилетия смерти Пушкина и прямо спросил, как он пошел на такое? Дантес будто бы ответил с обидой: «Так ведь он, Пушкин, мог меня убить!» В 1912 г. Онегин рассказал о своем «визите» к убийце Пушкина на собрании революционеров-эмигрантов в Париже, посвященном 75-летию со дня гибели поэта. С докладом о Пушкине выступал в тот вечер Анатолий Васильевич Луначарский.

Как бы то ни было, все коллекционерство Онегина, вся его жизнь библиофила и собирателя музея опиралась на личную, глубокую заинтересованность в судьбах тех, память о ком он сберегал в трех комнатках на улице Мариньян. Этот взволнованный интимный подход есть важнейшая его собирательская черта, определившая все: и цель, и форму, и заботу о последующей судьбе хранилища. Подобные примеры как нельзя лучше доказывают, что библиофил и собиратель вещественной памяти о прошлом вообще, если он действует бескорыстно и по разработанному плану, есть труженик культуры, имеющий все права на уважение современников и потомков.

*

Конечно, Александр Федорович, как многие коллекционеры, бывал и прижимист, и хитроват, когда речь шла о пополнении коллекции, и ревнив к чужим собраниям. Он, в самом деле, не спешил делиться сокровенными богатствами «музейчика» с

каждым встречным и поперечным. Все это так, и не стоит закрывать глаза на истину. В Отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина хранятся воспоминания вдовы В. Я. Брюсова Иоанны Матвеевны о том, как в 1903 г. они с мужем побывали у Онегина на ул. Мариньян. Воспоминания эти проливают некоторый свет и на двойственность отношения Брюсова к Онегину и на саму личность нашего героя *.

«Как образец небывалой памяти Валерия Яковлевича, вспоминаю один случай. Мы были любезно приняты в Париже русским парижанином, известным пушкинистом Онегиным. Оба пушкиниста встретились как хорошо знакомые, хотя друг друга никогда не видали. Однако Онегину была известна каждая брюсовская строка о Пушкине, а Брюсов ясно представлял себе, какие у Онегина хранились рукописи. Галантный старый хозяин стал водить нас по своей квартире-музею и начал показывать экспонаты специальных витрин. Тут были и перья, и тетрадки, и пеналы, и резинки, пробки, коробки от конфет, бумажки от печенья, печенье с изображением Пушкина или цитатой из его стихов **. Чем любезнее был хозяин, тем мрачнее становилось лицо Валерия Яковлевича. Я никак не могла понять, чем Брюсов так расстроен. Скоро, улучив удобный момент, В. Я. сказал довольно резко Онегину, что смотреть безделушки, подобные тем, какие он показывает нам, Брюсову неинтересно. Он, мол, знает, чем богат музей Онегина, и было бы ему гораздо приятнее взглянуть на разные рукописи, в частности на такое-то стихотворение,

*

Воспоминания были прочитаны в 1944 г. на вечере памяти В. Я. Брюсова. См.: ОР ГБЛ, ф. 386, к. 139, ед. 21, л. 5—6.

* *

Онегин первым создал коллекцию самых разнообразных предметов, связанных с пушкинской темой. Впоследствии его примеру последовали многие собиратели.

которое печатается без окончания в изданиях Пушкина, но пушкинистам известно, что у Онегина имеется окончание этого стихотворения. К сожалению, я запамятовала, о каком стихотворении шла речь. Онегину ничего не оставалось делать. Он позвонил, явился слуга *, принес стремянку. Онегин достал ключ и медленно поднялся к высокому ящику одной из высоких кантоньерок, загремел ключами, достал из ящика папку, вынул из нее конверт, из конверта рукопись и, наконец, показал ее Валерию Яковлевичу, не выпуская из рук. Валерий Яковлевич с улыбкой глядел на рукопись, прочел все стихотворение вместе с недостающими строфами, о которых шла речь. Онегин поспешил убрать рукопись обратно в конверт, в папку и, под разговоры о рукописи, закрыл ящик на ключ. Говорилось, как попала рукопись к Онегину, при каких обстоятельствах стихотворение написано Пушкиным, и т.д.

Вскоре наш визит окончился. Онегин назначил нам свидание в Кафе де Пари, шикарнейшем парижском кафе, где Онегин, по его словам, имел обычай ежедневно в положенный час у французов завтракать. Мы же не имели даже привычки входить в этот ресторан и не без робости проникли в него несколько часов после того, как расстались с Онегиным. При входе столкнулись с Гиршманами ** и еще с их знакомыми, какими-то московскими богачами. Тут же оказался Онегин. Все перезнакомились и уселись вместе завтракать. Целое застолье русских. После беседы о парижских театрах и их новинках разговорились об Онегинском

*

Здесь, кажется, единственная фактическая неточность у мемуаристки: слуг у Онегина не было; ему иногда помогал привратник дома. Видимо, он и принес лестницу.

* *

Видный московский адвокат и его жена.

музее. Валерий Яковлевич, к слову, процитировал все стихотворение, только что не без опасения показанное ему. Онегин от изумления не мог придти в себя и, не без укоризны, полушутя, проговорил все же вежливо что-то вроде: „Недаром, Валерий Яковлевич, я так боялся показывать Вам рукопись"».

Так колдовал и священнодействовал Александр Федорович Онегин в своем парижском русском музейчике: с одной стороны, он жаждал знакомить с ним посетителей — особенно приезжих из России; с другой стороны, побаивался, что «подсмотрят» и напечатают без него. Но, в общем, как справедливо отмечал Евг. Семенов — один из немногих мемуаристов, посвятивших Александру Федоровичу хоть несколько страниц, он «никогда не отказывал в пределах естественной осторожности и интересов сохранности *национального сокровища».* Впрочем, «естественная осторожность» простиралась довольно далеко. Московский книжник-антиквар П. П. Шибанов, побывавший впервые у Онегина в 1909 г., вспоминал, что тот не давал прикасаться ни к одной рукописи или книге, все показывая из собственных рук. «Когда я приехал в другой раз в 1913 г., — пишет Шибанов, — и забыл его строгости, взявши какую-то книгу в руки, он вырвал ее у меня: „Вы прежде были умнее!"» *

Весною 1911 г. во Францию приехал студент-юрист, будущий советский театровед и специалист по драматургии Чехова А. Б. Дерман. Лет через тридцать после этого А. Б. Дерман вспоминал о Париже: «В то время там выходила какая-то пустенькая русская газета... под названием, если не ошибаюсь, «Парижский листок». На последней странице газеты, в самом низу, между другими сведениями значилось, что там-то, Елисейские поля,

*

ОР ГБЛ, ф. 386 (Шибанова), к. 53, ед. 12 (б), л. 12.

улица такая-то, дом № такой-то находится Пушкинский музей. Дни и часы посещения не были указаны». Вдоволь наслушавшись россказней о чудачествах и скупости Онегина, запасшись рекомендациями и коробками из-под папирос с аляповатыми изображениями Пушкина (в дар музею!), Дерман отправился на ул. Мариньян. «Квартира Онегина, — рассказывал он, — находилась в одном из лучших кварталов Парижа, но сама по себе была весьма невзрачна. Вход в нее был справа, под длинным сводом въездных ворот. Я позвонил. Вскоре изнутри отворилась деревянная дверь, оставив железную решетку между мною и сильного сложения стариком, в раскрытой на волосатой груди ночной сорочке. Он сумрачно взглянул на меня из-под косматых седых бровей и спросил по-французски, что мне нужно... Я протянул ему через решетку пакет. С тем же сумрачным выражением он пробежал записку, но приложения действительно словно несколько смягчили его. Повертев перед глазами коробку, он хмуро усмехнулся, отпер решетку и молча впустил меня... Когда я, войдя, представился и затем спросил у выжидательно глядевшего на меня хозяина, с какого места начинается собственно музей, он ответил, указав пальцем на простую железную койку в углу:

— Вот кровать, на которой я *сплю*, — это не музей, а прочее — все музей».

Едва ли в словах Онегина, записанных его посетителем, было хотя бы малейшее преувеличение. Он мог бы даже добавить: те часы, которые я сплю, не отданы музею; остальные — ему и только ему. Конечно, Онегин «таял» при виде любого, даже пустякового, нового экспоната. Но, как заметил тот же мемуарист, особенно был тронут хозяин квартиры, когда при повторном посещении гость принес и положил на стеклянный колпак, под которым хранилась посмертная маска Пушкина, букет парм-

ских фиалок. «Как ни был я молод тогда и неопытен, — пишет Дерман, — мне сразу стало ясно, что передо мной сидит очень, в сущности, одинокий человек. По виду он был горд, речь его дышала независимостью, в осанке его сквозило даже нечто надменное. Но сквозь все это пробивалось какое-то застарелое и едкое чувство неоплаченной обиды. С уверенностью я не знаю до сих пор, в чем она заключалась, но проявлялась она, так сказать, универсально. В частности Онегин, по-видимому, чувствовал себя обойденным как знаток творчества Пушкина». Читатель уже более или менее знаком с личностью Онегина и поймет, что речь идет в самом деле о «комплексе», сложившемся под влиянием ряда причин — и происхождения, и отъединенности от родины, а потом и оторванности от эпохи. Хотя в 1911 г. Онегину было всего 66 и ему еще предстояли 14 лет жизни, но он уже тогда ощущал себя как бы случайно задержавшимся на земле соратником людей ушедших. Да и другие так думали. Это бывает с людьми, так или иначе связавшими себя с прошлой эпохой, прошлой культурой. Кто помоложе, может иной раз удивиться: как, разве такой-то еще жив? С Онегиным тоже был подобный случай. Академик М. М. Ковалевский выступал в Париже на собрании русских эмигрантов в 1910-х годах и, между прочим, упомянул, что прототипом Нежданова в тургеневской «Нови» был некто Отто-Онегин. Присутствовавший при сем Александр Федорович после выступления подошел к оратору с какими-то поправками и замечаниями. «Батенька! — воскликнул изумленный академик, — а я-то думал, вы давно померли!»

Однако возвратимся на минуту к воспоминаниям А. Б. Дермана, запечатлевшего еще один любопытный эпизод. «А хотели бы вы услышать, как читал стихи Пушкин? — спросил Онегин вдруг. — Сам я, правда, не слыхал, но ровесники и друзья Пуш-

кина мне читали в его манере. Хотите? Ну так назовите любимое стихотворение.

Выбор был затруднителен; однако делать нечего, я назвал «Заклинание». Онегин с удовлетворением кивнул головой:

— А-а-а!

Он взял с полки томик морозовского издания стихов Пушкина, перелистал и показал мне: на полях против «Заклинания» было карандашом написано: «Чудо!» Это старик в одиночку выражал свой восторг перед пушкинским шедевром. Мы перешли в другую комнату. Онегин встал, прислонился спиной к столу, на котором лежала маска Пушкина, помолчал. И вдруг обеими руками закрыл себе лицо и горячо, страстно, драматично воскликнул:

— О, если правда, что в ночи...

Он читал с огромным пафосом, раскачиваясь всем корпусом, не отрывая рук от лица, удивительно разнообразно модулируя своим сильным, хотя уже глуховатым голосом, придавая свой оттенок каждой строке, каждому слову. Ударения делал он логические, скандировал не резко. Окончив последнюю строфу, он продолжал стоять, закрыв лицо руками, но уже неподвижно. И вдруг отбросил прочь руки и коротко засмеялся. Засмеялся, но из глаз его катились слезы.

— Да только и был один поэт, Пушкин! — уверенно произнес он с особенной улыбкой гордости за своего гения-любимца».

Когда читаешь приведенные строки, думаешь, что библиофилия прежде всего — любовь (этот корень не случаен в самом слове). И не только к книгам, но прежде всего к тому, самому важному, что в них содержится и что отражает та или иная коллекция. Собиратели-пушкинисты — Онегин был одним из первых и наиболее своеобразных — видят в Пушкине олицетворение Отечества, сим-

вол истины и благородства. А уж все остальное — литературная эрудиция, библиографические познания и, с другой стороны, чудачество и осторожность владельца коллекции — вторично. Кто знает, читал ли Пушкин стихи так, как Онегин. Но старик, некогда знакомый с Тургеневым, а мальчиком, быть может, и с Жуковским, твердо верил в свою близость к Пушкину и его современникам и убеждал этой верой...

Буквально перед самой смертью Онегина, в 1925 г., его посетил советский журналист Борис Волин. Теперь визитеры на улице Мариньян стали уж очень редки. Онегину исполнилось 80. Он стал совсем слаб. Волин, напечатавший корреспонденцию в № 7 журнала «Прожектор» за 1925 г., писал об Онегине как о живом, но редакция вынуждена была уже сделать примечание о кончине собирателя. Несколько строк из корреспонденции: «Вхожу направо в комнату, производящую впечатление интимного музея, и у окна замечаю поднимающуюся с кресел совершенно седую дряхлую фигуру, с трясущимися руками, пронзительно смотрящего на меня человека... Начинает жаловаться, что все его забыли, что он стар, что он может скоро умереть, а никто из представителей Советской власти ни разу не удосужился его посетить, что он одинок и беспомощен, что он хотел бы передать в сохранности и целости Москве и Ленинграду все те редкие вещи, которые им с таким трудом собраны... Старик Онегин с трудом поднимается и, опираясь на палку, держась о мебель, медленно передвигается по трем маленьким комнатам, сплошь заставленным, как в лавке древностей, столиками, шкафами, статуэтками... Сам смахивает пыль. Никому не позволяет дотрагиваться до своего добра. Сам он вынимает, сам развертывает, сам перелистывает, сам показывает и сам снова кладет на место». Да ведь и помимо книг было что показывать: альбом

А. О. Смирновой, некогда подаренный ей Пушкиным, открывающийся стихами Пушкина «В тревоге пестрой и бесплодной...», а после заполнявшийся Лермонтовым, Вяземским, Туманским и другими славными поэтами; рисунок Жуковского, изображающий Пушкина в гробу; «черновую книгу» Пушкина, которую он так и не успел начать и которую Жуковский подарил поэтессе Е. П. Ростопчиной, вписав туда свои скорбные строки, посвященные памяти Пушкина; бювар Гоголя; конверт с пояснительной надписью А. О. Смирновой — «последние слова Николая Васильевича Гоголя, написанные им во время болезни»; столик, за которым больной Тургенев писал «Новь», и многое, многое, близкое русскому сердцу...

*

До последнего часа жизни Онегин продолжал пополнять музей. Книжная коллекция комплектовалась и в Париже — у многих букинистов выработалась привычка не продавать никому русских книг до того, как их просмотрит Онегин, и в России — благодаря постоянным заказам у московских и петербургских книгопродавцев. Еще в 1898 г. Онегин вступил в деловые отношения с П. П. Шибановым, выпускавшим замечательные каталоги предлагаемых к продаже экземпляров. Онегин выписывал и тщательно изучал каталоги, посылая на Никольскую улицу открытки-заказы, сохранившиеся в архиве Шибанова. В первом письме Онегин сказал несколько слов о своих принципах, любопытных для историка книжного собирательства. «У меня Пушкина приблизительно все есть, но старые издания с полными неиспорченными гравюрами я желаю иметь в 2-х и в 3-х экземплярах, заменяя худшие лучшими. Хорошим экземпляром я называю по-здешнему, незарванный, без пятен, предпочитаю без переплета, чтоб не был обрезан

коротко; чтобы обертка была при экз. Если переплет, то хороший желателен именно и из хорошей библиотеки по происхождению — ex libris!» *

Между прочим, книги из библиотеки Онегина отмечены первым по времени экслибрисом на пушкинскую тему (мы его воспроизводим): любимая героиня Пушкина чертит пальцем на стекле инициалы владельца «музейчика». Офорт гравировал парижский гравер И. Песке по рисунку русского художника М. О. Микешина. Что касается подбора идеальных экземпляров, то этот принцип характерен не только для французских библиофилов-эстетов, но и для русских — таких, например, как С. А. Соболевский. Необрезанные поля были обязательным условием для того, чтобы книга получила право поселиться в музее Онегина. Это связано с одной историей, давшей Онегину горький урок.

Раз или два в месяц Онегин обходил берега Сены, уставленные бесконечными рядами книжных ларей, и осматривал отложенную для него «добычу». «Вот так прихожу однажды, — рассказывал он, — и подают мне охапку разного книжного хламу. В числе прочего первое издание «Руслана и Людмилы», потрепанная книжка без переплета. У меня уже было такое издание, но я забрал, принес домой и даже не раскрыл, положил в пачку для переплетчика, который принимал у меня работу тоже раз в месяц. Вернулась книжка из переплетной, я как-то случайно заглянул. Вижу: пометки карандашом на полях. Пригляделся... Вдруг как ударило в голову: мать пресвятая богородица, да ведь это Пушкина рука! И что же ты наделал, дуралей: половину пометок переплетчик срезал! Побежал к нему, перерыл всю бумажную труху, какая нашлась, — где там! Ведь вот чудо случилось, сама к тебе от

* ОР ГБЛ, ф. 342, к. 31, ед. 63, л. 1.

Пушкина книга пришла, и где? В Париже! А ты взял да испакостил». Мораль библиофилы допишут сами. Мы же добавим, что ветхий «Руслан...» 1820 г., переплетенный для Онегина в роскошный переплет новейшего времени с золотым обрезом (но при этом едва не погубленный!) и вложенный в особый футляр, как любил делать Онегин с редкостями первой величины, был рабочим экземпляром Александра Сергеевича Пушкина. Поэт готовил по нему второе издание поэмы (1828) и внес поправки на страницах 11, 16, 17, 21—29, 38, 41, 43—46, 48—50 и других. На с. 11, например, Пушкин вместо «Мечом расширивший пределы» написал: «Мечом раздвинувший пределы», на с. 25 — строку «К ученью мудрости высокой» исправил: «К предметам мудрости высокой» и т. д. Можно понять огорчение Александра Федоровича и его стойкую нелюбовь к экземплярам с обрезанными полями.

Упомянем еще об одной удивительной и до сих пор вызывающей споры находке Онегина. В одном из каталогов петербургского антиквара Соловьева увидел он как-то миниатюрное — второе полное — издание «Евгения Онегина» 1837 г. (точнее — последних дней 1836 г.). Выписал. Получил. И заметил обозначенную карандашом на шмуцтитуле литеру «Ж». Рядом запись самого Александра Федоровича: «Эта буква Ж — рукою В. А. Жуковского, из библиотеки которого экз. этот в свое время (?!) исчез, а мною добыт случайно... Покупая, я не знал, что мне достанется экз. именно Жук. Очевидно, в его библиотеке было немало соч. Пушкина — подписные экз. — но мне достались лишь немногие. Куда девались — вот вопрос!» Экземпляр «Евгения Онегина», принадлежавший некогда Василию Андреевичу Жуковскому, переплетенный для Александра Федоровича Онегина в прекрасный кожаный переплет бордового цвета с золотым тиснением и обрезом, также хранится в особом фут-

ляре. Правда, некоторые исследователи сомневаются, Жуковскому ли принадлежала эта книга, поскольку одна буква «Ж» еще не доказывает принадлежности. Но вспомним, что письма к Пушкину Василий Андреевич нередко подписывал именно так: «Ж», и поверим интуиции Онегина. К Александру Федоровичу попал и экземпляр «Полтавы» с надписью на шмуцтитуле: «Евгению Баратын[скому] от Александра Пуш[кина]. 7 апр. 1829».

Всего библиотека его (точнее, книжный фонд музея) состояла из 3420 томов. Но что это были за книги! 800 томов Пушкинианы, более 400 томов из личной библиотеки Жуковского; прижизненные издания всех писателей пушкинского круга; журналы и альманахи того времени; вольная русская печать во всем ее богатстве с изданиями Герцена во главе; курьезная книжица «Воспоминания о Пушкине И. А. Хлестакова», напечатанная специально для Онегина в *единственном* экземпляре; наконец, 14 толстых альбомов, куда Александр Федорович десятилетиями с упорством и педантичностью начиная с 1887 г. вклеивал вырезки из периодической печати, имеющие хоть какое-то отношение к Пушкину. Теперь этому богатству цены нет! И всюду — на шмуцтитулах, на полях, на вкладных листах — пометы Александра Федоровича, раскрывающие историю самой книги и ее путь в «музейчик» на ул. Мариньян. 11 февраля 1909 г. Онегин писал своему постоянному поставщику русских книжных редкостей П. П. Шибанову: «...у себя вечером получил желанный «Бал» (Е. А. Баратынского. — *В. К.*)... Ну и отлично! Экз. великолепный! Теперь отдел изданий, современных Пушкину, — совершенно полон, и это Вам зачтется на том свете, надеюсь» *. 19 февраля 1912 г. Александр Федорович благодарил того же корреспондента: «Спа-

*

ОР ГБЛ, ф. 342, к. 31, ед. 64, л. 2.

сибо, что поняли значение моих усилий в любимом и важном деле» *. Хочется думать, что его любовь к Пушкину, его энергию, его библиофильское мастерство оценит и современный читатель.

*

Уже не новость для читателя, что коллекционеры начинают тревожиться о судьбе коллекции чуть ли не с первого дня ее существования. Вспомните хотя бы бесчисленные завещания сэра Томаса Филипса! Онегин, как мы знаем, сперва рассчитывал передать свое собрание Томскому университету. Но после того, как 14 июля 1907 г. в Петербурге был создан Пушкинский Дом — своего рода общерусский памятник Пушкину, — не мог не встать вопрос и о судьбе Онегинского собрания. И вот в мае 1908 г. в Париж отправился блестящий пушкинист, сотрудник Академии наук Борис Львович Модзалевский, чтобы сделать опись музея Онегина и определить, в какой степени заслуживает он приобретения для Пушкинского Дома. Модзалевский поразился богатству онегинской пушкинианы и восхитился музеем, созданным, как он писал, «любовью одного человека, который посвятил ему всю свою жизнь». Со стариком они подружились, ибо Онегин также не мог не оценить глубочайших познаний Модзалевского во всем, что касалось Пушкина. Музей был описан, отчет «в верха» составлен, и вослед Модзалевскому отправилась в Петербург фотография Онегина с такой надписью:

Тень Пушкина меня усыновила,
Онегиным из гроба нарекла,
Вокруг меня газетки возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла
(Но не Бориса Годунова,
А Модзалевского милова).

*
ОР ГБЛ, ф. 342, к. 31, ед. 64, л. 49.

«Газетки» распускали самые фантастические слухи насчет Александра Федоровича и его музея. Даже право его на владение рукописями Пушкина подчас оспаривалось. Еще в 1904 г. Павел Васильевич Жуковский вынужден был обратиться к издателю журнала «Русский архив» П. И. Бартеневу:

Милостивый государь Петр Иванович

В первом номере «Русского архива» за нынешний год, в заметке Вашей об издании материалов и исследований о Пушкине и его современниках употреблено по поводу А. Ф. Онегина выражение, что им бесправно забраны из бумаг В. А. Жуковского драгоценные и неизданные рукописи Пушкина.

Считаю долгом довести до всеобщего сведения через Ваш почтенный журнал, что А. Ф. Онегин владеет этими рукописями Пушкина совершенно законно, так как они были переданы ему мною в собственность из числа бумаг, унаследованных мною от покойного моего отца. Имею честь и т. д.

Павел Жуковский

Москва, 2 февраля 1904.

Увы, скрипящая бюрократическая машина царской России поворачивалась медленно: даже после того, как в 1909 г. Модзалевский в сборнике «Пушкин и его современники» (вып. 12) опубликовал краткое описание онегинской пушкинианы, решение выделить деньги на ее приобретение и транспортировку принято было не сразу. 17 января 1909 г. Онегин писал В. Я. Брюсову: «Дело мое личное с Академией ни тпрру, ни ннну!.. В моем положении пока я не свободен располагать своим добром, т. к. в сущности берегу его еще как берег до сих пор для Акад. издания. Если я кое-что и печатал ранее, то вынужденно, т. е. предупреждая неделикатность некоторых старых и молодых пушкиньянцев. Что Академия движется плохо и медленно — моя ли вина?!.. Музейчик продолжает успешно

обогащаться, но я теперь *вижу,* что не *увижу* его торжества перед тризной уже недалекой» *.

Реального торжества «музейчика» Онегин и вправду не дождался. Но это выяснилось гораздо позже, после ряда драматических событий и перипетий. 13 апреля 1909 г. между Академией наук и А. Ф. Онегиным был подписан официальный договор. Приведем сокращенно наиболее важные его пункты:

1. Я, Онегин, уступил в собственность Императорской Академии наук... все принадлежащие мне рукописи, книги, брошюры, нумера периодических изданий, как на русском, так и на иностранных языках, заключающие в себе сочинения А. С. Пушкина и других русских писателей, критические отзывы об этих сочинениях, биографии, описания различных событий в жизни тех же писателей, все имеющиеся у меня портреты русских писателей, картины и рисунки, относящиеся к их жизни или чествованию их памяти, картины, рисунки и музыкальные произведения на сюжеты их сочинений. Независимо от сего я, Онегин, уступил Академии наук всю мою библиотеку, ранее принадлежавшую Василию Андреевичу Жуковскому, в количестве около 400 томов на русском и иностранных языках, а также все рукописи и рисунки, ранее принадлежавшие тому же В. А. Жуковскому, а ныне составляющие мою собственность...

3. ...Правление Императорской Академии наук уплачивает А. Ф. Онегину единовременно десяти тысяч (10 000) рублей, каковую сумму я, Онегин, обязываюсь употреблять на пополнение, по моему усмотрению, моего собрания, на приведение в порядок книг и рисунков, в нем уже имеющихся, и тех,

*

ОР ГБЛ, ф. 386, к. 97, ед. 7. См. также: Чистова И. Письма В. Я. Брюсова к А. Ф. Онегину. — Науч. докл. высш. школы (Филол. науки), 1971, № 3.

которые будут приобретены впоследствии, на переплет книг, реставрацию их и т. п.

4. Императорская Академия наук предоставляет А. Ф. Онегину право пожизненного пользования приобретаемой Академией по сему договору библиотекою и собранием рукописей, рисунков и др. предметов и оставляет все приобретенное имущество на хранение А. Ф. Онегину.

5. Со дня подписания настоящего договора в определенные по соглашению со мною, Онегиным, дни и часы правом осмотра библиотеки, рукописей, рисунков и пр. пользуются чины Императорского посольства в Париже, члены Императорской Академии наук и члены совета Пушкинского Дома, а также все лица, которые по предварительном соглашении со мною, Онегиным, будут уполномочены на то, ради научных целей, состоящей при Академии особой Комиссией по изданию сочинений А. С. Пушкина. Всех указанных выше лиц я, Онегин, обязан допускать к снятию копий с рукописей и предоставить им возможность делать с рукописей и рисунков фотографические снимки...

Кроме того, Онегину выхлопотали ежегодную пенсию 6000 рублей — в знак признания его заслуг перед Отечеством. Договор, как мы видим, был небезвыгоден для обеих сторон. По-видимому, Модзалевский и другие ученые сумели убедить неповоротливое и отнюдь не щедрое свое начальство в том, что национальные сокровища онегинского музея надо спасти любой ценой и не допустить их распыления. Пожалуй, и сэр Томас Филипс был бы удовлетворен такими условиями: ведь коллекция пожизненно оставалась в распоряжении собирателя.

Между тем затрата столь значительных сумм, да еще из особого резервного десятимиллионного фонда, предназначенного на чрезвычайные нужды, донельзя рассердила бульварную прессу, мнившую себя демократической. В № 11 за 1911 г. «Наш журнал»

писал: «Что же касается до рукописей Пушкина, выкупленных правительством у державшего их под спудом парижского неполитического эмигранта Отто (псевдоним Онегин), то из купленных у г. Отто пятидесяти семи номеров интерес новизны представляла едва десятая часть, да и эти новинки — по большей части незначительные, едва начатые наброски. Тем не менее счастливому «наследнику Пушкина» дали за них десять тысяч руб. единовременно и назначили пожизненную пенсию по шести тысяч в год. Правда, приобретение рукописей Пушкина — дело почтенное и желательное, но покровители г. Отто знали, что делали, проводя этот расход не через Государственную думу, а через забронированный фонд. Государственная дума не дала бы г. Отто за несколько клочков бумаги, которые должны потерять всякое значение по окончании академического издания сочинений Пушкина, такую нелепо огромную сумму. Несколько лет назад об условиях этой сделки и странной обстановке переговоров правительства с г. Отто в учено-литературных кругах говорили как о настоящем скандале» *. Вот уж поистине — добрые дела не остаются безнаказанными!

К чести Александра Федоровича, пусть плохо разбиравшегося в новейшей политике, но знавшего цену царским милостям, свержение царизма и совершившаяся в 1917 г. Октябрьская революция нисколько не поколебали его намерений. И хотя пенсион ему выплачивать сперва перестали, но он считал договор с Академией не утратившим силу, а себя лишь хранителем принадлежавших России ценностей. Он сам пришел к советским представителям в Париже с напоминанием о музее. 10 февраля 1922 г. член советской торговой делегации в Париже М. Ско-

*

Единственным печатным каталогом, на котором мог основываться автор этой статейки, было описание Модзалевского, неполное и недоступное пониманию невежд.

белев писал Онегину: «Согласно моему обещанию Ваше дело я своевременно направил в Москву. Сегодня я получил телеграмму из Лондона от Л. Б. Красина о том, что он ожидает ответа из Москвы, а пока просит принять все меры, чтобы Пушкинский музей, Ваше детище, огромная ценность, и впредь сохранилось для России.

Не мне, конечно, просить Вас об этом, ибо Вы достаточно много проявили любви и энергии, которой, конечно, хватит еще у Вас на короткое время, которое отделяет нас от окончательного решения этого вопроса в Москве» *.

В телеграмме одного из руководителей советской делегации Л. Б. Красина, о которой упоминает Скобелев, говорилось: «Москва мной запрошена, надо принять все меры, чтобы это учреждение не попало в другие руки». Однако до тех пор, пока начались эти переговоры, в Москве и Петрограде мало знали о судьбе Онегина и его музея. Доходили какие-то невесть откуда взявшиеся слухи, будто Онегин умер, наследники (какие?) якобы собираются продать музей в Америку и т. д. Все это было сущим вздором, но вот кое-кто из эмигрантов к Онегину в самом деле зачастил. Чтобы подтвердить свое право на парижское пушкинское собрание, Пушкинский Дом поспешил опубликовать тексты, хранившиеся у Онегина и известные в России по фотокопиям. Так появилась книга «Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина», выпущенная дважды под рубрикой «Труды Пушкинского Дома» в 1922 и 1923 гг. В предисловии к первому изданию говорилось, что, по слухам, Онегина уже нет в живых, а его «наследники» публикуют какие-то материалы богатейшего собрания, принадлежащего Пушкинскому Дому России. Как

* Документы, отражающие переговоры А. Ф. Онегина с представителями советских учреждений, заимствованы нами из книги: Степанов А. Н. У книг своя судьба. Л., 1974.

рецензия на эту книгу и появилась статья Валерия Брюсова, где говорились не слишком лестные слова об Онегине, но еще более резкие — об Академии наук, «упустившей» коллекцию такого исключительного значения.

22 мая 1922 г. Онегин обратился в Российскую Академию: «Недавно вышел сборник «Неизданный Пушкин», составленный на основании моего собрания. Сборник этот я купил здесь, в Париже, как и все другие выходящие в России книги о Пушкине и которые Академия наук мне не посылает вот уже несколько лет.

Считаю своим долгом опровергнуть некоторые сведения, помещенные в этом сборнике обо мне и о моем музее, которые совершенно не соответствуют действительности, а именно, что я умер и что музей мой подвергается «распылению и расхищению»...

Музей мой по договору с Академией наук в 1909 г. передан мною во владение Пушкинского музея в Петрограде с правом моего пожизненного пользования им и хранения в Париже до моей смерти или перевозки музея в Россию...

Никаких опубликований я никогда не делал, а музей мой не только не «распылен» или «расхищен», а, наоборот, в настоящее время скорее увеличен в три или четыре раза.

Ввиду того, что Академия наук не высылает мне с 1917 года на содержание моего музея 16 000 франков (6000 зол. рублей), предусмотренных договором, я боюсь, что буду вынужден поместить свое собрание иначе, чем в Академии наук, но, надеюсь, все-таки, что Академия наук этого не допустит». Разумеется, не допустили, и даже не попеняли старику за то, что «пугает». 7 декабря 1922 г. Онегину были выданы 100 000 франков — за все время, на протяжении которого к нему не поступала «пенсия». Был заключен новый договор, и выпущено новое издание «Неизданного Пушкина» с исправлением неточностей.

23 марта 1925 г. на 81-м году жизни русский парижанин, «обломок былых времен», Александр Федорович Онегин скончался. Когда распечатали его завещание, выяснилось, что все имущество и сохранившийся у него капитал — около 600 000 франков — Онегин оставил Пушкинскому Дому. И еще Александр Федорович просил в завещании похоронить его без религиозных обрядов и без венков, скромно, «по шестому разряду», тело сжечь и пепел не сохранять. Это было исполнено в крематории кладбища Пер-Лашез.

Перевезти музей в Ленинград оказалось не так-то просто: французское правительство, не требуя пошлины за рукописи, обложило огромным налогом наследственный капитал, поскольку он был завещан не частному лицу, а иностранному государству. Размер налога специально обсуждал даже кабинет министров Франции. Не «съеденную» налогом часть денег пришлось потратить на упаковку и перевозку музея. Все это было выполнено безукоризненно — благодаря содействию находившегося тогда в Париже академика А. Н. Крылова и его секретаря. В виде «прощального салюта» русскому музею, 40 лет находившемуся в столице Франции, в Париже вышла в 1926 г. книга «Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания».

Один из сотрудников Пушкинского Дома, будущий руководитель рукописного отдела Николай Владимирович Измайлов рассказывал в своих недавно опубликованных воспоминаниях, как летом 1927 г. довелось ему получать в ленинградском агентстве Наркоминдела на Невском проспекте восемь огромных фибровых чемоданов с наиболее ценной частью онегинского собрания. Можно себе представить чувства пушкинистов, когда они открыли замки первого чемодана с восемью ручками и дополнительными ремнями, опоясавшими его вдоль и

поперек, и взорам их предстали рукописи поэта... Это и был час торжества Александра Федоровича Онегина, до которого он не дожил. В феврале 1930 г. в Пушкинском Доме открылась выставка собраний А. Ф. Онегина. К ней был выпущен специальный каталог.

Вот, кажется, и весь сюжет, который обязательно будет еще «доследован» и обрастет библиофильскими подробностями, поскольку именно в них вся суть увлекательнейшего и благородного дела, каким было и остается книжное собирательство.

И все же та жизнь и судьба онегинской коллекции, о которой знает теперь читатель, в известном смысле только начало, пролог. Ибо подлинный расцвет музея Александра Федоровича Онегина наступил позже, продолжается поныне и не окончится до тех пор, пока документы, книги, предметы прошлого, собранные им, будут, в сопоставлении со всем несметным богатством национальных рукописных, книжных и музейных хранилищ, служить науке. Редкая работа о Пушкине обходится без ссылок на бывшие экспонаты «музейчика». А коли так, не след забывать и того одинокого чудаковатого старика, «неидеального» героя, которому мы этим обязаны. Имя его — Александр Федорович Онегин.

*

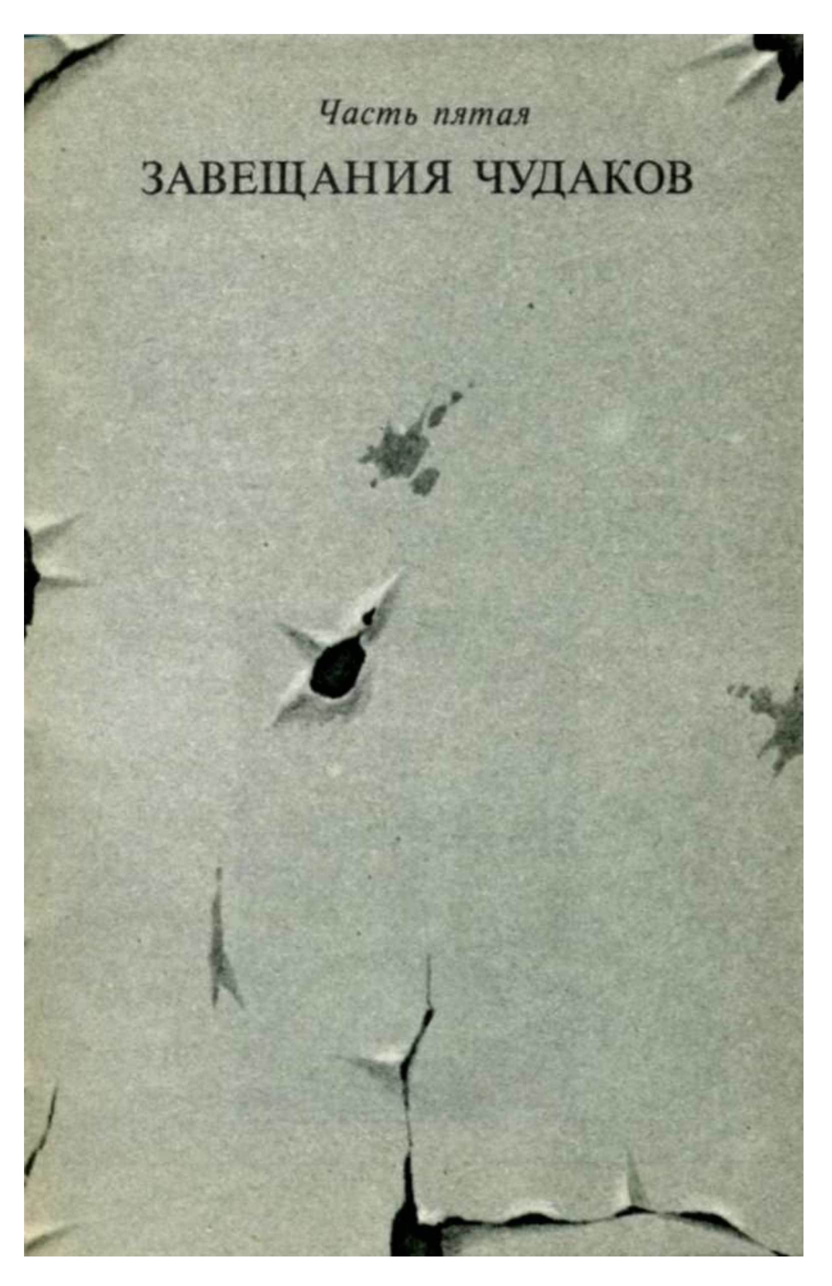
Здесь приоткрыты всего лишь две страницы истории русского книжного собирательства. Обратим внимание читателя на то, что объединяет обоих героев. Коллекционерские труды Д. П. Бутурлина (на склоне лет) и А. Ф. Онегина (всегда!) были окрашены в печальный колорит ностальгии. Всю свою любовь к оставленной родине, всю тоску по ней вложили они в собираемые библиотеки. У Бутурлина это была Rossica, у Онегина — пушкинская тема. Любовь к отечеству, выраженная в коллекциях книг и предметов искусства, — характерная черта русских людей, волею

судьбы надолго оторванных от родины. Назовем имена З. А. Волконской, А. Н. Демидова Сан-Донато, В. И. Касаткина, В. С. Печерина, С. П. Дягилева... И это относится отнюдь не только к знаменитым коллекционерам. Писатель Алексей Михайлович Ремизов, долгие годы проживший и умерший в эмиграции, вспоминал: «Никогда не забыть, как после России, где остались все наши книги, мы очутились в Берлине среди голых стен, и какое это было счастье — «Мертвые души», первая купленная книга за границей, положившая основание нашей бедной библиотеке...» Это и о них, библиофилах-эмигрантах, сказал Иван Алексеевич Бунин:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхого котомкой.



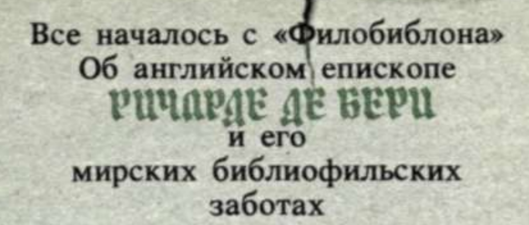


Часть пятая

ЗАВЕЩАНИЯ ЧУДАКОВ

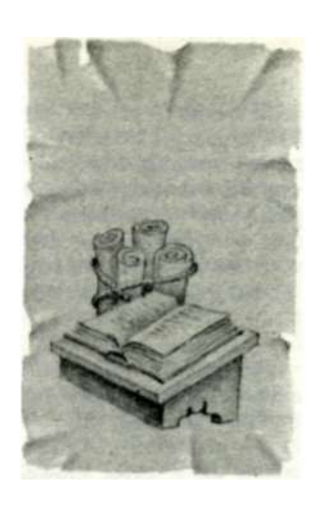


Библиотекарь



Все началось с «Филобиблона»
Об английском епископе
Ричарде де Бери
и его
мирских библиофильских
заботах


Франческо
Петрарка
ТО
Х
III
Оттиск печати
Ричарда де Бери



Епископ Даремский * Ричард де Бери был близок к концу пути. Бурная жизнь, полная почестей и тревог, королевских милостей и смертельных опасностей, постепенно становилась для него туманом памяти — и только. Даже дела епархии, неотступно занимавшие долгих двенадцать лет, странным образом мельчали перед мысленным взором. Богатства протекли между пальцами, обратившись в бесчисленные свитки и кодексы, заполнившие библиотечные залы замков, ему принадлежавших. Рукописи стоили недешево, да и жалованье переписчикам, неуклонно пополнявшим библиотеку епископа, влетало в копеечку. Он думал — не первый в истории — что пришла пора подвести итог всему прожитому, а значит — выяснить главное в ушедшей жизни и хоть в предсмертном завещании очистить истину от шелухи. Да и кто вспомнит его в грядущем, если сам он не позаботится о средстве, спасающем от забвения?

*

Другой вариант транскрипции названия английского города Durham: Дэрем.

Ричард де Бери писал *:

«В книгах для меня воскресают мертвые; в книгах мне открывается грядущее; в книгах повествуется о войнах; в книгах хранятся мудрые законы мира. Все на свете разрушается и чахнет от времени, и тех, кого рождает Сатурн, он же неутомимо пожирает. Вся слава земли была бы безвозвратно забыта, не позаботься всевышний о средстве спасения — о книгах.

Ни Александр, владыка земли, ни Юлий — покоритель Рима и мира, равно непобедимый в войне и в искусствах, отважившийся один править могучей империей, ни преданный Фабриций, ни непреклонный Катон — никто из них не жил бы в памяти людской, не помоги им в этом книги. Замки могут сравняться с землей, непобедимые некогда государства могут погибнуть. Не дано ни королям, ни папам увековечить себя так, как это будет сделано в книге. Однажды написанная, книга в благодарность дарует бессмертие своему автору: пока живет она, живет и он».

Английский библиофил перехитрил пап и королей: за несколько месяцев до смерти он создал трактат «Любокнижие» («Филобиблон»), который жив до сих пор. С ним жив и автор! Ричард де Бери похоронен в западном крыле кафедрального собора английского города Дарем. Мраморная плита над его могилой была разрушена временем и людьми. И вот, в нашем веке, в 1911 г., не церковники и не государственная власть, а библиофилы, объединенные в один из

*
Историки до сих пор спорят о том, существовала ли собственноручная рукопись трактата «Филобиблон». Вполне вероятно, что епископ диктовал свое единственное сочинение. Все цитаты из «Филобиблона» даем в нашем переводе с английского по изданию: Philobiblon Richard De Bury. The Text and Translation of E. C. Thomas Sometime Scholar of Trinity College. Edited with a foreword by Michael Maclagan Fellow of Trinity College. Oxford, 1960.

старейших книжных клубов «Общество Гролье» (США), воздвигли Ричарду де Бери новый надгробный монумент. Скульптору помогли сохранившиеся, хоть и нечеткие, оттиски с печатей епископа, запечатлевшие его внешний облик. Но куда четче и рельефнее можем мы представить себе внутреннюю сущность этого человека, создавшего письменный памятник самому себе и времени, в которое он жил, — первое библиофильское завещание, трактат «Филобиблон».

Удивительна судьба Ричарда де Бери — священнослужителя, носившего высокий сан, неограниченного властелина одной из крупнейших епархий на севере Англии, государственного деятеля (одно время — лорда-канцлера Англии), дипломата, не раз руководившего посольствами в Париж и Авиньон, — имя которого сохранилось в истории не столько благодаря всему этому, сколько благодаря неустанным трудам по собиранию книг и небольшому трактату о любви к книгам.

Трагична судьба его богатейшей книжной коллекции, завещанной Оксфордскому университету с тем, чтобы она стала общедоступной библиотекой. Несколько десятилетий книги, с превеликим тщанием собранные Ричардом де Бери, пролежали в ящиках нераспечатанными. В конце концов они рассеялись по рукам частных владельцев, сохранивших для нас лишь считанные экземпляры. Между тем это собрание по своему объему и систематичности способно было выдержать сравнение с библиотекой Сорбонны в то время.

Завидна судьба трактата Ричарда де Бери «Филобиблон». Он не сгорел на кострах инквизиции и не истлел в монастырских кладовых, а, переписанный во многих десятках экземпляров, сохранился до наших дней. Появившийся за сто лет до первых печатных книг, «Филобиблон» уже в 1473 г. был размножен типографским способом в Кельне и с тех

пор выдержал множество изданий, не только на языке оригинала (латинском), но и на английском, немецком, французском, испанском, каталонском, итальянском, польском, шведском языках. Неоднократно печатались фрагменты «Филобиблона» и по-русски.

Однако расскажем обо всем, пусть хоть коротко, но по порядку.

Дипломат. Епископ. Библиофил

Ричард д'Онжервилль родился 24 января 1286 г. в маленьком селении близ городка Бери, с монастырем Сан-Эдмундус, в английском графстве Суффолк. Предки его были выходцами из Нормандии, чем и объясняется французская фамилия епископа. Что касается прозвания де Бери, то его дал Ричарду, по обычаю тех времен, город, в котором он появился на свет. Так что правильнее было бы именовать первого библиофила-завещателя Ричард д'Онжервилль де Бери. Но «Филобиблон» разошелся по свету под именем де Бери. Значит, и нам остается так называть его автора.

Рано осиротевший (отца его звали также Ричардом, и был он норманским рыцарем), Ричард де Бери воспитывался под покровительством дядюшки по материнской линии — священника, обладавшего большими связями и состоянием. После окончания классической школы он был в 1305 г. определен в Оксфордский университет, который считал своей «alma mater». Потому и его завещание — дар Оксфорду — вовсе не случайно...

Отметим, что для историка книги жизнь Ричарда де Бери интересна прежде всего потому, что отражает весьма характерные цели, методы и итоги книжного собирательства. Причем хронологически Ричард де Бери был *первым* — если не первым собирателем книг, то, во всяком случае, первым, кто

о собирательстве подробно рассказал. Как увидим, отнюдь не все в его сочинении, написанном, казалось бы, в далеко ушедшую от нас эпоху, потеряло свою актуальность.

Однако наивно было бы думать, что англичанин XIV века, выпускник Оксфорда, избрал библиофильскую стезю как основную жизненную цель. Единственным признаком «странного будущего» Ричарда де Бери было его раннее, не по годам, стремление к обществу людей ученых, ведущих серьезные диспуты среди войн и пиров. По окончании университетского курса он готовился стать бенедиктинским монахом в Дареме, но судьба рассудила иначе: в 1321 г. Ричард де Бери был приглашен воспитателем к наследнику престола, будущему королю Англии Эдуарду III.

Он путешествовал со своим воспитанником и прививал ему вкус не столько к латам и алебардам, сколько к рукописной книжности, живописи и архитектуре. Как точно отметил в 1913 г. первый и единственный русский биограф английского библиофила В. Э. Крусман, даже доброе дело монархи вознаграждают из карманов своих подданных. В 1325 г. в благодарность за гуманные идеалы, внушенные наследнику, Ричард де Бери был назначен казначеем Честера, т. е. получил возможность на законном основании обирать народ в государеву и свою пользу. Еще через четыре года ему была предоставлена хлебная должность казначея английских владений во Франции — Гаскони и Гюйенн. В 1325 г. королева Англии Изабелла, направленная королем Англии с важными дипломатическими поручениями к ее брату — французскому королю, неожиданно вызвала в Париж сына и с ним приняла участие в заговоре против августейшего супруга Эдуарда II. Недавний воспитатель наследника Ричард де Бери, находившийся в Гюйенне, решил передать вверенную ему казну в распоряжение мятежной королевы. Послан-

ный из Англии отряд «охотился» за казначеем, спешившим в Париж к Изабелле. История этой погони и скитаний Ричарда де Бери, укрывавшегося на колокольне одной из церквей под Парижем, могла бы стать сюжетом историко-биографической повести, не менее увлекательной, чем приключения его покровителей в романах Мориса Дрюона. Но мы перейдем к делам библиофильским. Скажем только, что партия королевы и принца одержала решительную победу — король Эдуард II был низложен, а тринадцатилетний воспитанник первого европейского библиофила в 1327 г. возведен на престол. С тех пор, в течение 18 лет, почти до самой кончины, Ричард де Бери был одним из приближенных короля, видным политическим деятелем, дипломатом, сановником церкви. Хранитель малой, а потом большой королевской печати, лорд-канцлер Англии — глава судебных властей, Ричард де Бери 14 октября 1333 г. вступил в управление Даремской епархией.

Неверно было бы считать, что наш герой не пользовался служебным положением (применяя современную терминологию) в личных целях. Обладая властью миловать и казнить, обогащать и разорять, Ричард де Бери, увы, не чурался представлявшихся возможностей и даже взяток и подношений. Но что это были за подношения? Знаменитые борзые щенки судьи Ляпкина-Тяпкина меркнут перед высокими культурными устремлениями епископа Даремского (для XIV века, конечно!). Вот что сам он об этом пишет в главе VIII «Филобиблона»:

«...когда наступила пора нашего процветания и упал на нас благосклонный взгляд Его Величества, и мы были приняты ко двору, то появились у нас возможности пробираться всюду, куда бы мы ни пожелали, и охотиться во всех хранилищах, частных и публичных, мирских и монастырских, которые мы выбирали...

И действительно, когда исполняли мы разные по-

ручения триумфально царствующего короля Англии Эдуарда III — да продлит года его всевышний! — сначала при дворе Его Величества, а затем в должностях канцлера и казначея королевства, то получили мы милостью монаршей свободный доступ к книжным тайникам.

Стоустая молва о нашей страсти и вправду разнеслась повсюду, и все узнали, какой любовью к книгам, особенно древним, мы сгораем; поняли тогда, что легче заслужить наше благоволение рукописными свитками, нежели деньгами. И коль скоро милостью королевской могли мы покровительствовать и противодействовать людям знатным и незнатным, потекли к нам отовсюду не яства и драгоценности, не роскошные дары, а запыленные, грязные трактаты и порванные кодексы, несмотря на вид свой, ласкающие взор наш и сердце».

Итак, методы собирательства проясняются: в рамках своего времени и общественных нравов Ричард де Бери не упускал библиофильских возможностей.

А власть его, особенно на склоне лет, в Дареме была велика: он стал неограниченным владыкой епархии — с правом чеканить монеты, с широкими хозяйственными и военными полномочиями. К тому же здесь, на англо-шотландских рубежах, он был и стражем английской границы. Удивительно ли, что перед епископом склонялись головы непокорных и книжная дань стекалась к нему отовсюду?

Характерны его отношения с настоятелем монастыря Сан-Олбэно. Стремясь добиться редкостной в те времена привилегии — права судить собственных монахов, настоятель монастыря, сам — любитель литературы, преподнес в дар Ричарду де Бери четыре ценнейшие рукописи: Теренция, Вергилия, Квинтилиана, Иеронима против Руфина. Одновременно настоятель продал Ричарду де Бери за 50 фунтов серебром еще 32 книги. Половину суммы почтенный глава обители с церковной кротостью присвоил.

Остальные деньги обратил на нужды обители. Свое обещание Ричард де Бери тоже выполнил — монастырское начальство получило право арестовывать и судить монахов. Монастырский летописец приходит в ужас от этой сделки и с облегчением сообщает, что впоследствии де Бери возвратил некоторые книги монастырю (разумеется, предварительно приказав переписать их). Остальные книги были выкуплены капитулом Сан-Олбэно у душеприказчиков епископа по цене ниже прежней. В Британском музее и теперь хранится рукописный экземпляр сочинений Джона Солсбери, надпись на котором свидетельствует, что рукопись выкуплена у душеприказчиков Ричарда де Бери в 1345 г. Эта рукопись — одна из двух или трех, оставшихся от огромной библиотеки епископа Даремского.

Рассказанная история — лишь один из многочисленных примеров собирательской деятельности автора первого библиофильского трактата. Он вспоминал: «Отворились перед нашими взорами хранилища монастырей, распахнулись для нас шкафы, выдвинулись ящики, и книги, веками спавшие в тайниках, удивленные пробуждались и, скрытые дотоле в недоступных темных уголках, освещались ярким светом.... И мы узнавали в покрытых мышиным пометом, изъеденных червями рукописях некогда знаменитые творения великих мастеров. Облаченные прежде в пурпурные одежды, они теперь предстали перед нами в лохмотьях, посыпанные золой и покинутые всеми. И подолгу мы оставались среди них, ибо в них видели истинный предмет нашей страсти».

Ричард де Бери не ограничивался взиманием книжной дани с монастырей — он истратил на книги все свое состояние. Мы ничуть не преувеличиваем: в то время лишь очень богатый человек в Европе мог позволить себе иметь библиотеку, скажем, из 200—300 рукописей. А у епископа Даремского их было 1500! Не отличавшийся аскетизмом и задававший лукул-

ловы пиры (особенно в тех случаях, когда Эдуард III со свитой удостаивал его своим посещением), Ричард де Бери разорился все-таки именно на покупке книг, оплате переписчиков, переплетчиков и т. п. К чести его надо сказать, что епископ руководствовался принципом не «книги для денег», а «деньги для книг» и в этом смысле был предтечей скорее Филипса, чем Уайза. Он считал, что книгу нужно покупать во всех случаях, кроме двух: когда ее можно купить дешевле; когда продавец набавляет цену намеренно. Но это в теории, а практически Ричард де Бери развязывал кошелек при каждой встрече с книгой. Стоит ли после этого недоумевать, что одного из богатейших вельмож Англии не на что и даже не в чем было хоронить? Долги его частично возместили книгами.

*

Библиофилы любят путешествовать. Не только по шелестящим страницам, но и в буквальном смысле. Сколько дорог исхожено ими, сколько стоптано башмаков, сколько мозолей натерто в поисках книги, недостающей в коллекции! Разные это бывают странствия — от бесконечных походов по книжным лавкам и развалам большого города до перелетов на иной континент в XX столетии (вспомним охоту за «Метаморфозами» Овидия в повести о Филипсе!). Ричард де Бери волею своей бурной судьбы по меньшей мере четыре раза побывал в «книжной Мекке» тех времен — столице Франции. «Какой прилив счастья, — писал он, — ощущали мы, когда удавалось нам посетить Париж — рай на земле, и провести там свой досуг. Там великолепные библиотеки — более ароматные, нежели лавки пряностей; там цветущие сады самых разнообразных книг; там по лугам Академии ступают ученые мужи... Там мы не жалели денег и открывали кошелек с легким сердцем, и добывали из пыли и грязи книги, которым нет цены». Правда, в те годы, когда Ричард де Бери попал в Париж

впервые, его кошелек был слишком тощим для того, чтобы многие книги переплыли вместе с ним Ла-Манш. Зато он провел много часов в библиотеках, завел знакомства с книгопродавцами, познакомился с уставом Сорбонны, во многом отразившимся в «Филобиблоне», и наметил план «книжной охоты».

Не только дипломатическое, но и библиофильское значение имела миссия Ричарда де Бери в Авиньон, где в то время пребывал в так называемом «авиньонском пленении» двор папы Римского Иоанна XXII. Отправленное из Англии пышное посольство во главе с Ричардом де Бери успешно уладило финансовые проблемы и способствовало тем самым сближению короля Англии и папы Римского. Но здесь нам важно рассказать об одной встрече, ни малейшего отношения к дипломатии не имеющей. Дело в том, что то ли в авиньонской библиотеке, то ли еще где-нибудь в этом городе Ричард де Бери познакомился с молодым каноником и книжником, будущим великим поэтом итальянского Возрождения Франческо Петраркой. Библиофильские взгляды Петрарки, сформировавшиеся позднее, тот культ книги — орудия разума, который характерен для гуманистов Возрождения, по мнению некоторых исследователей, в какой-то мере восходят к общению двух библиофилов в Авиньоне в 1333 г. Встреча была мимолетной: высокопоставленный английский посол был занят делами государственными. Беседовали, главным образом, по частному поводу. Петрарка задал своему английскому знакомцу вопрос о географическом положении острова Туле — самого северного обитаемого участка суши во времена Александра Македонского, находившегося, по преданию, у берегов Англии *. Но предоставим слово самому Петрар-

*

Туле (Фуле) — этот остров (действительный или мнимый) был описан географами в 4 в. до н. э. и вошел в историю под названием Крайнее Туле — т. е. северный предел обитаемой земли.

ке, письмо которого одному из друзей служит документальным подтверждением его встречи с «человеком огненного духа», посвятившим себя «поискам неизвестных вещей непонятными способами»:

«С бывшим английским канцлером Ричардом была у меня серьезная беседа об острове Туле. Он сказал мне, что рассеет мои сомнения об этом предмете, как только будет дома со своими книгами, а никто не имеет такой громадной библиотеки, как он». Итак, Петрарка знал о библиотеке первого английского библиофила из его собственных уст. Поэтому вполне вероятным представляется предположение биографов Петрарки, что авиньонская беседа с Ричардом де Бери была для него толчком, вызвавшим к жизни теорию «книжного очарования». Во всяком случае, некоторые пассажи «Филобиблона» и высказывания Петрарки на библиофильскую тему поразительно совпадают. Приведем единственный пример.

Ричард де Бери

Какое огромное благо для ученых скрывается в книгах! Как легко и откровенно доверяем мы книге тайну своего невежества! Книги — учители, наставляющие нас без розог и линейки, без брани и гнева, без уплаты жалованья натурой или наличными. Подойдешь к ним — они не дремлют, спросишь их о чем-нибудь — они не убегают, ошибешься — они не насмехаются.

Франческо Петрарка

Я имею друзей, общество которых для меня чрезвычайно приятно... Доступ к ним исключительно легок и всегда они к моим услугам; я принимаю их или отказываюсь от их общества тогда, когда мне это угодно. Они не беспокоят меня и всегда готовы ответить на любой вопрос, заданный им мною...

Тезисы «книги — друзья», «книги превыше золота и драгоценных камней», «книги — спасение от войн» и многие другие — общие для обоих авторов. Наконец, общим было их намерение оставить свои биб-

лиотеки как основу будущего публичного книгохранилища. Тут Ричард де Бери опередил Петрарку на два десятилетия. Но кто знает, не обсуждалась ли эта тема в Авиньоне в 1330-х годах? Теперь мысли Ричарда де Бери и Петрарки кажутся самоочевидными: в той или иной форме они повторены тысячи раз. Но не забудем, что создатели «теории книжного очарования», англичанин и итальянец, жили в XIV веке — до Гутенберга!

Что же касается вопроса об острове Туле, то ответа на него Петрарка так и не получил. В цитированном письме Петрарка продолжает: «Быть может, он это действительно сделал (ответил. — *В. К.*), но письмо его затерялось; быть может, не хотел он обнаружить передо мною своего незнания; быть может, — чего я не думаю, — не хотел выдать мне этой тайны. После его отъезда я часто обращался с письмами по указанному им адресу, но он упорно молчал. Быть может, он ничего не нашел; быть может, отвлекло вновь полученное епископство своими заботами...» Да, с библиофильскими «коммуникациями» во времена Петрарки было не так просто, как во времена Филипса, не говоря уже о временах Уайза. Видимо, потомкам не суждено узнать, где оборвалась нить и почему обязательный англичанин не ответил любознательному итальянцу.

*

Не только собственные путешествия, но и чужие сумел епископ Даремский поставить на службу библиофилии. Не без остроумия он воспользовался услугами странствующих монахов, составлявших в то время немалую часть духовенства. И монахи уж если не приносили какой-нибудь волновавшей библиофила книги, то, по крайней мере, подробно рассказывали о ней. А Ричард де Бери находил тогда иной способ добыть сокровище и в конце концов становился его обладателем. По-видимому, из числа бродячих слу-

жителей господних образовался и обширный штат переписчиков, иллюстраторов и переплетчиков, который содержал Ричард де Бери в своих замках.

О его взаимоотношениях с монахами странствующих орденов рассказано в главе VIII «Филобиблона»: «Хотели бы мы поведать еще об одном удобном пути, по которому множество книг, старых и новых, стекалось в наши руки. Мы ведь не презирали никогда нищих монахов, побиравшихся Христа ради в разных краях земли, и от души раскрывали им свои объятия. Любезностью и дружбою своею и щедрыми дарами во имя божье мы снискали их уважение... Для этих людей мы были прибежищем во всех их горестях, никогда не отказывая им в гостеприимстве и в благосклонности нашей. Зато и мы находили в них самих старательных исполнителей наших желаний. Обходя моря и земли, они повидали весь мир, посещали университеты и иные школы в разных местностях, всюду стремясь блюсти наши интересы в надежде на вознаграждение. Какой заяц ускользнул бы от столь зорких охотников? Какая рыбешка уплыла бы от их удочек и от их сетей? Фолианты Священного писания и маленькие книжечки с недавно появившимися софизмами — ничто не скрылось от их пристальных взоров».

Как видим, нищие монахи оказывали услуги епископу-библиофилу не столько из бескорыстных побуждений, сколько в надежде на щедрое воздаяние. И воистину — в любом из его замков они находили и стол, и дом, и мзду за приносимые свитки и кодексы. Эта армия дорого обходилась епископу, но само по себе его начинание, небывалое в истории книжного собирательства, представляет несомненный интерес.

Также едва ли не первым Ричард де Бери открыл способ самостоятельных — без провожатых — путешествий книг (средневековая «книга — почтой»!) по заранее обусловленным контрактам с книгопродав-

цами. «Познакомились мы и с книгопродавцами, — рассказывал о н , — не только с теми, что живут в нашей стране, но и расселенными в границах Франции, Германии, Италии. Мы охотно шли навстречу их требованиям, высылая им деньги. А тогда уж ни расстояние их не удерживало, ни страх перед морем не пугал. И ничего они не жалели, чтобы прислать или привезти нужные нам книги, ибо знали, что за нами не пропадет, и за все им воздастся с избытками».

Молва о причудах епископа, готового платить за старый пергамен, разнеслась достаточно широко. Люди разного звания, ставшие обладателями рукописей, спешили к нему. «И принимали мы рукописные подношения, — говорит о н , — заботясь о том, чтобы вознаграждение ранее прибывших не отвращало наше внимание от тех, кто подоспел позже. Плата, данная нами накануне, никак не умаляла ту, что требовалось вручить принесшим книгу сегодня. Благодаря этому, пользуясь посетителями как магнитом для притяжения книг, мы и добились заполнения домов наших сосудами знания и увидели, как прилетают к нам прекраснейшие из рукописей». Между прочим, благодаря этому, в близком окружении епископа оказывались не только знатные, равные ему по положению, но и простые люди.

Такие вот неусыпные библиофильские усилия кончились тем, что к исходу жизни у Ричарда де Бери было больше книг, чем у всех английских епископов вместе взятых.

Каталог библиотеки, над которым Ричард де Бери трудился в последние годы жизни, до нас не дошел. Предположительный, но достаточно вероятный состав его библиотеки историки устанавливают по упоминаниям имен авторов в «Филобиблоне» и в книгах друзей Ричарда де Бери, написанных в тот период, когда они работали в его библиотеке. Из этой реконструкции следует, что у епископа были книги не

только на латыни, но и на древнееврейском и арабском языках (он, например, упоминает трактат Авиценны). Греческих книг было немного, поскольку Ричард де Бери, как и Петрарка, по-гречески не знал. Даже обожаемого им Аристотеля, каждое суждение которого было для него аксиомой, епископ читал по-латыни.

Древняя классика, толкования Священного писания, сочинений отцов церкви, философов составили значительную часть библиотеки де Бери. Он, правда, не гнушался и произведениями античных поэтов (Гораций, Овидий, Марциал), что довольно неожиданно для английского священника XIV века. Тщательно подбирал грамматики и словари многих языков. Литературу по вопросам права де Бери совсем не собирал, как бы выводя ее за рамки понятия «книга» (свое отношение к этому предмету автор «Филобиблона» обосновал в главе XI трактата). Труднее всего установить, какие произведения новых авторов, кроме сохранившейся книги Джона Солсбери, были в коллекции де Бери — ссылки на эти книги в «Филобиблоне» не делались, авторы не упоминались. Между тем, несомненно, новейшие книги составляли немалый раздел в библиотеке епископа Даремского. По численности этот раздел мог быть и самым большим, ибо только в первой половине XIV века на книжный рынок Европы поступило около 10 000 новых книг.

Библиофильская деятельность стала настолько важной в жизни Ричарда де Бери, настолько овладела его душой, до такой степени вытеснила дела государственные и церковные, что, заболев в 1342 или 1343 г., епископ Даремский принялся за свое оригинальнейшее завещание и объяснение смысла человеческой жизни — трактат «Филобиблон». Это были и его мемуары, и его исповедь. Но «Филобиблон» отразил еще одну особенность де Бери-библиофила. Епископ не был книжным скопидомом и не

склонен был в одиночестве посвящать свои досуги ветхим томам. Скорее, наоборот, — он был родоначальником не только библиофильской литературы, но и своеобразного библиофильского коллективизма, породившего и по сей день порождающего бесчисленные собирательские кружки, общества, клубы, печатные труды. За столом епископа в Дареме и другой его резиденции — Окленде собиралось изысканное общество знатоков книг и наук. Хозяин, не будучи крупным ученым, а, скорее, практиком-собирателем, оказывался чаще в роли слушателя диспутов. Из всего этого следует, что в определенном смысле первый библиофильский трактат был сочинением коллективным. Во всяком случае, многие мысли, записанные Ричардом де Бери (или под его диктовку), почерпнуты им в беседах с просвещеннейшими людьми века. Мы намеренно обходим здесь вопрос, дебатирующийся в разноязычной литературе о де Бери: есть ли доказательство, что именно он был автором «Филобиблона»? Если даже усомниться в принадлежности всей «ученой» части трактата, то останется, так сказать, часть «библиофильско-психологическая», которая не могла в то время принадлежать никому другому; что касается вклада ученых друзей Ричарда де Бери, в частности доминиканца Роберта Олкота, то этот вклад мог быть значительным.

Изнуренный долгой мучительной болезнью, предчувствуя скорую кончину, епископ спешил записать самое важное из своего жизненного опыта. Он успел это сделать, но рассказал не о королях и папах, не о карьере и фортуне, а о своей единственной любви — книгах.

Это поразительный факт, если вспомнить, что автор трактата, как мало кто другой из его современников, знал императорские дворы Эдуарда III и Людовика XI, был обласкан авиньонским изгнанником папой Иоанном XXII, отвез во Францию королев-

ское послание, открывшее — вопреки устремлениям самого посла — Столетнюю войну. Ему было что рассказать потомкам. Он выбрал самое главное.

Что завещал Ричард де Бери?

Пусть не удивляется читатель неожиданной актуальности главного завета Ричарда де Бери и не сочтет его анахронизмом — автор «Филобиблона» завещал бороться за мир против войны: «О всемогущий создатель и миротворец! Прокляни тех, кто находит наслаждение в войнах — самом страшном бедствии книг. Войны, неподвластные разуму, превращают в прах все на своем пути. Сами бессмысленные, они безо всякой осторожности и разбора уничтожают то, что полно высокого смысла...

Бесконечны страдания, причиненные книгам войнами. И не будучи в силах исчислить все горести наши, мы обращаемся с великой мольбой к могущественному Вершителю всего на земле: да будет мир, да исчезнут войны!» Этот горячий призыв произносится как бы от имени самих книг.

Слово о мире, произнесенное автором «Филобиблона», не слишком расходилось с его делами. Не раз удавалось ему при помощи искусных дипломатических маневров оттягивать неизбежный военный конфликт с Францией; в 1340 г. король отправил его парламентером к шотландцам, и вскоре был заключен мир; последнюю миссию такого рода Ричард де Бери выполнил в 1342 г. Как отмечал его английский биограф Э. Ч. Томас, он менее всего походил на полусвященника-полусолдата — тип весьма характерный для средневековья.

Четыре главы «Филобиблона» (IV—VII) написаны в своеобразной форме «книжных жалоб». Именно в этой части трактата, пожалуй, наиболее заметно проявилось художественное дарование автора. Ричард де Бери обнаруживает характерный английский

юмор, едкий сарказм, а порою и тонкую иронию. А ведь «Филобиблон» написан за 350 лет до Джонатана Свифта! На что же жалуются книги? О горчайшем из бедствий — войнах, приносящих гибель не только людям, но и книгам, уже говорилось. Но книги бьют челом и на своих владельцев — церковников, которые ученостью обязаны им, книгам, но платят за это черной неблагодарностью: не берегут драгоценные сосуды знания.

Итак, слово предоставляется книгам:

«Поведаем же кое-что об унижениях, которым нас подвергают, о муках и страданиях, выпавших на нашу долю. Увы, мы не можем перечислить даже главнейшие из наших несчастий и едва ли в состоянии назвать основные их виды. Во-первых, силой и оружием выгоняют нас из монастырских келий, по наследственному праву нам принадлежащих. Прежде мы свивали там свои уютные гнезда. Но увы! В нынешние несчастные времена мы высланы оттуда, терпим нищету и лишения. Прежние пристанища наши заняты то соколами, то двуногой бестией, сожительство с которой издревле запрещалось священникам.

Мы ведь всегда призывали наших учеников избегать ее пуще ядовитой змеи и дракона, ибо она, эта бестия, вечно ревнующая к нам и ничем не умиротворимая, едва завидев нас в каком-нибудь углу под слабой защитой паутины, хмурит брови, унижает и поносит нас бранными словами. И доказывает, что лишь от нас одних в хозяйстве никакого проку, и требует обменять нас скорее на шелк или сандалии, шляпы или ткани, мех или шерсть. И она убедилась бы в нашей вражде к ней, если бы заглянула в наши сердца, если бы подслушала наши тайные думы.

(Собственное отношение к женщине, вполне объяснимое применительно к эпохе и сословной принадлежности автора, Ричард де Бери перенес в жало-

бу книг. Впрочем, вплоть до XIX столетия в библиофильской литературе дебатировался вопрос: «может ли женщина быть библиофилом?» — *В. К.*)

Вот почему приходится нам горько рыдать о доме, откуда нас изгнали, печалиться о своих одеждах — не о тех, которых мы заслуживаем, но хотя бы о тех, которые у нас были, но сорваны грубою рукой — так что внутренности наши покрыты пылью и красота наша поругана. Тело наше терзают различные хвори, ноют наши спины и бока, мы лежим, разбитые параличом, и никто не пожалеет о нашей участи, и никто не приложит к ранам нашим целебный пластырь. Куда исчезла первозданная белизна и чистота наша? Мы потемнели и пожелтели, и любой медик сразу определит у нас желтуху. Многие из нас больны подагрой — об этом говорят наши изувеченные суставы. Дым и грязь, вечно отравляющие нас, притупили остроту нашего зрения и воспалили глаза наши...»

Ужасны физические мучения книг, но во сто крат ужаснее мучения нравственные (не забудем, что литературная форма этих глав «Филобиблона» подразумевает, что книги — существа одушевленные). Особенный гнев страдальцев вызывают не явные враги их — пыль, грязь, огонь, вода, крысы, книжные черви и т. д.; даже не «двуногая бестия», столь сурово осужденная книгами, а враги, скрывшиеся под маской друзей. Это недобросовестные переписчики, пропускающие важнейшие мысли авторов; переводчики, по невежеству своему способные лишь надругаться над оригиналом; злокозненные комментаторы, вольно или невольно искажающие смысл книг. Автор «Филобиблона» стремится подчеркнуть чистоту и совершенство творений античной философии и литературы, которые, как он убежден, оскверняются современными ему учеными.

Кого винить во всем этом? Де Бери отвечает: прежде всего священнослужителей, забывших о сво-

ем долге оберегать книги — самое святое, что есть на земле! — от мучений духовных и телесных. В жалобах книг (гл. IV) духовные страдания описываются так:

«Расскажем теперь об иных горестях, которые губят и нас самих, и славу нашу — высшую драгоценность, которая у нас есть. Чистота крови нашей с каждым днем уменьшается, имена истинных авторов наших вытесняются именами злонамеренных переписчиков, переводчиков и обработчиков. Утрачивая свое древнее первородство, мы в новых и новых поколениях все более хиреем, пока не становимся выродками. Против воли нашей нас называют именами отчимов, и дети лишаются имени отцов.

Уж если нас исправлять, то следовало бы делать это с преданностью и старанием. Нас же вручают предателям переписчикам, которые вкладывают в нас иной смысл, убивают нас своим лечением, полагая, что исправляют текст с благими намерениями.

Нередко приходится нам страдать от варваров-переводчиков, да еще от тех, кто, не зная иноязычных слов, отваживается переводить нас с одного языка на другой. Речь наша тогда становится сбивчивой, а смысл — о стыд! — противоположным тому, что вложил в нас автор».

Итак, первый завет де Бери — беречь книгу (в самой широкой трактовке этого понятия). Быть может, автор «Филобиблона» несколько преувеличил опасности, подстерегающие книги за каждым углом; быть может, он несколько приуменьшил заслуги своих ученых современников, но его глубочайшее уважение к плодам разума человеческого, его трогательная и преданная любовь к книге восхищают и сегодня — через 640 лет после создания «Филобиблона».

*

«Филобиблон» первоначально был задуман только как завещание, как своеобразное наставление для

пользующихся библиотекой, которая, как мечтал епископ, после его ухода от живых, станет вечным достоянием студентов Оксфорда. Сама по себе эта идея надолго опередила историю. Ни Ричарду де Бери, ни вслед за ним Петрарке выполнить это намерение не удалось. Прошло сто лет прежде, чем итальянские библиофилы-гуманисты воплотили в жизнь мечту своих предшественников. «Филобиблон», как мы знаем, далеко перерос значение завещания или наставления и превратился в произведение многоплановое и сложное по жанру. Ричард де Бери задался целью, как он пишет, оправдать свою всепоглощающую страсть к книгам в глазах тех, кто считает ее недостойной. Он чувствовал, что недостаточно передать людям сами книги, нужно еще поселить в их сердцах любовь и уважение к книгам. Но последние четыре главы (XVII—XX) трактата, по существу, так и остались завещанием-инструкцией.

Оставляя коллекцию оксфордским студентам, Ричард де Бери счел необходимым обратиться к ним с предостережениями, которые могли оказаться небесполезными (в XIV веке, разумеется!). Приведем из этой главы (XVII) обширную выдержку, имеющую, как сказано, лишь исторический интерес.

«Почитаем мы своим долгом предостеречь наших студентов от многих ошибок, которых легко избежать, но которые наносят непоправимый вред книгам.

Сначала о том, как открывать и закрывать книги. Не надо распахивать их с излишней поспешностью или отшвыривать не закрытыми, когда закончишь читать. Ибо о книге надо заботиться нежнее, чем о сапоге! Но школяры наши дурно воспитаны, и, если старшие не будут держать их в ежовых рукавицах, от них можно ждать любых шалостей. Они ведут себя с излишней независимостью, судят обо всем с бесконечной самоуверенностью, а между тем не обладают и крупицей опыта.

Вы можете увидеть какого-нибудь молокососа, лениво склонившегося над книгою, и если мороз крепко пробирает в тот день, то с носа его каплет холодная роса, а он не догадывается употребить носовой платок, пока не окропит лежащие перед ним листы отвратительной жидкостью. Не книгу бы такому вручать, а передник сапожника! Под ногтями его зловонная грязь, черная, как сажа. И таким-то ногтем отчеркивает он отрывки, удостоившиеся его внимания. Он распихивает бесчисленные соломинки между разными страницами книги, чтобы они торчали наружу и помогли запомнить то, что не в состоянии удержать его память. Но у книги нет желудка, чтобы переварить солому, и никто не освобождает ее от этого сора. Тогда книга пухнет, а забытая в ней солома гниет.

Он, этот юнец, склонясь над книгой, не стесняется жевать фрукты или сыр, а то беззаботно потащит ко рту чашку. У него нет мешка для отбросов, и потому все объедки оказываются на раскрытой странице. Вечно болтающий, он не устает спорить с приятелями и, пока он извергает тьму бессмысленных слов, книга покрывается слюною, брызжущею изо рта его. Ну а затем, скрестив руки, он кладет голову на книгу, и короткое учение сменяется долгим сном. Проснувшись, он пытается расправить образовавшиеся на книге складки и при этом перегибает ее, подвергая смертельной опасности.

Но вот проходит пора дождей, и цветы распускаются на нашей земле. Тогда школяр, о котором мы повествуем, — скорее губитель, чем хранитель книги, — набивает свой фолиант фиалками и примулами, розами и четырехлистником. То он хватает книгу потными руками, то пятнает пергамен перчаткой, покрытой всеми сортами грязи, и водит по строкам пальцем, обтянутым замусоленной кожей. А потом найдет на него какая-нибудь блажь, и бесценная книга отлетит в сторону, где пролежит забытая, мо-

жет быть, месяц, пока в нее не набьется столько пыли, что ее невозможно будет закрыть.

И все же наибольший вред книгам наносят те потерявшие совесть молодчики, которые, едва выучив грамоту, при первой возможности превращаются в бестолковых комментаторов. Стоит им увидеть в книге широкие поля, как они тотчас украшают их либо уродливыми пометами, либо какой-нибудь фривольностью, пришедшей им в голову. Здесь и латинист, и софист, а то и просто невежда упражняет свое перо. Сколько видели мы прекраснейших кодексов, изуродованных подобным образом.

Есть и воры, которым приятно надругаться над книгой. Они отрывают поля, оставляя лишь текст, а пергамен используют для писем. Или вырывают и употребляют для своих нужд вплетенные в книгу и оберегающие ее от порчи чистые листы. Такое преступление должно быть запрещено под угрозой анафемы!»

Сатирик то и дело становится в этих главах «Филобиблона» памфлетистом. Но при всем том автору трактата следует отдать должное и как одному из первых европейских библиотековедов. В «Филобиблоне» — не только насмешка над невеждами, но и советы по содержанию библиотек и читальных залов. Однако главная библиотековедческая заслуга Ричарда де Бери все же не в морально-этических поучениях, а в том организационном плане устройства публичной библиотеки, который он выдвинул в своем трактате-завещании.

Ричард де Бери надеялся, что после его смерти в Оксфорде будет открыт специальный колледж-библиотека, где разместятся его книги, доступные каждому студенту. Есть сведения, что епископ вел об этом переговоры с королем, но, видимо, не завершил их. Во всяком случае, в главе XIX «Филобиблона» название будущего колледжа обозначено литерой N.

В XIV веке проблемы хранения книг, условия их выдачи на дом, разработка правил пользования книгами в читальных залах становились актуальными для ряда университетских центров Европы. В университетах появлялись первые профессиональные библиотекари — «стационарии», которые вместе с переписчиками, переплетчиками и т. д. составляли новый по тем временам штат «служителей книги». Как уже говорилось, Ричард де Бери был знаком с уставом библиотеки Сорбонны. Он скопировал его, но далеко не во всех деталях.

По правилам, разработанным в «Филобиблоне», за хранение и выдачу книг должен был отвечать выбираемый самими студентами капитул (совет) из пяти лиц. Пользоваться книгами, имеющимися в одном экземпляре, допустимо только в помещении библиотеки. Выдавать на дом разрешалось лишь дублеты, да и то под большой залог. Вдобавок при самом акте выдачи обязаны были присутствовать не менее трех членов совета. Де Бери заготовил текст обязательства будущих абонентов библиотеки (новаторство, которое теперь стало во многих библиотеках нормой). Книгу нельзя было задерживать долее указанного в обязательстве срока. Были предусмотрены суммы денежного возмещения за утерянную или испорченную книгу. Предполагалась ежегодная строжайшая ревизия библиотечного фонда.

Правила, выработанные де Бери, не покажутся излишне строгими, если напомнить, что даже в Сорбонне в то время 330 наиболее ценных томов прикреплялись к полкам цепями. Автор «Филобиблона» такой меры в Оксфорде не предусматривает. Ричард де Бери хотел, чтобы «эти книги все до единой стали навеки общим достоянием».

Несравненную радость ощутил епископ Даремский, когда в 58-й свой день рождения, 24 января 1345 г., завершил беспримерный трактат-завещание, панегирик книгам и трогательное объяснение в люб-

ви к ним. Готовясь перейти в мир иной, он восхищенным взором мечтателя видел прекрасное здание колледжа N, поднявшееся среди зеленых лужаек Оксфорда, и слушал чутким ухом тишину библиотечного храма, наполненного лишь шелестом страниц, который казался автору «Филобиблона» сладчайшим гимном книге.

Увы, реальность оказалась безжалостной к завещателю, хотя сам он об этом никогда не узнал. Точных данных о судьбе его книг нет. Сообщим вариант, наиболее распространенный в литературе. Чуть ли не в последние дни жизни епископа или сразу после его смерти книги были отправлены из его поместий в бенедиктинский монастырь в Оксфорде, где лежали нераспакованными более полустолетия. Затем в начале XV в. они были переданы в Даремский колледж в Оксфорде и там, если верить преданию, наконец вынуты из ящиков и прикреплены к доскам в книгохранилище (чего как раз не хотел де Бери). Однако еще сто лет спустя этот колледж вызвал высочайший гнев короля Генриха VIII и был уничтожен (на его месте теперь Тринити-колледж). Библиотека колледжа, основной фонд которой составляло наследство Ричарда де Бери, разошлась по рукам многих владельцев. Часть книг попала к принцу Хэмфри, другая в Боллиол-колледж, третья — к медику Дж. Оуэну, купившему земельный участок Даремского колледжа. Несомненно, многие рукописи из библиотеки Ричарда де Бери погибли под ножом переплетчиков, набивавших бумажным хламом новые переплеты, другие утратили всякие признаки владельческой принадлежности и не распознаются более как принадлежавшие именно ему. Так и получилось, что Британский музей и Бодлеана хранят только по одной рукописи из библиотеки епископа Даремского. Остальные рассеяло время.

Однако поистине «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»! «Филобиблон», вовсе не пред-

назначенный автором (чуть не написал — «для печати», но Ричард де Бери не знал, что такое «печать»!) для массового распространения, пережил епископа на века и приобрел популярность едва ли не всемирную. Он избежал военных пожаров и костров инквизиции, не стал жертвой людской забывчивости и небрежения, в многочисленных списках разойдясь по Европе. Семь из них хранятся в Британском музее, по два — в Брюсселе и Мюнхене, по одному — в Дареме, Базеле, Риме, Венеции, Копенгагене, Геттингене.

Уже в 1353 г. отрывки «Филобиблона» были использованы в университетском уставе Оксфорда. «Филобиблон» дожил до эпохи печатной книги и теперь уже не подвластен смерти. Более шести веков продолжается его шествие через времена и страны.

20 тысяч слов о любви к книге, написанные епископом Даремским, начиная с 1473 г. издавались 35 раз на 10 языках! Первым и вторым изданием «Филобиблона» в латинском оригинале гордятся библиофилы и типографщики Германии (1473 и 1483 гг.). Эти инкунабулы представляют теперь исключительную ценность, и каждая находка такого экземпляра — сенсация. Начиная с 1500 г., когда в Париже появилась перепечатка анонимного кёльнского издания 1473 г., впервые сообщившая и некоторые сведения об авторе, Ричарда де Бери стали считать «отцом европейской библиофилии».

Перевод «Филобиблона» на английский язык появился в 1832 г., французский в 1856, немецкий — в 1912, каталонский — в 1916, польский — в 1921, шведский — в 1922, испанский — в 1927, итальянский — в 1954 г. В Соединенных Штатах Америки в XIX—XX вв. «Филобиблон» издавался шесть раз.

На своем пути к читателям «Филобиблон» встретил нескольких крупных ученых, которые с большим знанием дела переводили, комментировали и пропагандировали его, выясняя при этом обстоятельства

жизни и библиофильских трудов Ричарда де Бери. Подлинным энтузиастом и подвижником изучения трактата о любви к книге был англичанин Эрнст Честер Томас (1850—1892). Всю жизнь он отдал подготовке научного издания «Филобиблона», увидевшего свет в 1888 г. Томас изучил и сопоставил несколько десятков сохранившихся списков «Филобиблона» и, воссоздав на этой основе вариант латинского первоисточника, выполнил точный и яркий перевод его на английский язык. Разыскания Томаса до сих пор служат источником сведений о жизни Ричарда де Бери и подспорьем для переводчиков трактата.

Традиция изучения и перевода «Филобиблона» в нашей стране также достаточно прочная. Впервые отрывки этого сочинения на русском языке появились в 1914 г. в переводе В. Э. Крусмана. Однако и раньше у нас знали «Филобиблон» в оригинале и французском переводе, о чем свидетельствуют ранние издания, имеющиеся в фондах наших крупнейших книгохранилищ и зафиксированные в каталогах некоторых частных библиотек (например, у С. А. Соболевского). В 1915 г. Крусман опубликовал научный труд «У истоков английского гуманизма», в значительной степени посвященный Ричарду де Бери. В 1929 г. в «Альманахе библиофила», изданном Ленинградским обществом библиофилов, появились обширные выдержки из ряда глав «Филобиблона» в переводе выдающегося историка и книговеда Александра Иустиновича Малеина. Наконец, в наши дни издательство «Книга» выпустило в свет первый полный, научно комментированный перевод сочинения Ричарда де Бери, выполненный Я. М. Боровским.

*

При жизни Ричарда де Бери, да и в последующие века, многие не понимали смысла его собирательских увлечений, считая их необъяснимой прихо-

тью чудака, который, как это ни смешно, «предпочитал тяжелый фолиант фунту стерлингов, пыльный кодекс — сверкающему флорину, тонкую книжечку — пышному выезду». Таким непонимающим Ричард де Бери отвечал: «Наши хулители подобны слепцам, рассуждающим о красках. Летучие мыши не должны судить о дневном свете... Они не должны насмехаться над тем, что им неведомо, и беседовать о том, что им недоступно».

Ричард де Бери первым показал значение библиофилии в культурной жизни. Он первым обдумал и записал в «Филобиблоне» мысли о том, что значат для человека книги. Его трактат — старейшая работа по библиофилии, до нас дошедшая, — открыл собою огромную, увлекательную литературу. Соотечественник епископа, автор «Записок о Шерлоке Холмсе» Артур Конан Дойл заметил как-то: «Говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы это ни привело». Есть смысл с благодарностью вспомнить того, кто заговорил о них первым.



КАРДИНАЛ
и
БИБЛИОТЕКАРЬ

О том, как
ГАБРИЕЛЬ НОДЕ
собрал библиотеку,
названную именем
Джулио Мазарини





Библиотека Мазарини. Зал Ноде

Джулио Мазарини

Экслибрис Библиотеки Мазарини

Автограф Габриеля Ноде



Что поделаешь — кардиналов история запоминает лучше, чем библиотекарей, как порой меценатов лучше тех, кому они покровительствуют. Кардиналы богаты, библиотекари бедны. Кардиналы пекутся о будущей славе, библиотекари заботятся только о книгах и читателях...

30 января 1644 г. парижская «Газет де Франс» сообщила о том, что первый министр Франции кардинал Джулио Мазарини «превратил свой роскошный дворец в Академию для всех ученых, которые имеют право еженедельно по четвергам пользоваться прекраснейшей из библиотек, созданных человечеством». Исполненный благородных намерений, кардинал повелел библиотекарю Габриелю Ноде и его помощнику каждый четверг открывать двери библиотеки «любому, кто пожелает в них войти», и выдавать посетителям «любые книги по любым вопросам, которые их заинтересуют». Ноде приказано было также щедро делиться с посетителями своими «единственными в мире» библиографическими познаниями, если они затруднятся поиском необходимых им источников.

С той поры прошло без малого три с половиной века. Но Библиотека Мазарини, созданная Ноде, — правда, совсем в другом составе, в другом здании и уже не самостоятельно, а как часть Национальной библиотеки Франции, — существует и славится на весь мир. Не изменилось в ней только одно — имя основателя; она так и называется Библиотекой Мазарини. Первый министр Людовика XIII, потом королевы-регента Анны Австрийской, а затем и «короля Солнце» Людовика XIV Джулио Мазарини и вправду дал деньги на покупку книг и благосклонно одобрил невиданно смелый для того времени и детально разработанный план общедоступного книгохранилища, представленный ему библиотекарем. И никому в голову не приходило называть это изумительное царство книги именем его подлинного создателя Габриеля Ноде.

Не то чтобы Франция вовсе забыла Ноде — оригинальный мыслитель (последователь Монтеня, как его иногда называют), первый теоретик и умелый практик библиотечного дела, известный в свое время медик, он занимает почетное место — но лишь в исторических трудах. В нынешнем парадном зале Библиотеки Мазарини рядом с изображениями знаменитых ученых и писателей можно увидеть скульптурный портрет Габриеля Ноде. И все же, когда знакомишься с удивительной историей этого книгохранилища, невольно думаешь, не следовало ли поступить наоборот: в. Библиотеке имени Ноде поместить — среди прочих — портрет кардинала Мазарини?

*

Прежде чем описать встречу этих двух людей, вызвавшую электрический разряд неповторимой силы в истории библиотечного дела в Европе, расскажем читателю о каждом из них. О кардинале совсем коротко, о библиотекаре — несколько подробнее.

По происхождению Джулио Мазарини (14.VII 1602 — 9.III 1661) был небогатым сицилийским дворянином. Некоторое время он подвизался на военной службе, потом получил в Риме университетское образование и докторскую степень по церковному праву. Надо отдать будущему кардиналу должное — интерес к книгам и предметам искусства возник у него с юных лет. Как только на холме Квиринале в Риме у Мазарини появился собственный дом, хозяин стал усердно наполнять его золотыми и серебряными кубками, чашами, вазами, изваяниями знаменитых людей, выполненными знаменитыми мастерами. И книгами, к о н е ч н о, — их было около пяти тысяч. Цицерон, Фукидид, Вергилий и множество других классиков стали компаньонами в уединении честолюбивого сицилийца. Он интересовался историей Франции и неплохо знал ее: во всяком случае, когда в 1634 г. понадобилось сменить папского нунция в Париже, выбор Ватикана пал на Мазарини. Это определило его судьбу и среди множества прочих событий повлекло за собой встречу с Ноде и создание первой публичной библиотеки во Франции. Три года (1634—1636) Мазарини, обласканный первым министром Франции кардиналом Ришелье, провел на французской дипломатической службе; в 1639 г. стал французским подданным; в 1641 г. — получил кардинальскую шапку; в 1643-м, после кончины Ришелье, стал первым министром Франции и, если верить историкам, вступил в тайный брачный союз с вдовой Людовика XIII Анной Австрийской. Поскольку обета безбрачия Мазарини в Италии не давал, такое событие не исключено...

В 1644 г. Мазарини основал библиотеку. Возможно, что лейтенант королевских мушкетеров Д'Артаньян при всей своей проницательности несколько недооценил, так сказать, культурного потенциала и вообще масштаба личности Джулио Мазарини. Да и что взять с Д'Артаньяна, если нашего главного

героя Габриеля Ноде он в суматохе государственных и собственных забот вообще не заметил. Впрочем, довольно о Д'Артаньяне: читатель слишком хорошо с ним знаком...

Лучше расскажем о Ноде. Коренной парижанин, он родился 3 февраля 1600 г. в семье мелкого чиновника. Мать его читать и писать не умела. Сыну суждено было с лихвой восполнить этот пробел. Сперва он обучался в монастырской школе, чтобы постичь латынь — главное духовное оружие образованного человека в то время; вскоре обнаружился его интерес к гуманистическим философским учениям и скептический склад ума. «Сенека повлиял на меня больше, чем Аристотель, — писал он, — Плутарх больше, чем Платон, Гораций больше, чем Гомер и Вергилий, а Монтень больше, чем все вместе взятые». Еще в школе, за неимением денег на покупку книг, Ноде составлял свою библиотеку (зародыш будущего!), переписывая ужасающим почерком любимые сочинения. Уже в 1620 г. Ноде сочинил и выпустил в свет за собственный счет политический трактат. Однако литературные способности не мешали ему интересоваться естественными науками — он поступил на медицинский факультет Сорбонны. Отсталость французской медицины того времени и консерватизм профессоров сулили простор для новатора. К тому же медицинская профессия обещала устойчивый заработок, что имело для Габриеля Ноде первостепенную важность. Здесь мы подходим к перелому в биографии Ноде: после двух лет университетских занятий молодой медик и гуманитарий получил предложение президента одной из адвокатских корпораций, члена парламента, советника короля Анри де Месма заняться упорядочением и пополнением его наследственной библиотеки. Ноде знал семью де Месмов как покровителей искусств и служителей муз. И он согласился.

С этого времени Ноде стал практиком и теорети-

ком библиотечного дела. Библиотека де Месмов была по тем временам богатейшая: 8000 томов включали, в частности, восточные редкости, собранные при дворе Великих Моголов; коллекцию альдин; античные греческие, латинские и старофранцузские рукописи в отличном состоянии. Проработав у де Месма с огромной пользой для себя и патрона года два или три, Ноде отправился доучиваться в Италию — в Падуанский университет. Рекомендательные письма из Парижа открыли ему все двери, и он прикоснулся к таким богатствам искусства, культуры и книжности, каких прежде и не видывал. Это было как раз то время, когда молодой доктор прав Джулио Мазарини начинал свой путь дипломата и коллекционера. Однако встреча их в Италии историками не отмечена. Как бы то ни было, Ноде познакомился в Падуе и других итальянских городах со многими частными книжными собраниями, поразившими его воображение.

Он вовсе не собирался покидать Италию, когда в мае 1627 г. получил известие о смерти отца. Пришлось возвратиться в Париж, в библиотеку де Месма. Однако связи с падуанскими друзьями, например с учеными-медиками, Ноде не терял, снабжая их медицинскими книжными находками. Позже это сослужило ему добрую службу. Вернувшись в Париж, Ноде вскоре завершил и напечатал сочинение, занимавшее его в течение нескольких лет, — «Совет по устройству библиотек». Этот трактат, сыгравший огромную роль в библиотечном деле, стал подлинным завещанием Ноде грядущим поколениям, написанным задолго до того, как людям приходит время писать завещания. Собственно, он обобщал свой опыт работы в библиотеке де Месма и впечатления от осмотра многих частных книжных коллекций Франции и Италии для себя одного, но друзья так часто просили разрешения переписать «Совет...», что Ноде счел за благо предать его тиснению. Цель автора была пред-

ложить рекомендации частным собирателям для «наиболее полного наслаждения книгами», научить их способам сохранения и устройства библиотек «с наибольшей пользой и привлекательностью».

Трактат Г. Ноде еще ждет полного научного перевода на русский язык. Предлагаем вниманию читателей конспект основных идей и разделов «Совета...».

*

В представлении Ноде идеальная библиотека должна была включать не только стандартные издания классиков (обычный состав частных библиотек его времени), но и вообще главнейшие сочинения всех времен и народов по всем отраслям знания. Счастливый обладатель таких сокровищ станет подлинным гражданином мира, ибо с такой библиотекой он «сможет знать все и не быть невеждой ни в чем». Нет такой плохой книги, полагает Ноде, которая хоть чем-нибудь не была бы хороша для кого-нибудь (в этом пункте Ноде следовал за древними римлянами). Качество идеальной библиотеки, по Ноде, определяется просто: «Каждый должен найти в ней то, что он ищет». Но само это положение подразумевает, что библиотека, принадлежащая одному, должна быть доступна всем. Ноде именно это и утверждал, опередив тем самым не столько свое время (такой щедрый подход — по крайней мере в теории — не нов был для гуманистов XV—XVII вв.), сколько времена последующие, отмеченные буржуазным духом собственности, проникшим и в книжное собирательство. Единственным оправданием огромных расходов на библиотеку должна служить передача культурных богатств в общественное пользование. И это говорилось во времена, когда в Европе существовали только три публичные библиотеки: Бодлеана, открытая в Оксфорде в 1602 г.; Амброзиана, созданная в Милане кардиналом Борромео в 1609 г.;

Анжелика, основанная в Риме Анжело Росси в 1614 г. Во Франции «публичных и универсальных» библиотек, о которых мечтал Ноде, тогда и вовсе не было.

Саркастически высмеял Ноде «переплетолюбов», которые ценят шикарную одежду книг выше их содержания. Средства, которые затрачиваются на внешность книг, Ноде советует направить на тематическое расширение библиотеки (правда, когда впоследствии Ноде перешел от теории составления огромной библиотеки к практике, он придавал немалое значение красоте и сохранности книг, покупая экземпляры с необрезанными полями и изящной печатью). Столь же отрицательно он отнесся к обычаю во что бы то ни стало украшать библиотечные залы античными статуями и скульптурными изображениями великих писателей. Уж лучше, по мнению Ноде, заменить их глобусами, картами, собраниями минералов, гербариями и т. п.

В идеальную библиотеку Ноде советует включать сочинения не только на древних, но и на новых языках; не только трактаты на модные темы, но и произведения новаторские; не только ортодоксов, но и еретиков. Последнее было уж совершенно ново и неожиданно и коренным образом отличалось, например, от подхода сэра Томаса Бодли в Оксфорде. Единственный род литературы, который Ноде не признавал, были романы и легкая поэзия — им не находилось места в его идеальной библиотеке. Однако лет через 15 после публикации «Совета...», комплектуя невиданную по масштабам Библиотеку Мазарини, Ноде на деле отказался и от этого ограничения.

Переходя к методам собирания библиотеки, Ноде утверждает, что серьезный коллекционер должен выработать чутье, которое безошибочно наведет его на нужную книгу в лавке книгопродавца и на библиофильские ценности в лавке старьевщика, промышля-

ющего ветхой бумагой и пергаменом. Особенно успешны такие поиски бывают в других странах Европы, а потому Ноде советует французским библиофилам поручать путешествующим друзьям поиски книг за границей.

Достойное внимание уделил Ноде устройству уже собранной библиотеки. Прежде всего ее следует тщательно подразделить на семь основных разделов (в Библиотеке Мазарини Ноде увеличил это число до 12): теология; медицина; право и юриспруденция; история; философия; математика; классические языки и литература. В каждой отрасли знаний Ноде рекомендовал помещать впереди всех прочих основополагающие сочинения, затем комментарии и труды, им посвященные. Дальнейшее разделение шло уже по векам и языкам; наконец, внутри этих рубрик применялась расстановка по форматам. Без строгого порядка в библиотеке весь труд, потраченный на ее создание, окажется бесплодным. Ибо, говорит Ноде, книжное собрание даже в 50 тысяч томов, в котором царит беспорядок, — не есть библиотека, как толпа вооруженных людей не есть армия.

Не забыл Ноде и о каталоге, который библиотекари обязаны с особенным старанием приготовить для своих патронов. В этом каталоге книги должны быть разделены по возможно более мелким рубрикам. Систематический каталог, приготовленный опытным библиотекарем, особенно необходим потому, что, по мысли Ноде, расстановка должна быть частично «крепостная» (т. е. по форматам) и, следовательно, книги по одному предмету могут оказаться в разных местах. В этом случае читателю, изучающему тот или иной вопрос, придет на помощь систематический каталог. Не менее важен и каталог алфавитный: пользуясь им, читатель легко найдет все сочинения любого автора. Вдобавок аккуратный алфавитный каталог поможет избежать покупки дублетов, потому что никакая память не удержит 50 тысяч

названий. Все это выглядит теперь азбучной истиной, но Габриель Ноде был из числа изобретателей библиотечной азбуки.

Весьма любопытна мысль Ноде о том, что новые поступления в библиотеку в течение полугода должны быть отделены от всех прочих книг и показываться посетителям отдельно. Лишь после этого новые книги следует расставить по местам в хранилище. При этом, расставляя в конце каждого полугодия новые поступления, библиотекарь как бы невольно станет очищать все книги от пыли и проветривать их. Вполне актуальная мысль и для XX века.

Не обошел автор «Совета...» и конкретных вопросов устройства и оборудования библиотечного помещения. При этом имелись в виду, разумеется, дворцы богачей, а отнюдь не скромные дома горожан. Последнее следует особо подчеркнуть: «Совет...» скромного библиотекаря был обращен к меценатам — именно их он призывал основать книгохранилища, доступные для ученых. Иное, расширительное, толкование «Совета...» Ноде, как некоего библиофильского руководства для всех, было бы неисторично... Ноде рекомендует располагать библиотеку во внутренней части дворца, удаленной от шума улиц и от тех комнат, в которых идет обычная, суетливая жизнь семьи, от кухонь, гостиных и т. п. Лучше всего оборудовать библиотеку в зимнем саду или во внутреннем дворе с хорошим и равномерным естественным освещением, приятным видом из окон и чистым воздухом. Библиотека должна быть поднята на несколько ступеней над землей, чтобы предохранить книги от сырости. Об искусственном освещении и отоплении библиотеки Ноде не говорил — в его времена это казалось странным и опасным.

Много еще практических вопросов поставил и, как умел, разрешил Габриель Ноде в «Совете по устройству библиотек». Обращенный к де Месму, «Совет...» стал незаменимым руководством для многих соби-

рателей. Английские историки библиотечного дела с некоторой завистью отмечают, что подобную книгу мог бы написать их соотечественник Томас Бодли, но не написал. А Ноде сделал это! Но еще поразительнее, что автору «Совета...» вскоре выпало счастье воплотить свою теорию в реальность, в таких масштабах, о которых он не смел и мечтать.

*

Чтобы не погрешить против исторической справедливости, надо сказать, что предшественник Мазарини кардинал Ришелье первый высказал мысль об устройстве публичной библиотеки, как только будет возведено для этого подходящее здание близ его дворца. Но неумолимая смерть 4 сентября 1642 г. прервала эти, как и другие, мечтания Ришелье. Свою библиотеку, которую он создавал, не слишком выбирая средства (конфисковал для собственных нужд муниципальное книгохранилище Ла Рошели; присвоил без компенсации насчитывающую 800 номеров коллекцию исторических документов, вывезенную каким-то незадачливым чиновником из стран Востока; вымогал книжные взятки всеми способами и т. п.), Ришелье завещал родственнику. Сей последний — честь ему и хвала — собравшись на загробное свидание с кардиналом, подарил библиотеку Сорбонне.

Буквально на следующий день после кончины Ришелье Людовик XIII, сам к тому времени смертельно больной, назначил его преемником Джулио Мазарини. Ко времени прихода к власти Мазарини был владельцем целого ансамбля зданий на Новой улице, известного современникам под названием особняка Тюбёф. Там-то он и задумал создать новый дворец, превосходящий великолепием все, что было в Париже при Ришелье. Ибо черная зависть к усопшему великому человеку, говорят, терзала Мазарини куда больше, чем все другие страсти, в том числе

и библиофильские. Само собой разумеется, что в новом дворце-музее едва ли не главное место отводилось книжному собранию. Вот тут-то и скрестились пути кардинала и библиотекаря.

Ноде в то время возвратился из еще одной длительной поездки в Италию, где устраивал библиотеку кардинала Багио. Патрон его как раз перед тем скончался, библиотекарь оказался не у дел и с радостью поступил на службу к Мазарини, высказавшему восхищение «Советом по устройству библиотек». Мазарини поставил перед Ноде задачу — создать грандиозную, невиданную в Европе библиотеку в неслыханно короткий срок. Опять-таки, поправляя Д'Артаньяна, отметим, что «скряга-итальянец» готов был раскошелиться. Но более всего соблазнило Ноде обещание Мазарини открыть двери библиотеки для публики, как только будет построено здание и размещены книги. Ноде ликовал и трудился за десятерых.

Великий библиотекарь пришел к выводу, что единственный способ создать грандиозную библиотеку за короткое время — покупать книги целыми собраниями, не взирая ни на состояние самих книг, ни на дублеты, ни даже на содержание коллекций. Он тщательно следил за поступающими на рынок коллекциями и приобретал их для кардинала, не считаясь с расходами. Надо сказать, что дело предстояло нелегкое: в одном Париже в 1640-х годах было около 150 книжных лавок, да еще уличные лари на берегах Сены и на Новом мосту; торговцы роскошными изданиями раскладывали свой товар во Дворце Правосудия. К концу 1643 г. Ноде буквально опустошил букинистические прилавки Парижа. Он явился, например, к известному торговцу Фуэ на улицу Сен-Жак и, не изучая титульных листов, приобрел 23 пачки непереплетенных книг по 3 ливра 10 су за пачку. Через несколько дней он за бесценок приобрел там же столько книг, сколько могли унести

явившиеся с ним носильщики. На этом запасы господина Фуэ были исчерпаны. Однако были покупки и подороже: 500 ливров заплатил Ноде за целую коллекцию античных авторов in folio известному книготорговцу Крамуази; 700 ливров стоило роскошное издание Талмуда в 14 томах. Он покупал тележками, тюками и кипами (часть — на вес) и доставлял сначала в свою скромную квартиру, а затем в недостроенное здание Библиотеки Мазарини. Если учесть, что общее число книг в Европе, выпущенных до 1600 г., оценивалось в 100 тыс. при среднем тираже 500 экземпляров, Ноде мог превратить Мазарини чуть ли не в библиофила-монополиста. Но, во-первых, существовали еще и рукописи в немалом количестве, а во-вторых, Ноде, конечно, закупить 50 млн. томов не собирался. Он просто-напросто создавал основу универсальной библиотеки.

В 1643 г. он воспользовался неповторимой возможностью приобрести для Мазарини отлично подобранную, одну из лучших во Франции, библиотеку каноника из Лиможа Жана де Корде. Высокообразованный человек, живший исключительно ради своих книг, покойный каноник был личным другом Ноде. В свое время Ноде по дружбе подготовил каталог этой коллекции. В 1642 г., умирая, де Корде завещал продать библиотеку в одни руки, чтобы она оставалась неразделенной. В каталоге перечислены 1700 томов in folio, 2000 — in quarto; 4000 — in octavo и множество тонких брошюр, сплетенных вместе. В большинстве своем это сочинения отцов церкви, схоластов и комментаторов Библии. Надо сказать, что сам каталог библиотеки «Кордезиана»— важный памятник библиографии XVII века. Мазарини долго кряхтел, прежде чем выложить 22 тысячи ливров за коллекцию, но решился на это, к великой радости Ноде, который писал, что покупкой этой библиотеки Мазарини «обеспечил себе важнейшие книги, которые составят истинный фундамент его собрания».

Из всего многообразия Библиотеки Мазарини назовем пока только коллекцию документов, собранную государственным секретарем по иностранным делам Анри де Бриенном. Эти 360 томов in folio, переплетенные в гладкий цветной марокен, Людовик XIII приобрел в свое время за 40 тысяч ливров. Мазарини они достались даром, поскольку после смерти супруга (14 мая 1643 г.) Анна Австрийская попросту подарила их своему возлюбленному-библиофилу. Говорили, что в этих томах «все секреты Франции» за полвека: тексты договоров, донесения послов, более двух тысяч частных писем и т. д.

Став мужем королевы и полновластным хозяином страны, Мазарини еще более укрепился в грандиозной библиофильской идее. Библиотечное крыло особняка Тюбёф росло не по дням, а по часам. Ноде не досыпал ночей, следя за строительством и готовясь к размещению библиотеки. Боясь отлучиться даже ненадолго, он в одиночестве обедал в недостроенном библиотечном зале. Он нанял 12 переплетчиков, превращавших рухлядь парижских книгопродавцев в чудо переплетного искусства, достойное украсить галереи кардинальского дворца. Полки в хранилище, столы и кресла для будущих читателей делались по чертежам Ноде. Он заказал в огромном количестве перья, чернила, бумагу, разрезные ножи, календари, часы. Все оборудование было доставлено во дворец уже в сентябре 1643 г. В начале октября Ноде разместил в галереях-книгохранилищах 14 тысяч печатных книг и 400 томов переплетенных рукописей. Но это была, разумеется, «первая очередь» библиотечного строительства, как сказали бы спустя три с половиной века. История сохранила даже поистине рыцарский жест Мазарини: он разорился на 10 ливров «премии» плотникам, установившим библиотечные полки и мебель.

Библиотека открылась в самом начале 1644 г., и первые посетители, смущенные невиданной ро-

скошью, которая их окружала, появились в читальном зале. Сначала они непременно должны были пройти через двор, подняться по роскошной лестнице на второй этаж, миновать две картинные галереи, маленькую внутреннюю часовню, и уж только потом оказаться в огромном, украшенном 50 резными деревянными коринфскими колоннами, устланном коврами зале, предназначенном Ноде для читателей. Так продолжалось несколько четвергов, но вскоре великий библиотекарь заметил, что застенчивость, одолевающая бедняков-ученых при виде многочисленных слуг и великолепного убранства, мешает им сосредоточиться. И тогда Ноде попросил открыть боковую дверь, выходившую прямо на улицу Ришелье. Через нее, не встречаясь с челядью, могла по четвергам проходить в библиотеку небогатая и деликатная «интеллигенция» XVII столетия. Читальный зал был рассчитан на 100 человек одновременно.

Между тем библиотека пополнялась. Мазарини приказал французским военачальникам — в то время ведь шла Тридцатилетняя война — обращать особое внимание на книжные трофеи. «Если волею судьбы, — писал он своему генералу в Германию, — Вы встретите коллекцию печатных книг или рукописей, я прошу Вас купить их и прислать по прилагаемому адресу, ибо я составил довольно обширную библиотеку, а книги — тот вид имущества, который мужи войны так часто позорно уничтожают». В письме к другому полководцу, маршалу Жебриану, Мазарини излагал свой план создания «довольно крупной библиотеки», прося маршала посылать в Париж все захваченные книги и обещая щедро вознаградить его за это, как только представится случай. Еще одному воину, маршалу Туренну он писал более решительно и откровенно: «Если Вы захватываете какой-либо город, Вы обязаны реквизировать книги или старые рукописи. Вы знаете, что библиотека — одна из сильнейших моих страстей...» Маршалы охотно отклика-

лись на просьбы «некоронованного короля», видя в этом легкий способ завоевать его доверие.

В середине 1644 г. Ноде пришел к выводу, что возможности парижских и даже всех французских книгопродавцев исчерпаны — из этих источников Библиотеку Мазарини больше пополнить нечем. 23 июля 1644 г. объявление в «Газет де Франс» известило ученый мир о том, что «Его Преосвященство, решив обогатить свою библиотеку, отправил сьера Габриеля Ноде, своего библиотекаря, за границу на поиски сочинений, которые еще отсутствуют в библиотеке. До его возвращения библиотека будет закрыта для тех, кто привык в ней работать по четвергам». Кардинал не мог обойтись без библиотекаря: только Ноде разбирался в созданной им самим «вавилонской башне» из книг. Несколько месяцев Ноде путешествовал по Фландрии, только что присоединенной к Франции, потом, после небольшого перерыва, целый год — по Италии.

Один из итальянских друзей Ноде сетовал: «Можно подумать, что не человек, а смерч опустошает прилавки книжников, когда появляется Ноде. Покупая чуть ли не все книги, печатные и рукописные, он оставляет прилавки голыми». Бродя по итальянским книжным магазинам со складным метром в руках, Ноде и в самом деле платил не за тома, а за величину пространства, занятого книгами. Он появлялся всегда внезапно — таинственный, закутанный в черный плащ. Уже своим видом он ошеломлял книгопродавцев, привыкших к совсем другим покупателям. При этом Ноде умел магически действовать на владельцев книжного товара. Запрашивали они с таинственного иностранца с избытком, а потом, когда перегруженный книгами экипаж Ноде с трудом отъезжал от дверей, жаловались, что выгоднее было продать книги на завертку маслоторговцу или рыбнику. В Риме говорили, что книжные лавки разорены словно завоевателем, а не библиотекарем. Сам Ноде любил повторять, что

в собирании книг, как в любви и на войне, все дозволено. Не забудем только, что собирал он не для себя, да и не для патрона, а для первой публичной библиотеки во Франции.

Последовательно завоевав книжный Рим, Флоренцию, Мантую, Падую и, наконец, Венецию, Ноде отправил из Ливорно морем во Францию 86 громадных тюков с книгами, которые, по оценке «Газет де Франс», удвоили богатства Библиотеки Мазарини. Едва не погибнув в Альпах от снежных заносов, библиотекарь-триумфатор въехал в границы отечества 12 марта 1646 г. Поездка эта, включая стоимость книг и «командировочные» Ноде, обошлась кардиналу в 12 тыс. ливров. Надо сказать, что в отсутствие Ноде никто библиотекой серьезно не занимался, и теперь ему пришлось увеличить число своих помощников до трех человек. Библиотекарь рассчитывал, что благодаря этим помощникам и собственным неусыпным трудам он обеспечит теперь нормальную работу библиотеки. Но кардинал рассудил иначе. Реальная общественная деятельность книгохранилища интересовала его скорее теоретически, а вот «ограбление» книжной Европы — практически. Еще два года (1646—1647) Ноде провел почти в непрерывных поездках по Швейцарии, Нидерландам, Англии. К концу 1647 г. общая сумма расходов на библиотеку составила 65 тысяч ливров. Говорят, лицо кардинала исказилось судорогой, когда он узнал об этом. Мазарини потребовал от Ноде счета и расписки за четыре года и заперся с этим ворохом бумаг. Все сошлось до единого су.

Однако нашлись люди, упрекнувшие великого библиотекаря в том, что он купил за кардинальские деньги и «ввел в фонд» (говоря по-нынешнему) многие ненужные книги. «Кто станет читать эту массу бесполезных книг?» — спрашивали скептики. Ноде отвечал им примерно так: «Зайдите в любую аптеку и вы увидите рядом с жемчужинами и ароматиче-

скими веществами отвратительные выделения животных и даже крысиный помет, из которого кое-кто извлекает пользу для лечения; в моей фармакопее можно найти зараженные книги, которые лишь меньшинство ученых перелистает, но они подчеркивают прелесть тех, которые прочитает большинство».

Между тем дворец, переоборудованный из особняка Тюбёф, процветал и пополнялся разнообразными сокровищами. Тициан, Корреджо, Рафаэль, Джорджоне были представлены здесь лучшими образцами своего творчества. Да и сам дворец был на зависть любому монарху. В 1646 г. пристроили дополнительное крыло вдоль улицы Ришелье, и 40 тысяч томов отпраздновали новоселье в огромной галерее и шести залах книгохранилища.

В первом зале Ноде разместил юриспруденцию, философию, часть теологической коллекции. Лучшие юристы Франции восхищались подбором законов и иных правовых актов всех времен и народов, признавая библиографическое совершенство этого раздела. Во втором зале хранитель расположил книги по химии, астрономии, естественной истории, лучшие, авторитетнейшие медицинские трактаты. Галилей соседствовал здесь с Аристотелем и Галеном; великой чести находиться рядом с ними удостоились и некоторые современные авторы. Третий зал хранилища представлял собой царство Библии — текстов и толкований ее на многих языках мира; впрочем, не только Библия, но и Коран и Талмуд — всевозможные вероучения теснили друг друга в этом зале. Четвертый зал отдан был во власть латинским и восточным рукописям. В пятом ревниво взирали друг на друга авторы политических учений, творцы канонического права и сочинители «легкой» литературы. Как ни старался Ноде избегать беллетристики, около 700 романов, 500 комедий, 330 трагедий, к собственному его удивлению, пробились на полки библиотеки кардинала. Наконец, в шестом зале, как

в осажденной крепости, притаилась самая большая из когда-либо существовавших коллекция писаний еретиков. Их было тут больше шести тысяч томов — всемирно известных ученых и писателей и мало кому ведомых, укрывшихся в тени их славы. Ноде необычайно гордился этим собранием редкостей: ведь именно книги еретиков, сожженные — порой вместе с авторами — на кострах, обращенные в клочки бумаги или обрывки пергамена или уничтоженные другими, столь же радикальными способами, уже и в XVII веке найти было необычайно трудно. Не посягая открыто на каноны церкви, отвергая, например, учения Лютера и Кальвина, Ноде отдавал им дань уважения тем, что собирал их книги. С явным вызовом ортодоксам он сделал творения этих нечестивцев доступными любому ученому, пришедшему в библиотеку.

Создав это книжное чудо, Ноде сочинил торжественную латинскую надпись-посвящение: «В процветающее царствование Людовика XIV и его мудрейшей августейшей родительницы, вершащей все дела от имени сына, и непосредственным тщанием их первого советника, кардинала римской церкви Джулио Мазарини, открывается сия библиотека, чтобы стать гордостью Парижа, украшением Франции и стимулом развития наук на вечные времена».

*

О, если бы знал великий библиотекарь Габриель Ноде, сколь относительно понятие вечности — в применении к библиофильской истории, по крайней мере! Но энтузиасты такого масштаба порой отличаются и детской наивностью. Умей Ноде предвидеть хотя бы ближайшее будущее, он, быть может, пожалел бы о бессонных ночах, о невиданном своем аскетизме, о том, что не позволял себе ни пира, ни развлечения, не завел семьи, забывал друзей. Библиотеку Мазарини он называл: «моя старшая дочь».

Библиотека, словно Молох, поглотила все время и всю душу библиотекаря. Он больше не писал политических памфлетов — а прежде был острым публицистом; терял медицинскую квалификацию — а прежде считался прекрасным врачом; не отвечал на письма — а прежде славился как мастер эпистолярного искусства. Сутки за сутками проводил он, пополняя, классифицируя, размещая, благоустраивая библиотеку. Единственная ее соперница — библиография, те пояснения, которые часами давал он посетителям.

Но политика сильнее библиотекарей. Мало утешения в том, что она сильнее и кардиналов. Грянула Фронда. Парижские буржуа и мастеровой люд ненавидели Мазарини, изнурившего страну войной, измучившего народ налогами, истратившего государственные и церковные средства на собственные нужды, нарушившего, как многие тогда думали, благородные заповеди своего предшественника кардинала Ришелье. Бывшая феодальная знать, как известно, рассчитывала воспользоваться ненавистью народа к кардиналу и возвратить себе право грабить Францию. Как ни критикуют Александра Дюма за легкомыслие его исторических романов, талант его был велик, и он ярко описал эту бурную эпоху владычества и временного свержения Мазарини. В исторических трудах читатель найдет, разумеется, и серьезный анализ событий. Как бы то ни было, кардиналу стало не до библиотеки и тем более не до библиотекаря. Французские патриоты называли Мазарини сицилийским ничтожеством, узурпатором и шпионом. Вы хотели бы знать, чем занимался в это время Ноде? Хладнокровно собирал летучие памфлеты, обличающие негодяя и мошенника Мазарини. Как всегда, чутье книжника его не обмануло — коллекции «мазаринад» (как стали называть эти памфлеты) стали впоследствии предметом гордости многих европейских библиотек. У Ноде этих памфлетов было

526. При всем том Ноде сохранял верность кардиналу и даже написал едкое сочинение, направленное против врагов Мазарини.

13 января 1649 г. Парижский парламент от имени восставшего народа издал декрет о конфискации имущества бежавшего из столицы Мазарини. Посланцы парламента отправились во дворец Тюбёф для инвентарной описи и скорейшей распродажи всего его содержимого. Дворец был пустынен — слуги разбежались; Ноде отсиживался в своем домике на окраине Парижа в надежде, что сломать двери запертого дворца парламентарии не решатся. Решились. Но остановились в недоумении, определяя судьбу библиотеки. Кое-кто предлагал передать все книги как национальное достояние в Сорбонну; другие призывали вручить их самому парламенту, который откроет публичную библиотеку для народа; третьи видели выход в том, чтобы за определенную сумму отдать библиотеку собору Парижской богоматери, но им напомнили, что Библиотека Мазарини стоит по меньшей мере 100 тысяч ливров и будет не по карману церкви.

Библиотекарь между тем пытался предотвратить несчастье. 24 марта 1649 г. он писал кардиналу: «Мне кажется, что поскольку Ваше Преосвященство всегда предназначали библиотеку для публики, вы могли бы предвосхитить события и подарить ее теперь Университету, который, я не сомневаюсь, мог бы спасти ее от гибели и преисполнился бы благодарности за такой дар». Едва ли Мазарини склонен был принимать подобные советы. Парламент приказал было уже готовить аукционный каталог, но в этом момент президент Де Ту, представитель знаменитой во Франции библиофильской династии, напомнил коллегам, что «библиотека уже передана общественности и должна быть сохранена для нее». И поскольку библиотека представляет ценность лишь как единое целое, ее нельзя расчленять, чтобы не

повредить будущему французской культуры. Парламент не осмелился нарушить этот принцип и принял мудрейшее из решений: поручить библиотеку заботам Габриеля Ноде, разъяснив ему, что он несет ответственность за сохранность ее перед народом Франции. Вскоре, как известно, был заключен так называемый Сен-Жерменский договор, и 18 августа 1649 г. Мазарини вслед за юным королем и Анной Австрийской возвратился в Париж. Но этим завершился только первый акт трагедии.

Второй акт, куда более печальный для библиотекаря и его «старшей дочери», начался 7 февраля 1651 г., когда кардинал Мазарини, опасаясь нового взрыва народного гнева, умело направляемого старой знатью, тайно выскользнул из ворот Пале-Рояля и как привидение растворился в ночи. «Материализовался» он в Гавре, откуда отбыл в Кёльн под защиту тамошнего архиепископа, своего друга.

На рассвете 7 февраля Ноде был разбужен кликами восторга толпы, собравшейся под окнами дворца Мазарини: Париж едва ли не единодушно радовался исчезновению первого министра, но тревожился неопределенностью будущего. Вскоре Ноде был приглашен к президенту казначейства, близкому приятелю Мазарини, который объявил, что отныне вступает во владение дворцом и всем, что там хранится, в обеспечение 600 тысяч ливров долга, который не уплачен кардиналом казначейству. Ноде вполне хватило проницательности, чтобы разгадать маневр: друзья Мазарини решили таким способом уберечь его имущество и библиотеку от разорения. Ноде предложили оставаться на своем посту. Это его утешило: без кардинала он еще мог существовать, без книг — никоим образом.

Но маневр кардинала и его друзей лишь несколько отдалил развязку. 31 марта 1651 г. Парижский парламент отдал приказ органам правосудия арестовать кардинала Мазарини, где бы он ни находился.

Его имущество отойдет народу, а все бенефиции, которыми он пользовался, немедленно потеряют силу. Многие бывшие друзья отвернулись от кардинала — вовсе не из преданности принцам и тем более народу, а исключительно из соображений собственной безопасности. Не таков был Ноде. Он писал: «Они приговорили Мазарини без какого бы то ни было судебного разбирательства... Они натравливают на него низшие классы, они считают его друзей и слуг врагами государства, и невозможно уже придумать такого удара, который не обрушили бы на голову самого верного и преданного премьер-министра, какого когда-либо знала Франция». Ноде искренне полагал, что главная суть всей деятельности Мазарини именно в том, что он позволил ему, Ноде, создать «самое изумительное собрание книг, которое знал этот век, восьмое чудо света, библиотеку, которая хранит все, что дали нам Египет, Персия, Греция, Италия и все царства Европы, библиотеку, которая единственна в своем роде и восхитительна».

5 сентября 1651 г. Людовику XIV исполнилось 13 лет, и формально с регентством было покончено. Однако на деле Анна Австрийская и ее муж-кардинал-министр только укрепили свои позиции. Заявив, что подчиняется только королю, но не парламенту, Мазарини начал собирать на франко-германской границе силы вторжения. В ответ Парижский парламент объявил кардинала вне закона и назначил 150 тысяч ливров тому, кто доставит Мазарини в Париж — живым или мертвым. Но вот незадача — денег у парламента не было, и для того, чтобы собрать сумму, назначенную за голову кардинала, решено было... продать с аукциона библиотеку. Парадокс единственный в истории книжного собирательства — библиотека должна была послужить косвенным орудием уничтожения владельца! Сделка Мазарини с главою казначейства была аннулирована парламентским актом. Толпа ликовала, но многие обра-

зованные люди в Париже говорили, что более беззаконного и варварского решения еще не принималось во Франции.

Можете себе представить отчаяние Ноде, узнавшего, что величайшие творения мудрецов и гуманистов пойдут на оплату убийства. Любыми средствами — если нужно будет, ценой своей жизни — он должен был предотвратить несчастье. Подвергаясь риску быть растерзанным толпой, Ноде решился выступить с «Советом господам членам парламента о продаже библиотеки кардинала Мазарини», мольбой о спасении коллекции книг, принадлежащих формально кардиналу Мазарини, а в действительности — народу Франции. Разорение этой великой сокровищницы, предупреждал он, «будет отмечено в анналах истории с той же тщательностью, как взятие и потеря Константинополя». Беззаветно любя книгу, Ноде не понимал, как могут люди ставить интересы власти выше интересов гуманности и культуры. «Ужели допустите вы, — недоумевал он, — чтобы этот новый Парнас, этот дивный цветок, распространяющий благоухание по всему миру, завял у вас в руках?» Десять лет Ноде трудился, чтобы возвести величайшую башню разума, и теперь, когда ее грозили разрушить, просил справедливости не для себя самого. Библиотекарь сражался за свое рукотворное создание с той беззаветностью, которая доступна разве что родителям, защищающим родных детей. Он писал: «Если все путешествия, которые я предпринял, чтобы добыть материалы для библиотеки, если все тяжелые усилия, которые я приложил, чтобы привести ее в порядок, если все пылкое усердие, которое я проявил, чтобы сохранить ее до этого часа, — слабые аргументы в пользу справедливого отношения ко мне лично... то подумайте о Библиотеке и спасите ее!» Однако на этот раз Ноде говорил с глухими. Ему объяснили, что предотвратить распродажу может теперь только немедленный собствен-

норучный указ короля. Такой указ в должный срок могли в бурлящей Франции добыть, пожалуй, только Д'Артаньян и его друзья. Но Атос с Арамисом шагу бы не ступили во имя спасения имущества кардинала, Портос явно не был библиофилом, а Д'Артаньян... Увы, при всей своей исключительной образованности Ноде в XVII веке не мог к нему обратиться, так как не читал Александра Дюма. Если же говорить серьезно, то Анна Австрийская вполне могла пожертвовать библиотекой вместе с библиотекарем, чтобы отвлечь внимание парижан от более существенных, по ее мнению, событий, которые должны были подготовить возвращение Мазарини в Париж.

В воскресенье 7 января 1652 г. в 10 часов утра четыре комиссионера и эксперт-книжник, получившие инструкции от парламента, вошли во дворец Мазарини, чтобы подготовить аукцион. Ноде был приглашен, в качестве гида по библиотеке, но он, как и следовало ожидать, отказался «сопровождать палачей». Ему сообщили, что на завтра назначается аукцион теологического отдела как наиболее ценного из всей библиотеки. Ноде, желая выиграть время и все еще надеясь на чудо, возразил, что лучше бы начать с дублетов и непереплетенных томов, которые он приобрел, но не успел обработать и ввести в фонды. Кажется, ему удалось даже поколебать аукционеров господ Пито и Пету, но появился их начальник и, не слушая возражений, приказал 8 января начать распродажу Библий.

Утром в понедельник была сделана последняя попытка: один из агентов Мазарини предложил парламенту купить всю библиотеку оптом за 40 тысяч ливров. Но это предложение было с негодованием отвергнуто. Следующие несколько дней слились для Ноде в одно ужасное мгновенье: менее, чем за неделю, словно карточный домик, рассыпалось то, что он создавал на протяжении целого десятилетия. В понедельник были проданы Библии: знаменитая Ант-

верпенская за 300 ливров, остальное — дешевле. Во вторник торги были приостановлены, поскольку друзья Мазарини набрали 45 тысяч, предлагая их за всю оставшуюся часть библиотеки. Яростные споры парламентариев кончились продолжением аукциона. В среду парламент обратился к Ноде с просьбой оставаться во дворце и наблюдать за тем, чтобы книги продавались подороже и не расхищались. Он ответил, что скорее подожжет библиотеку, нежели станет собственноручно уничтожать ее по частям, дабы набрать денег на убиение хозяина.

В четверг вечером, прослышав о торгах, во дворце собралась густая толпа. Аукцион ничем не напоминал будущие чинные собрания времен распродажи Филипсианы. Хаос царил полнейший. Служители втаскивали на возвышение первые попавшиеся 7—8 фолиантов, и аукционер поспешно называл цену. Случались и потасовки и подтасовки (когда подставным лицам за грош продавали ценнейшие книги). В конце концов все позабыли о гонораре предполагаемого убийцы Мазарини и старались раздобыть для себя книги покрасивее и подешевле. «Покупатели» проникли во все шесть залов книгохранилища и тащили что попало, «обманывая» бдительность стражников за ничтожную мзду. Как писал современник: «...покупали за полкроны то, что стоило двести крон... Сержанты становились библиотекарями». Поэт Жильбер Гольман заметил в эпиграмме: «Продажные судьи продали книги, как продают они закон». Доля истины в этом была: главные организаторы аукциона оказались не чуждыми маленьких слабостей. Набожный господин Пьер Питу нагрузил несколько открытых повозок иллюстрированными Библиями и отправил к себе домой, деликатно дождавшись, когда начальник караула уйдет обедать. Его коллега Александр Пето, полный нежности к изящным переплетам и равнодушный к их содержимому, беспрепятственно утаскивал красивейшие образцы типографского ис-

кусства. Некоторые парламентарии-библиофилы честно признавались, что, будучи невеждами в книжном деле, хотели бы урвать что-нибудь «редкостное». И находились знатоки, помогавшие им в этом. По словам очевидцев, аукцион напоминал побоище, и на пути книжных воров не было никаких преград. Книготорговцам представился неповторимый случай за четверть цены вернуть когда-то ими же проданные книги. Весь Париж побывал в бывшем особняке Тюбёф: одни — чтобы принять участие в аукционе, другие — встретиться с приятелями, третьи простодушно порадоваться падению «тирана в красной шапке».

18 января Мазарини написал Ноде: «История никогда не простит Парижскому парламенту приказа о распродаже этой библиотеки, изданного с единственной целью — предательски убить ее владельца... Я никогда не поверю, что готы или вандалы, или еще более дикие народы, могли бы повести себя так, как повел Парижский парламент». Что мог сказать, что мог ответить Ноде? На свое скромное жалованье он купил почти всю коллекцию медицинской литературы, им же в свое время собранную. Он уговорил нескольких друзей сделать важные покупки с тем, чтобы как только Мазарини начнет восстанавливать библиотеку, эти книги были возвращены ему по аукционной цене. Горькое удовлетворение, должно быть, принесло Ноде то, что аукцион в целом не дал и трети суммы, на которую рассчитывал парламент.

Только 1 февраля 1652 г., когда все было давно кончено, Людовик XIV повелел своему генеральному прокурору Фуке вмешаться и «спасти библиотеку, которую дорогой... кардинал Мазарини предназначал французскому обществу». «Мы желаем, — заявил юный самодержец недели через две после распродажи библиотеки, — чтобы она сохранилась в целости и чтобы коллекция, столь дорогая и прекрасная, не была ни разделена, ни испорчена». Ветер, похоже,

подул в обратную сторону. Почувствовав это, Ноде обратился к Мазарини с предложением начать восстановление библиотеки. «Почему должны люди страдать из-за возмутительных действий, за которые они не несут ответственности?» — спрашивал библиотекарь. Кардинал с горечью отвечал, что его библиофильский энтузиазм иссяк и он не видит проку снова собирать библиотеку, которая стоила таких титанических усилий (ему-то?) и столь трагически погибла.

Придет срок, когда, утихомирив на время волны народных восстаний и расправившись либо примирившись со своими политическими противниками, Мазарини возвратится во дворец и создаст новую библиотеку. Впрочем, не совсем новую, поскольку многие из покупателей и похитителей на аукционе «с открытой душой» поспешат возвратить за деньги или даже даром книги из великой коллекции. Времена меняются. Еще недавно за голову кардинала давали 150 тысяч ливров, теперь головы его врагов того гляди пошли бы по цене растрепанного in quarto. Безопаснее было книги возвратить. Что касается книгопродавцев, менее подверженных страху и политической конъюнктуре, чем придворные и парламентарии, то они получили заверение кардинала: «Я куплю все книги снова, не задавая вопросов». В конце концов библиотека возродилась в прежнем блеске. Да только Великому библиотекарю не дано было ее увидеть.

*

Королева шведская Кристина, дочь короля Густава II Адольфа, с любопытством и интересом наблюдала за зигзагами судьбы первого министра Анны Австрийской. Интерес Кристины был не только политический, как у всех государей Европы, но и библиофильский. По Европе ходили легенды не только о красоте, но и о высокой образованности швед-

ской королевы: она будто бы знала 11 языков, в том числе латынь, греческий и древнееврейский. По-французски она говорила без малейшего акцента, с той же легкостью переходя на испанский или итальянский. Знаменитейшие ученые Европы почитали за честь сообщить королеве Швеции о своих открытиях. Шведские крестьяне умирали от голода, экономика страны была в ужасающем развале, но 90 тыс. крон было истрачено ее величеством на приглашение французских, итальянских и испанских музыкантов. Давно уже задумала Кристина создать при шведском дворе Свободную Академию, художественную галерею и библиотеку, которые могли бы соперничать с сокровищницами Мазарини. Она пригласила в Швецию многих французских ученых (в том числе знаменитого философа Рене Декарта). В печальном для Ноде и Мазарини событии Кристина увидела счастливую для себя возможность пополнить книжное собрание шведских королей. Ее агенты подоспели вовремя: тысячи ценнейших книг и рукописей отправились в северную столицу. Но вместе с библиотекой Кристина задумала заполучить и библиотекаря. Почтенный Naudeaus (так назван Ноде в церемонном латинском послании) приглашался стать «полным хозяином» Королевской библиотеки Стокгольма. Ноде никогда не расстался бы с Францией, но, зная, как много книг из библиотеки Мазарини оказалось в Швеции, он решился: так обожающий отец отправляется за море на поиски плененной дочери. Ему были обещаны три тысячи крон в год, бесплатный стол и помещение во дворце. А тут еще из писем кардинала Ноде понял, что тот непрочь отчасти объяснить нерадивостью библиотекаря гибель библиотеки. Это была последняя капля, переполнившая чашу. 21 июля 1652 г. в сопровождении ученика Ноде тронулся в путь и 13 сентября прибыл в «маленький, непримечательный городок с домами из кирпича и камня» по имени Стокгольм.

Долгую северную зиму 1652—1653 гг. Ноде провел, не скучая: он каталогизировал, классифицировал по 21 разделу, располагал на полках книжные богатства очаровательной королевы. Обнаружив наметанным взглядом важные лакуны в древних текстах и комментариях, он обратился к знакомым европейским книгопродавцам и за короткий срок пополнил библиотеку Кристины важными приобретениями.

Между тем в Париже происходили великие события. Еще летом 1652 г., пока Ноде совершал долгий путь в Стокгольм, Фронда потерпела окончательное поражение. Власть Людовика XIV становилась незыблемой, и 3 февраля 1653 г. Мазарини возвратился в столицу. Нетрудно догадаться, каково было настроение Ноде. Швеция казалась ему теперь «неприятной страной». К тому же он узнал, что Кристина готова сделать широкий жест и принести в дар возвратившемуся к своим обязанностям первому министру Франции книги, купленные для нее на аукционе. «Старшая дочь» возвращалась в прекрасную Францию. Ноде, простившись с королевой Кристиной, отправился в июне 1653 г. вслед за книгами. Однако здоровье его было расшатано долгой бесплодной борьбой и трудными дорогами. Он добрался до Франции, но 29 июля 1653 г. в возрасте 53-х лет умер от лихорадки в пикардийском городке Абвиль, где и похоронен в церкви Сен-Жорж.

В завещании, написанном в Абвиле за несколько часов до смерти, библиотекарь не забыл кардинала, оставив ему несколько редчайших книг, купленных в Швеции. Остальную часть библиотеки Ноде завещал своим нуждавшимся племянницам. Другого имущества у Габриеля Ноде не оказалось. Узнав о смерти библиотекаря, кардинал выкупил у наследников за 10 тыс. ливров все 8 тыс. томов личного книжного собрания, которое влилось в обновленную Библиотеку Мазарини. Правда, злые языки говорили, что ме-

дицинская коллекция Ноде стоила гораздо дороже, ибо в нее входили редкости, не находимые ни за какие деньги. Умирая, Ноде верил в восстановление Библиотеки Мазарини и в то, что она достанется в конце концов народу Франции. Он оказался прав. Библиотека Мазарини, завещанная в 1661 г. так называемому Коллежу 4-х провинций, существует в составе Национальной библиотеки Франции поныне и, обогащенная несколькими крупными частными собраниями, насчитывает теперь примерно полмиллиона томов.

В 1658 г. в Париже был издан сборник, посвященный памяти Ноде. «Он лечил тупость нашего века», — сказано в предисловии к этой книге. Великий библиотекарь завещал не только принципы построения крупной книжной коллекции, сохранившие исторический интерес и поныне. Он оставил всем нам святую любовь к книге, просвещению и добру, которая сильнее любых кардиналов и королей. Если же попытаться определить роль кардинала Мазарини в истории книжного собирательства... Что ж, это был довольно удачливый библиофил Эпохи Великого библиотекаря.



Расставаясь
с читателем...



Говорят, кардинал Мазарини перед смертью, оставшись один в библиотеке, с ужасом прошептал: «И я должен проститься со всем этим?!» Библиофилы с трудом расстаются с книгами. Авторы — с читателями. Правда, взаимность в обоих случаях не гарантирована. Книги после исчезновения прежнего владельца легко переходят к другим. А читатель... В нашем случае утешимся последним парадоксом: «Читать *книги* иногда не так интересно, как *о книгах».*

Выбранные автором восемь сюжетов — всего лишь волны в неоглядном и многовековом, бурном океане книгособирательства. Хочется надеяться, что отчасти они отражают глубину. Хотя, само собой, не исчерпывают тему, а лишь открывают горизонты новых изысканий. Ибо, как справедливо подмечено:

Внутри большой истории земли
Есть малые истории земные.
Их столько, что историков не хватит!
Е. Евтушенко

Однако вспомним обещание высказаться о том, чем же все-таки отличается библиофил от библиомана и «кто есть кто» в книге.

Анатоль Франс как-то заметил: «Я знавал многих библиофилов и убежден, что любовь к книгам делает жизнь сносною для некоторого числа порядочных людей». С этим можно согласиться при одном невеселом дополнении — и для некоторого числа непорядочных тоже. В очерке «Любовь к книге» Франс дальше пишет: «Я с первого взгляда могу узнать настоящего библиофила по той манере, с которой он берет книгу. Тот, кто, взяв в свои руки какую-нибудь дорогую, редкую, милую или просто добропорядочную книжку, не сжимает ее крепко и вместе ласково, не проводит нежно ладонью по корешку, по переплету и по обрезу, тот лишен инстинкта, создавшего некогда таких библиофилов, как Гролье и Дубль. Он может сколько угодно твердить о своей любви к книгам, мы ему не поверим». О, сколь зыбкий критерий предлагает писатель-гуманист! Как он доверчив и как легковерен! Видел бы Франс, с каким неподдельным наслаждением прижимал к сердцу прекрасные книги создатель бесстыдных типографских подделок, крупнейший книжный мошенник всех времен Томас Уайз! Как любил он с показной щедростью давать коллегам-библиофилам читать книги из библиотеки Эшли! Или с какой чувственной нежностью гладил старинные переплеты жулик из жуликов граф Гульельмо Либри!

Нет, право, граница между библиофилией и библиоманией — это граница не между хладнокровием и страстью или рационализмом и чудачеством, а между порядочностью и непорядочностью; между целями благородными и низкими; между способами собирательства чистыми и грязными — между истиной и ложью.

Иногда историки английской библиофилии причисляют, например, сэра Томаса Филипса к числу безумных чудаков-библиоманов. Наш подход противоположен: какой бы эксцентричной, даже дикой ни была собирательская практика Филипса, как бы

ни сказывались в ней ежечасно самые неприятные черты его характера — целью жизни этого человека было сберечь общее культурное достояние для грядущих поколений. Здесь не было ни личной корысти, ни библиоманического эгоцентризма, когда владельцу книг нет дела ни до их содержания, ни до их применения.

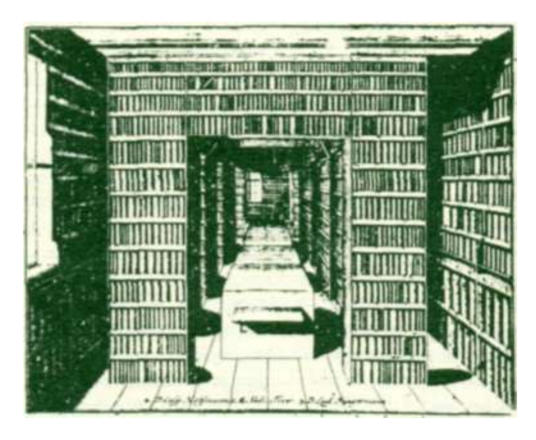
Иначе мы относимся к тем людям, о которых говорится во второй и третьей частях книги. Пусть Томас Уайз был образованным библиографом, пусть он досконально знал английскую книгу XVII—XIX веков, пусть он сделал важные книжные открытия, — он все равно типичный библиоман, который всю жизнь мошенничал, обманным путем пополняя свою несравненную библиотеку и надувая простаков-библиофилов Старого и Нового света. Ничего не поделаешь — собирание книг, даже самых лучших, не превращает мошенника в честного человека! Что же касается характеров, психологических типов и тому подобного, то в книжном мире они столь же неисчерпаемы и столь же не всегда симпатичны, как и в любой другой области людской деятельности.

Библиоманы, когда они предстанут перед судом потомков, не смогут оправдаться ссылками на «книгоболезнь», «всепоглощающую страсть», «неуправляемую манию» и тому подобное. Адвокаты библиоманов в судебном процессе истории, признавая совершенные подзащитными книжные преступления, тщетно станут искать смягчающие обстоятельства в личности преступника, исторической обстановке и других объективных условиях.

Более всего хотелось бы, чтобы добро и зло в этой, может быть и частной, но столь многими любимой области жизни и культуры было названо своим именем, чтобы не летели каменья в чудаков и Дон Кихотов от библиофилии и чтобы не укрылись за клятвами в любви к книгам низкие поступки

бесчестных людей. Тогда автор сможет сказать вслед за грузинским поэтом Г. Леонидзе (перевод Б. Пастернака):

Меж страниц не вшивайте закладок
И сушить не кладите цветов.
Эта книга без тайн и загадок,
Все живое понятно без слов.



СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Часть первая

Munby A. N. L. Phillipps studies. V. 1—5. Cambridge, 1951—1960.

V.1. The catalogues of manuscripts and printed books of sir Thomas Phillipps: their composition and distribution. 1951. 39 p.

V.2. The family affairs of sir Thomas Phillipps. 1952. XIII, 119 p.

V.3. The formation of the Phillipps library up to the year 1840. 1954. XI, 176 p.

V.4. The formation of the Phillipps library from 1841 to 1872... 1956 XV, 227 p.

V.5. The dispersal of the Phillipps library (with a general index to vols. 1—5). 1960. XI. 203 p.

Munby A. N. L. Portrait of obsession: The life of sir Thomas Phillipps. London, 1967. 278 p.

Munby A. N. L. The case of Caxton manuscript of Ovid: reflections on the legislation controlling the export of works of art from Great Britain. — In: The flow of books and manuscripts. — Los Angeles, 1969.

Часть вторая

A bibliography of the writings in prose and verse of Elisabeth Barrett Browning/By Thomas J. Wise; Printed for private circulation only by Richard Clay and Sons. London, 1918. XV, 249 p. (Reprinted: London, 1970).

A catalogue of the library of the late J. H. Wrenn/Ed. by T. J. Wise. Austin, 1920. V. 1—5.

Carter J. W., Pollard G. An enquiry into the nature of certain nineteenth century pamphlets. London, 1934. XII, 400 p.

Foxon D. F. Thomas J. Wise and the pre-restoration drama: A study in theft and sophistication. London, 1959. VIII, 41 p.

Partington W. G. Forging ahead. New York, 1939. XV, 315 p.

Partington W. G. Thomas Wise in the original cloth: The life and record of the forger of the nineteenth century pamphlets. London, 1946. 372 p.

Thomas J. Wise. Centenary studies/Ed. by W. B. Todd.. Austin; Edinburgh, 1960. 128 p.

Wise. After the event: A catalogue of books, pamphlets, manuscripts and letters relating to Thomas James Wise displayed in an exhibition in Manchester Central library (Sept. 1964). Manchester, 1964.

Часть третья

Г. Либри

Chambon F. Notes sur Prosper Mérimée. Paris, 1903. 1900 p.

Delisle L. Les manuscrits des fonds Libri et Barrois à la Bibliothèque Nationale. Paris, 1888. XCVI, /1/p.

Hamelin L. Mérimée, inculpé et détenu. — Hommes et Mondes, v. 70, 1952, mai, p. 69—83.

Ricci S., de. English collectors of books and manuscripts (1530—1930) and their marks of ownership. Cambridge, 1930. IX, 203 p.

Willms J. Bücherfreunde — Büchernarren: Entwurf zur Archäologie einer Leidenschaft. Wiesbaden, 1978. 227 S.

А. Пихлер

Доктор Алоиз Пихлер и кража книг из Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Отчет о заседании суда присяжных 24 и 25 июня 1871. — Спб., 1871. 69 с. (Текст на нем. яз.).

Петров А. К истории о краже книг Пихлером. — Рус. библиофил, 1911, № 3.

Пихлер. Документы / Публикация Н. Черникова. — Человек и закон, 1974, № 1, 2.

Соловьев Н. Дело о краже книг А. Пихлером. — Рус. старина, 1916, № 4.

Столпянский П. Кража книг Пихлером. — Рус. библиофил, 1911, № 4.

Стасов В. В. Странный библиоман. — В кн: Стасов В. В. Собрание сочинений. Т. III. Спб., 1894, с. 1531—1537.

Часть четвертая

Д. П. Бутурлин

Бочаров И., Глушакова Ю. Русский клуб у фонтана Треви. М., 1979, с. 52—63.

Бутурлин Д. П. Письма к А. Н. Оленину (1809). — Рус. архив, 1870, кн. IV, с. 1200.

Бутурлин М. Д. Очерк жизни графа Д. П. Бутурлина. — Рус. архив, 1867, № 3.

Бутурлин М. Д. Записки. — Рус. архив, 1897, № 1, 2; 1898, № 1—3;

Геннади Г. Н. Русские библиофилы. Библиотеки графа Бутурлина и их каталоги. — Журнал министерства народного просвещения, 1856, ч. 90, отд. III, с. 1—10.

Свиньин П. Письмо из Москвы. — Отечественные записки, 1820, т. 1.

Ульянинский Д. В. Библиотеки отдельных лиц. М., 1913, с. 1042—1047.

А. Ф. Онегин *

Волин Б. Письма из Франции. — Прожектор, 1925, № 7.

Гофман М. Л. Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926. (Парал. тит. лист на франц. яз.). 180 с.

Дерман Б. О музее Онегина. — Огонек, 1941, № 14.

Иванова Л. Н. Тургенев в переписке А. Ф. Онегина и П. В. Жуковского. — В кн.: И. С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 1962.

* Ссылки на архивные материалы и каталоги коллекции см. в тексте.

Петухов Е. В. Пачка писем (из переписки с А. Ф. Онегиным). — Сборник памяти П. Н. Сакулина. М., 1931.

Пушкинский Дом. Выставка собраний А. Ф. Онегина. (Февраль 1930): Каталог. Л., 1930.

Семенов Евг. В стране изгнания. Спб., 1912, с. 82—87.

Степанов А. Н. У книг своя судьба. Л., 1974. 168 с.

Чистова И. О прототипе главного героя романа И. С. Тургенева «Новь». — Рус. лит., 1964, № 4.

Чистова И. Письма В. Я. Брюсова к А. Ф. Онегину. — Науч. докл. высшей школы, 1971, № 3.

Часть пятая

Ричард де Бери

Крусман В. Э. Английский библиофил XIV в. — Известия Одесского библиогр. о-ва, 1914, № 1, с. 1—26.

Крусман В. Э. На заре английского гуманизма. Одесса, 1915. 654 с.

Малеин А. Ричард де Бери и его «Филобиблон». — В кн.: Анатолий Федорович Кони. 1844—1924. Юбилейный сборник. Л., 1925, с. 195—206.

Ричард де Бери. Philobiblon. («Любокнижие»): Отрывки / Перевод и введение А. И. Малеина. — В кн.: Альманах библиофила. Л., 1929 (факсимильное переиздание: М., 1983), с. 289—314.

De Bury, Richard Philobiblon: The text and translation of E. C. Thomas, edited with a foreword by Michael Maclagan. Oxford, 1960. LXXXIII, 191 p.

Sondheim M. Richard de Bury. Ein Beitrag zur Psychologie des Büchersammelns. — Leipzig, 1927. 50 S.

Thomas E. C. Was Richard de Bury an impostor? — The Library, 1889, p. 335—340.

Г. Ноде

Clarke J. A. Gabriel Naudé (1600—1653). Hamden (Conn.), 1970. 183 p.

Franklin A. Histoire de la bibliothèque Mazarine et du Palais de l'Institut. — Paris, 1901. XXXII, 401 p.

Naudé G. Avis pour dresser une bibliothèque. Paris, 1627.

Naudé G. Remise de la bibliothèque de Monseigneur le Cardinal Mazarin... — In: Moreaux Ch. Choix de Mazarinades, v. 2. Paris, 1853, p. 223.

Smith G. Gabriel Naudé. — Library Association record, 1899, v. 1, p. 423—31; 483—93.

Виктор Владимирович Кунин

БИБЛИОФИЛЫ И БИБЛИОМАНЫ

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художник *В. А. Корольков*
Художественный редактор *Н. Г. Пескова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Н. М. Весельницкая*

ИБ937

Сдано в набор 31.01.84. Подписано в печать 22.10.84. А11153. Формат 70x90/32. Бум. офсетная, № 1-80 г. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 17,55. Усл. кр.-отт. 35,69. Уч.-изд. л. 20,50. Тираж 50000 экз. Заказ № 130. Изд. № 3287.
Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Типография В/О «Внешторгиздат» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127576, Москва, Илимская, 7

Кунин В. В.
К91 Библиофилы и библиоманы. — М.: Книга, 1984. — 480 с., ил.

Автор рассказывает о библиофилах-собирателях, чьи книжные коллекции сыграли заметную роль в истории культуры. На сцену выведен ряд персонажей библиофильской «человеческой комедии» — от благородных рыцарей книги до своекорыстных библиоманов. Читатель приглашается в библиофильское путешествие по городам и странам. Книги, собранные в Европе, отправятся в Америку; русский книжник соберет прекрасную библиотеку в Италии; рукописи Пушкина найдут приют в Париже; немецкий богослов ограбит петербургскую библиотеку; итальянский математик безжалостно оберет книгохранилища Франции...

Документально-художественная по жанру, книга предназначена для широкого круга читателей.

К $\frac{4702010200-113}{002(01)-84}$ 72-84

ББК84(2)7